



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

891.78

G60

Z48

1889a

v. 2

PROPERTY OF  
*University of  
Michigan  
Libraries*  
1817

---

ARTES SCIENTIA VERITAS

















**THIS "O-P BOOK" IS AN AUTHORIZED REPRINT OF THE ORIGINAL EDITION, PRODUCED BY MICROFILM-XEROGRAPHY BY UNIVERSITY MICROFILMS, INC., ANN ARBOR, MICHIGAN, 1964**



*Zelinskiy Vasilii Apollonovich*  
Zelinskiy, Vasilii Apollonovich.

РУССКАЯ

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ

Н. В. ГОГОЛЯ.

ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

—+—  
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. —+—

1842—1855.

ОСТАВИЛЪ

В. Зелинскій.

—+— \* —+—  
МОСКВА.

Типографія А. Г. Кольчугина, Волхонка, домъ Воейковой.

1893.

891.78  
G60  
Z48  
1889a  
v. 2

Faint, illegible text, possibly a list or report entries.

## КРИТИКА СОРОКОВЫХЪ ГОДОВЪ.

1842 г.

(Продолженіе).

\*)—Похожденія Чичикова, или *Мертвая Душа*. Поэма Н. Гоголя.

Положимъ, говорятъ намъ возражатели, что эта грубая жизнь, какъ и все въ мірѣ, можетъ быть предметомъ наблюденій практическаго философа или государственнаго человѣка, который ее изучаетъ точно такъ же, какъ естественный испытатель изучаетъ гадъ и все низкое въ природѣ.

Да какой же интересъ можетъ она предложить Поэту? Какая связь между такою жизнію и искусствомъ?

Сейчасъ, сейчасъ предложимъ отвѣтъ на вашъ вопросъ, который слѣдуетъ въ порядкѣ нашего разсужденія. Но прежде припомнимъ еще одно изъ замѣчаній, напечатлѣвшееся въ нашей памяти по остроумію, съ какимъ было предложено: теперь переходя отъ вопроса о жизни къ вопросу объ искусствѣ и художникѣ, настоящее время отвѣчать на него. Вы спрашивали насъ: „не правда-ли, что странствуя по Россіи, вы согласитесь скорѣе дать 30 верстъ крюку, чѣмъ встрѣтиться съ какимъ-нибудь Собакевичемъ или Ноздревымъ? Какая же охота встрѣчаться съ ними въ поэмѣ, когда и на яву они представляются для насъ страшнымъ кошмаромъ? Можно-ли впустить хотя одно изъ лицъ этой Поэмы далѣе своей передней?“ — Но по-

\*) „Москвитянинъ“ 1842 г., ч. IV, № 8. „Критика“. Статья вторая. С. Шевырева. — Первую статью смотрите на 176 страницѣ первой части „Русской критической литературы о произведеніяхъ Н. В. Гоголя“.

звольте и намъ предложить вопросы въ свою очередь. Смотрите на улицу: вотъ пьяница шатается по тротуару; вотъ извощикъ на-веселѣ мчится на удалой тройкѣ. Вы, конечно, обойдете за нѣсколько шаговъ этого пьяницу, и не впустите извощика, особенно же съ его тройкой, въ вашу гостинную; но изобрази вамъ пьяницу Теньеръ своею веселою кистію, нарисуй вамъ Орловскій извощика-лихача, съ удалою тройкою, бессмертнымъ карандашемъ своимъ, — и пьяница Теньеровъ, и тройка Орловскаго будутъ красоваться въ вашей гостинной на самомъ первомъ, почетномъ мѣстѣ, выше какихъ-нибудь другихъ важныхъ картинъ, рисованныхъ кистію не столько искусною. Такова привилегія художества.

Великъ, просторенъ и чудно разнообразенъ міръ Божій: есть мѣсто въ немъ для всего. Живутъ въ немъ и Собакевичи, и Поздревы. Таковъ же точно и міръ искусства, создаваемый художникомъ: и въ немъ должно быть мѣсто всему, и ничѣмъ не пренебрегаетъ многообъемлющая фантазія Поэта, которой подвѣдомъ весь міръ отъ звѣздъ до преисподнихъ земли: все свободно воспріимлетъ она въ себя и воспроизводитъ своею чудною властію. Не *что* избралъ художникъ, а *какъ* онъ это возсоздалъ и какъ связалъ міръ дѣйствительный съ міромъ своего изящнаго: вотъ то, что собственно касается искусства.

Первый вопросъ о томъ, *что* изобразилъ художникъ, относящійся къ опредѣленію связи, какая находится между произведеніемъ и жизнью, нами уже рѣшенъ. Перейдемъ же теперь ко второму: *какъ* изобразилъ художникъ жизнь избранную. Одно изъ первыхъ условій всякаго изящнаго произведенія искусства есть водвореніе полной блаженной гармоніи во всемъ внутреннемъ существѣ нашемъ, которая не свойственна обыкновенному состоянію жизни. Но изображеніе предметовъ изъ грубой, низкой, животной природы человѣка производило бы совершенно противное тому дѣйствіе и нарушало бы вовсе первое условіе изящнаго впечатлѣнія—водвореніе гармоніи въ нашемъ духѣ,—если бы не помогало здѣсь усиленіе другой стороны, воз-



вышеніе субъективнаго духа въ самомъ Поэтѣ, возсоздающемъ этотъ міръ. Да, чѣмъ ниже, грубѣе, матеріальнѣе, животнѣ предметный міръ, изображаемый Поэтомъ, тѣмъ выше, свободнѣе, полнѣе, сосредоточеннѣе въ самомъ себѣ долженъ являться его творящій духъ; другими словами, чѣмъ ниже объективность имъ изображаемая, тѣмъ выше должна быть, отрѣшеннѣе и свободнѣе отъ нея, его субъективная личность.

Сія послѣдняя проявляется въ юморѣ, который есть чудное сліяніе смѣха и слезъ, посредствомъ коего Поэтъ соединяетъ всѣ видѣнія своей фантазіи съ своимъ собственнымъ человѣческимъ существомъ. Неистощимъ комическій юморъ Гоголя; всѣ предметы, какъ будто нарочно, по его волѣ становятся передъ нимъ смѣшною ихъ стороною; даже имена, слова, сравненія подвертываются, къ нему такіа, что возбуждаютъ смѣхъ; конечно, заразительный, хохотъ пронесся вмѣстѣ съ Мертвыми Душами по всѣмъ предѣламъ Россіи, гдѣ только его читали. Но тотъ не далеко слышитъ и видитъ, кто въ яркомъ смѣхѣ Гоголя не замѣчаетъ глубокой затаенной грусти. Въ Мертвыхъ Душахъ особенно часто веселость смѣняется задумчивостью и печалью. Смѣхъ принадлежитъ въ Гоголѣ художнику, который не инымъ чѣмъ какъ смѣхомъ можетъ забирать въ свои владѣнія весь грубый скарбъ низменной природы смертнаго; но грусть принадлежитъ въ немъ человѣку. Какъ будто два существа видѣются намъ изъ его романа: Поэтъ, увлекающій насъ своею ясновидящею и причудливою фантазіею, веселящій неистощимою игрою смѣха, сквозь который онъ видитъ все низкое въ мірѣ,—и человѣкъ, плачущій глубоко и чувствующій иное въ душѣ своей въ то самое время, какъ смѣется художникъ. Такимъ образомъ въ Гоголѣ видимъ мы существо двойное или раздвоенное; Поэзія его не цѣльная, не единичная, а двойная, распавшаяся. Какъ этотъ разрывъ въ немъ примиряется и доходитъ до полного согласія—мы увидимъ ниже.

Яркій смѣхъ Поэта, переливаясь черезъ глубокою думу и печаль, превращается въ немъ такъ часто въ возвышен-

ныя лирическія движенія: тотъ же самый человекъ, который теперь только передъ вами такъ беззаботно смѣлся и смѣшилъ васъ, является вдохновеннымъ прорицателемъ, съ торжественною думою на важномъ челѣ своемъ. Эта способность такъ легко переходить отъ хохота ко всемъ оттенкамъ чувства, до самыхъ высокихъ лирическихъ восторговъ, показываетъ, что смѣхъ Поэта простирается въ немъ не отъ холоднаго разсудка, который все отрицаетъ, и потому надъ всемъ смѣется, но отъ глубины чувства, которое въ самой природѣ человѣческой двоятся на веселье и горе. Вотъ чѣмъ юморическій хохотъ Гоголя отличенъ отъ того пустаго пересмѣшничества (*persifflage*), которое часто встрѣчается во Французской литературѣ и ведетъ свое начало отъ Вольтера. Пересмѣшникъ издѣвается разсудкомъ, а не чувствомъ смѣется: хохотъ перваго утомляетъ подъ конецъ своею пустотою, тогда какъ хохотъ втораго часто заставляетъ задумываться...

Подкрѣпимъ наше мнѣніе о характерѣ юмора Гоголева его собственными словами, въ которыхъ онъ такъ вѣрно и сильно высказываетъ на самого себя и открываетъ тайны души своей. Рѣдко случается встрѣтить въ Поэтѣ сознание своего характера и искусства: Гоголь принадлежитъ къ числу сихъ немногихъ исключеній. Разборомъ характера Хлестакова въ Ревизорѣ онъ доказалъ, какъ отчетливо понимаетъ свои созданія. Мертвыя Души исполнены также глубокомысленныхъ замѣтъ о состояніи души Поэта и о томъ, какъ онъ самъ смотритъ на свои произведенія. Въ первой статьѣ мы уже привели одно изъ такихъ мѣстъ: теперь снова повторимъ его кстати и прочтемъ еще далѣе.

„Но то на свѣтѣ дивно устроено: веселое мигомъ обратится въ печальное, если только долго застоишься передъ нимъ, и тогда Богъ знаетъ, что взбредетъ въ голову“. — И далѣе: „Зачѣмъ же среди недумающихъ, веселыхъ, безнечныхъ минутъ, сама собою вдругъ пронесется иная чудная струя: еще смѣхъ не успѣлъ совершенно сбѣжать съ лица, а уже сталъ другимъ среди тѣхъ же людей и уже

другимъ свѣтомъ освѣтилось лицо“... Въ этихъ словахъ не то же ли самое, что мы выше сказали?

Но вотъ еще мѣсто, въ которомъ гораздо яснѣе высказана та же мысль въ отношеніи къ самому Поэту: „И долго еще опредѣлено мнѣ чудной властію идти объ руку съ моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, *озирать ее сквозь видный міру смѣхъ и незримая, невѣдомая ему слезы!*“ Слова драгоценныя, глубокія, поднятыя съ самаго дна души и сказавшіяся въ одну изъ тѣхъ рѣдкихъ свѣтлыхъ минутъ, когда поэтъ и человѣкъ бываютъ ясны самому себѣ!

Син-то незримая, невѣдомая міру слезы проглядываютъ очень часто въ Поэмѣ Гоголя; для того, кто хочетъ взглядѣться глубже, онѣ очень замѣтны сквозь игривый звонъ комическаго смѣха, и мы нѣсколько разъ испытали на самихъ себѣ переходъ отъ шумнаго веселья къ грустной задумчивости. Подкрѣпимъ это свидѣтельствами изъ самаго произведенія. Главный мотивъ, на которомъ держится все комическое дѣйствіе Поэмы, продажа мертвыхъ душъ, съ перваго раза кажется только забавенъ, и въ самомъ дѣдѣ такъ искусно найденъ комическою фантазіею художника: тутъ нѣтъ ничего никому обиднаго, ни вреднаго—что такое мертвыя души?—такъ ничего, не существуютъ, а между тѣмъ изъ-за нихъ-то поднялась такая тревога. Здѣсь источникъ всѣмъ комическимъ сценамъ между Чичиковымъ и помѣщиками, и кутерьмѣ, какая заварилась во всемъ городѣ. Мотивъ съ виду только-что забавный,—кладъ для комика;—но когда вы прислушаетесь къ сдѣлкамъ Чичикова съ помѣщиками, когда потомъ вмѣстѣ съ нимъ (въ VII главѣ Поэмы), или лучше съ Авторомъ, который здѣсь напрасно уступилъ мѣсто своему герою, вы раздумаетесь надъ участію всѣхъ этихъ неизвѣстныхъ существъ, внезапно оживающихъ передъ вами въ разныхъ типахъ Русскаго мужика,—глубокая иронія выльнетъ въ мотивъ, и невозможною думою осѣнится ваше свѣтлое чело.

Взгляните на разстановку характеровъ: даромъ ли они выведены въ такой перспективѣ? Сначала вы смѣтаетесь

надъ Маняловымъ, смѣтаетъ надъ Коробочкою, нѣсколько серьезно взглянете на Поздрева и Собакевича, но увидѣвъ Плюшкина, вы уже вовсе задумываетесь: вамъ будетъ грустно при видѣ этой развалины человѣка.

А герой Поэмы? Много смѣшитъ онъ васъ, отважно двигая впередъ свой странный замыселъ и заводя всю эту кутерьму между помѣщиками и въ городъ; но когда вы прочли всю исторію его жизни и воспитанія, когда Поэтъ разоблачилъ передъ вами всю внутренность человѣка, — не правда-ли, что вы глубоко задумались?

Наконецъ представимъ собѣ весь городъ N. Здѣсь кажется уже до нельзя разыгрался комическій юморъ Поэта, какъ будто къ концу тома сосредоточивъ всѣ свои силы. Толки жителей о душахъ Чичикова и ихъ нравственности, балъ у Губернатора, появленіе Поздрева, пріѣздъ Коробочки, сцена двухъ дамъ, слухи въ городѣ о мертвыхъ душахъ, о похищеніи губернаторской дочки, вздоръ, тревога, кутерьма, сутолока, вѣсть о новомъ Генераль-Губернаторѣ и сѣздъ у Полицмейстера, на которомъ рассказывается повѣсть о Капитанѣ Копѣйкинѣ!... Какъ не изумиться тому, съ какою постепенностью растетъ комическое дѣйствіе и какъ непрерывно прибываютъ новыя волны въ смѣшливомъ юморѣ Автора, которому здѣсь просторное раздолье. Какъ будто самъ демонъ путаницы и глупости носится надъ всѣмъ городомъ и всѣхъ сливаетъ въ одно: здѣсь, говоря словами Жанъ-Поля, не одинъ какой нибудь дуракъ, не одна какая нибудь отдѣльная глупость, но цѣлый міръ безсмыслицы; воплощенный въ полную городскую массу. Въ другой разъ Гоголь выводитъ намъ такой фантастическій Русской городъ: онъ уже сдѣлалъ это въ Ревизорѣ; здѣсь также мы почти не видимъ отдѣльно ни Городничаго, ни Почмейстера, ни Понечителя Богоугодныхъ заведеній, ни Бобчинскаго, ни Добчинскаго; здѣсь также цѣлый городъ слитъ въ одно лицо, котораго всѣ эти господа только разные члены: одна и та же уѣздная безсмыслица, вызванная комическою фантазією, одушевляетъ всѣхъ, носится надъ ними и внушаетъ имъ поступки и слова,

одно смѣшнѣе другаго. Такая же бессмыслица, возведенная только на степень губернской, олицетворяется и дѣйствуетъ въ городѣ N. Нельзя не удивиться разнообразію въ талантѣ Гоголя, который въ другой разъ вывелъ ту же идею; но не повторился въ формахъ и ни одною чертою не напомнилъ о городѣ своего Ревизора! При этомъ способѣ изображать комически оффиціальную жизнь внутренней Россіи, надобно замѣтить художественный инстинктъ Поэта: всѣ злоупотребленія, всѣ странные обычаи, всѣ предрасудки облекаетъ онъ одною сѣтью легкой смѣшливой ироніи. Такъ и должно быть—Поэзія не доносъ, не грозное обвиненіе. У нея возможны однѣ только краски на это: краски смѣшнаго.

Но и тутъ даже, гдѣ смѣшное достигло своихъ крайнихъ предѣловъ, гдѣ Авторъ, увлеченный своимъ юморомъ, отрѣшилъ мѣстами фантазію отъ существенной жизни и нарушилъ тѣмъ, какъ мы скажемъ послѣ, ея характеръ, — и здѣсь смѣхъ при концѣ смѣняется задумчивостью, когда среди этой праздной суматохи, внезапно умираетъ Прокуроръ, и всю тревогу заключаютъ похороны. Невольно опять припоминаются слова Автора о томъ, какъ въ жизни веселое мигомъ обращается въ печальное...

Вся Поэма усеяна множествомъ краткихъ эпизодовъ, яркихъ замѣтъ, глубокихъ взглядовъ въ существенную сторону жизни, изъ которыхъ видна внутренняя наклонность къ сердечной задумчивости и къ важному созерцанію жизни человѣческой вообще и Русской въ особенности.

Чтобъ завершить этотъ рядъ сильныхъ примѣровъ, служащихъ подтвержденіемъ нашему возрѣнію на юморъ Гоголя, мы выпишемъ изъ его Поэмы одну страницу, въ которой съ удивительною полнотою высказывается все теченіе чувства въ самомъ Поэтѣ и какъ будто въ миниатюрѣ отражается характеръ всей его Поэмы не только тою половиною, которую мы теперь читаемъ, но и будущю, которую Авторъ намъ обѣщаетъ. Это описаніе Русской дороги:

„...И опять по обѣимъ сторонамъ столбоватаго пути пошли вновь писать версты, станціонные смотрители, колодцы,

обозы, сѣрыя деревни съ самоварами, бабами и бойкимъ бородатымъ хозяиномъ; бѣгущимъ изъ постоялаго двора съ овсомъ въ рукѣ, пѣшеходъ въ протертыхъ лаптяхъ, плетущійся за 800 верстъ, городишки, выстроенные живьемъ, съ деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядныя и по ту сторону и по другую, помѣщичьи рыдваны, солдатъ верхомъ на лошади, везущій зеленый ящикъ съ свинцовымъ горохомъ и подписью: такой-то артиллерійской батареи, зеленыя, желтыя и свѣже-разрытыя черныя полосы, мелькающія по степямъ, зятая вдали пѣсня, сосновыя верхушки въ туманѣ, пропадающій далече колокольный звонъ, вороны какъ мухи и горизонтъ безъ конца... Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго далека, тебя вижу: бѣдна природа въ тебѣ, не развеселятъ, не испугаютъ взоровъ дерзкія ея дива, вѣчанныя дерзкими дивами искусства, города съ многооконными, высокими дворцами, вросшими въ утесы, картинныя деревья и плющи, вросшіе въ дома, въ шумъ и въ вѣчной пыли водопадовъ; не опрокинется назадъ голова посмотрѣть на громоздящіяся безъ конца надъ нею и въ вышнѣ каменныя глыбы; не блеснутъ сквозь заброшенныя одна на другую темныя арки, опутанныя виноградными сучьями, плющами и не смѣтными милліонами дикихъ розъ, не блеснутъ сквозь нихъ вдали вѣчныя ливни сіяющихъ горъ, несущихся въ серебряныя, ясныя небеса. Открыто—пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки, непримѣтно торчатъ среди равнинъ, невысокіе твои города; ничто не обольститъ и не очаруетъ взора. Но какая-же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ухахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Что въ ней, въ этой пѣснѣ? Что зоветъ, и рыдаетъ, и хватается за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что гля-

дишь ты такъ, и зачѣмъ все, что ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи?... И еще, полный недоумѣнія, неподвижно стою я, а уже главу освѣнило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онѣмѣла мысль предъ твоимъ пространствомъ. Что пророчить сой необъятный просторъ? здѣсь ли, въ тебѣ ли не родиться безпредѣльной мысли, когда ты сама безъ конца? здѣсь ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему? и грозно объемлетъ меня могучее пространство, страшную силою отразаясь въ глубинѣ моей; неестественной властью освѣтились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая землѣ даль! Русь!“....

Прослѣдите внимательною мыслью эти двѣ страницы, въ которыхъ съ такою полнотою вылилось чувство Автора: вы замѣтите, что сначала комическій юморъ подсказывалъ ему только низкіе предметы русской дороги, версты, обозы, сѣрныя деревни съ самоварами, бабъ, бородачей, городишки съ лавчонками, лаптями и калачами... Фантазія его, увлеченная въ одну сторону, не замѣтила ни раздолья нашихъ нивъ, несущихъ гибкія волны безконечной и разнообразной жатвы; ни пустыхъ мѣстъ, брошенныхъ пахаремъ отъ избытка земли; ни особенностей нашей природы: роскошной земли, безсмѣнно покрывающей луга все круглое лѣто, болотъ и полянъ, расписанныхъ сплошь то лиловымъ, то синимъ, то желтымъ цвѣтомъ; плотнаго дуба, рябины, убранной коралловыми кудрями; ни нашихъ рѣкъ, которыя внезапно застилаютъ скачущему широкою дорогу; ни фізіономіи Русскаго мужика, ни его яркой красной рубашки, ни бѣлокуроухъ мальчишекъ, прыгающихъ по улицамъ; ни древнихъ городовъ, высокоподнимающихся надъ крутыми берегами полноводныхъ рѣкъ своихъ; ни вереницы молещичковъ, которые Богъ знаетъ изъ какихъ странъ плетутся многія тысячи верстъ по нескончаемой Руси, питаая молитвою и подааніемъ; ни Божіихъ храмовъ, которые съ разныхъ точекъ небосклона какъ будто молитвеннымъ хоромъ обнимаютъ васъ, подѣмаясь въ небеса, и одни только ярко расписанные и вѣнчанные золо-

тymi крестами, величаются и красуются надъ низменными жилищами, гдѣ влачить незамѣтную жизнь свою въ потѣ лица снѣдающій хлѣбъ свой и кормящій имъ всю Россію Русскій крестьянинъ... Комическій юморъ не могъ замѣтить этого... Къ тому же пышная Италія дивами своего искусства и природы затмила все, что и могло бы на однообразной дорогѣ Русской сказаться сердцу Поэта... Но при имени Русь,—сильно издали зазвучала ему родная пѣсня... И крѣпко забилось сердце, и много смѣхъ сбѣжалъ съ лица, и изъ очей выступили слезы, и какимъ-то непонятнымъ желаніемъ вся душа повлеклась въ родимую даль, а затѣмъ высокія лирическія движенія стѣснили грудь, и вылились изъ нея полнозвучными, восторженными, вѣщими словами!

То, что виднѣ въ этомъ отрывкѣ, что замѣтили мы прежде въ главномъ мотивѣ Поэмы, въ разстановкѣ характеровъ, въ героѣ, въ изображеніи города, то самое не будетъ ли видно и во всемъ произведеніи?.. Да, да, такъ какъ должно быть, судя по духу самого Поэта, такъ ярко воплотившемуся въ его созданіи... Такъ говоритъ и предсказываетъ онъ самъ въ разныхъ мѣстахъ Поэмы, особенно же въ ея заключеніи: „Можетъ быть, въ сей же самой повѣсти почувются инья, еще доселѣ небранныя струны, предстанетъ несмѣтное богатство Русскаго духа, пройдетъ мужъ, одаренный божественными доблестями, или чудная Русская дѣвица, кагой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всей дивной красотой женской души, вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія. И мертвыми покажутся передъ ними всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ, какъ мертвая книга передъ живымъ словомъ! Подымутся Русскія движенія... и увидятъ, какъ глубоко заронилося въ Славянскую природу то, что скользнуло только по природѣ другихъ народовъ“... Или далѣе: „въѣздъ въ какой бы ни было городъ, хоть даже въ столицу, всегда какъ-то блѣденъ; сначала все сѣро и однообразно: танутся безконечныя заводы и фабрики; закопченные дымомъ, а потомъ уже выглянуть углы шести-этажныхъ домовъ; магазны, вывѣски, громад-



ныя перспективы улицъ, всё въ колокольныхъ, колоннахъ, статуяхъ, башняхъ, съ городскимъ блескомъ, шумомъ и громомъ и всёмъ, что на-диво произвела рука и мысль человека. Какъ произвелись первыя покупки, читатель уже видѣлъ; какъ пойдетъ дѣло далѣе, какія будутъ удачи и неудачи герою, какъ придется разрѣшить и преодолѣть ему болѣе трудныя препятствія, какъ предстанутъ колоссальныя образы, какъ двинутся сокровенныя рычаги широкой повѣсти, раздастся дальче ея горизонтъ и *вси они приметъ величавое лирическое теченіе*, то увидимъ потомъ\*.

Если бы даже Авторъ этими ясными словами самъ не отворилъ намъ дверей въ будущее своей повѣсти, то мы, по требованіямъ изящнаго, но силъ и полнотѣ его дарованія, объемяющаго всё стороны жизни, и по характеру его юмора, могли бы заранѣе отгадать то, что намъ впередъ обѣщано. Много, много смѣялись въ первомъ томѣ: трудно загадывать въ такомъ дѣлѣ, но должно быть, что *веселое обратится въ печальное*, и что будемъ мы плакать въ послѣдующихъ. Такъ чувство наше раздвоится на двѣ половины, которыя дополняютъ другъ друга и примирятся можетъ быть подъ конецъ въ свѣтлой, успокоительной, возвышенной, *всевоспріемлющей фантази Поэта*.

Когда говоришь о Гоголѣ, и находишься подъ непрерывнымъ вліяніемъ его произведенія, — невольно приходятъ на мысль поэтическіе образы — и холодный языкъ критика превращается въ языкъ поэта. Потому, да не покажется читателямъ страннымъ, если мы употребимъ сравненіе для того, чтобы яснѣе изобразить развитіе внутренняго чувства и фантази во всей его Поэмѣ. Взгляните на вихорь передъ началомъ бури: легко и низко проносится онъ сперва; взметаешь пыль и всякую дрянь съ земли; перья, листья, лоскутки летятъ вверхъ и выются; — и скоро весь воздухъ наполняется его своенравнымъ круженіемъ... Легокъ и незначителенъ кажется онъ сначала, но въ этомъ вихрѣ скрываются слезы природы и страшная буря. Таковъ точно и комическій юморъ Гоголя... Но вотъ налетѣли тучи... Сверкнула молнія... Громъ раскатился по небу... Дождь хлынулъ

потоками, Земля и небо смѣшались вмѣстѣ... Не такова ли будетъ вторая часть его Поэмы, въ которой общаетъ онъ намъ *лирическое теченіе*, горизонтъ *раздающійся и величавый громъ дружить рычей?*

Но мы знаемъ, что надъ этимъ вихремъ, надъ этими молніями, громами и тучами, въ которыхъ небо борется съ землею и очищаетъ ее,—высоко, высоко распростерто ясное, невозмущаемое, лазурное небо съ своимъ неизмѣннымъ солнцемъ: не такъ ли надъ юморомъ Поэта, въ которомъ свободный духъ его раздѣлывается съ существованностью дѣйствительной жизни, носится міръ его свѣтлой фантазіи, гдѣ примиряются его чувства, волнуемая жизнью въ двѣ противныя стороны, и гдѣ человекъ съ своимъ смѣхомъ и слезами успокоивается и преобразуется въ одного цѣльнаго художника?

Объяснивъ сначала значеніе дѣйствительной жизни въ первой части Поэмы Гоголя, и показавъ, какимъ образомъ она связуется съ міромъ искусства, мы перейдемъ теперь въ чистый элементъ художественный, въ область его фантазіи, и предложимъ ей характеристику. Талантъ Гоголя былъ бы весьма одностороненъ, если бы ограничивался однимъ комическимъ юморомъ, если бы обнималъ только одну низкую сферу дѣйствительной жизни, если бы личное (субъективное) чувство его не переливалось изъ яркаго хохота въ высокую бурю восторженной страсти, и если бы потомъ обѣ половины чувства не мирлись въ его свѣтлой, творящей, многообъемлющей фантазіи. Вспомнимъ, что одно и то же перо изобразило намъ ссору Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, Старосвѣтскихъ помѣщиковъ и Тараса Бульбу. Художественный талантъ Гоголя совершилъ такіе замѣчательные переходы, когда жилъ и дѣйствовалъ въ сферѣ своей родной Малороссіи. По всѣмъ даннымъ и по всѣмъ вѣроятностямъ должно предполагать, что тѣ же самые переходы совершить онъ и въ новой огромной сферѣ своей дѣятельности,—въ жизни Русской, куда теперь, какъ видно, переселилась его фантазія. Если Ревизоръ и первая часть Мертвыхъ Душъ соотвѣтствуютъ Шпонькѣ и знаме-

пятой ссорѣ двухъ Малороссовъ, то мы въ правѣ ожидать еще высокихъ созданій, въ родѣ Тараса Бульбы, взятыхъ уже изъ Русскаго міра.

Но и теперь, когда все возсоздаваемое Гоголемъ изъ этого міра носить на себѣ рѣзкую печать его комическаго юмора, — и теперь замѣчаемъ мы въ немъ присутствіе свѣтлой творческой фантазіи, которая предводитъ согласнымъ хоромъ его способностей, возвышается надъ всѣми субъективными чувствами и готова бы была совершенно перенестись въ чистый идеальный міръ искусства, если бы слишкомъ низкіе предметы земной жизни не сковали ея могучихъ крыльевъ и если бы комическій юморъ не препятствовалъ ея свободному, полному и спокойному созерцанію жизни. Постараемся теперь обозначить черты ея и короче ознакомиться съ фізіономіею Поэта, ярко отразившеюся въ его новомъ произведеніи.

Первая черта фантазіи Гоголя есть живое *ясновидѣніе* міра, имъ переносимаго изъ бытія существеннаго въ бытіе идеальное искусства. По всѣмъ правамъ и въ высшемъ смыслѣ фантазія Гоголя можетъ быть названа *ясновидящею*, потому что въ каждомъ предметѣ, ею воспроизводимомъ, она видитъ ясно и внѣшнюю и внутреннюю его сторону, и взаимное ихъ между собой отношеніе. Безъ особеннаго призванія, безъ дара Божія, Гоголь не могъ бы развить въ себѣ этой способности, которая не приобретается ни какимъ навыкомъ; но нельзя не замѣтить, что два славные учителя воспитали ее: Италия своею поэзіею, живонисью и природою раскрыла въ фантазіи Гоголя всю внѣшнюю ея сторону; Шекспиръ и В. Скоттъ раскрыли внутреннюю и довершили развитіе.

Какой читатель могъ не замѣтить въ Мертвыхъ Душахъ всей богатой живонисей внѣшняго міра, — въ теплыхъ картинахъ Русской природы, въ изображеніяхъ всѣхъ мелочей городского и сельскаго быта, въ наружной фізіономіи всѣхъ дѣйствующихъ лицъ, изъ которыхъ каждое со всѣми его движеніями видишь передъ собою, и наконецъ въ этихъ сравненіяхъ яркихъ, пластическихъ, всегда окруженныхъ

и съ художественною заботливостію доведенныхъ до конца? Много бы надо было вписывать изъ Поэмы, если бы мы захотѣли знакомить съ нею читателей въ этомъ отношеніи; но предполагаемъ, что многіе изъ нихъ уже почти наизусть съ нею знакомы, и что въ ихъ воображеніи живо напечатлѣны картины, начертанныя кистію Гоголя. Все, къ чему во внѣшнемъ мірѣ ни прикасается его волшебная фантазія, все то чудно, свѣтится всею краскою и сквозитъ въ его яркомъ, вѣрномъ, полномъ и широкомъ словѣ.

Мы видѣли эту сторону фантазіи Гоголя еще въ Вечерахъ Диканьки, въ Старосвѣтскихъ помѣщикахъ и въ Тарасѣ Бульбѣ. Кто не помнитъ Малороссійской степи и плодovitаго сада? Но надобно сказать, что въ Мертвыхъ Душахъ эта сторона выступаетъ еще ярче. Здѣсь только близорукой не замѣтить, что небо Италіи, прозрачный ся воздухъ, ясность каждаго очерка въ предметѣ, картинныя галереи, мастерскія художниковъ, частое обращеніе съ ними, наконецъ Поэзія Италіи, воспитали въ Гоголѣ фантазію тою стороною, которою обращена она ко всему внѣшнему міру, и дали ей такое живописное направленіе, такую полноту и окончанность.

Говоря объ этомъ, нельзя не обратить вниманія на симпатію Гоголя къ Италіи, на душевное влеченіе его къ странѣ изящнаго. Откуда объяснить это? Изъ того только, что онъ истинный художникъ, что искусство—его призваніе. Въ самомъ дѣлѣ, Гоголь у насъ единственный писатель, который остается вѣренъ своему назначенію, не отвлекается ничѣмъ постороннимъ, твердо и постоянно служитъ искусству и живетъ только для него. Благородное, прекрасное, достойное служеніе! Слава ему, что онъ не промѣнялъ его ни на какое иное! Если такъ, то какая же другая сфера могла удовлетворить ему, кромѣ Италіи, гдѣ все дышетъ міромъ близкимъ душѣ его, и въ самой Италіи какой городъ могъ онъ избрать, если не Римъ, гдѣ мпувшее величіе, природа и искусство сочетались въ одно и образовали для всякаго современнаго художника чудный пріютъ, волшебное окруженіе? Здѣсь, изъ своего прекрас-

наго далека, благодаря прозрачному небу полудня, яснѣе и полнѣе созерцаетъ онъ Россію;—и въ то время какъ въ снахъ фантазіи являются ему кошмары съ фигурами Собакевичей и Ноздревыхъ; необходимо, чтобы взоры его отдыхали на стройныхъ очертаніяхъ Колоссея и храма Петра, на картинахъ Перуджино и Рафаэля, на воздушныхъ горныхъ линияхъ и на чудной лазури небесъ Италіанскихъ! Таковъ художникъ истинный. Да будетъ же свѣтло его пребываніе тамъ, и чаще, какъ можно чаще, да сходятъ на него минуты вдохновенія!

Яркій отпечатокъ природы, живописи и Поэзіи изящнаго полудня Европы лежитъ на колоритѣ Мертвыхъ Душъ и на всемъ, что составляетъ внѣшнюю сторону изображаемаго въ нихъ міра. При этомъ замѣчаніи прошу читателей не смѣшать содержанія съ искусствомъ: содержаніе разумѣется, дано Россією, и Поэтъ всегда ему вѣренъ, по ясновидѣнію и сила фантазіи, съ какими возсоздастъ онъ далекій міръ отчизны; воспитаны въ Гоголѣ Италіанскимъ окруженіемъ. Въ одномъ мѣстѣ видно даже, что Италія неволью бросила нѣсколько жаркихъ красокъ на самое содержаніе картины, а именно—въ описаніи сада Плюшкина, гдѣ зеленая облака и трепетнолистные куполы деревьевъ, лежащихъ на небесномъ горизонтѣ, напоминаютъ ландшафты Юга.

Говоря объ этой полуденной стихіи въ Поэмѣ Гоголя, какъ забываешь чудныя сравненія, встрѣчающіяся нерѣдко въ Мертвыхъ Душахъ! Ихъ полную художественную красоту можетъ постигнуть только тотъ, кто изучалъ сравненія Гомера и Италіанскихъ Эпиковъ, Аріоста и особенно Данта, который, одинъ изъ Поэтовъ новаго міра, постигъ всю простоту сравненія гомерическаго и возвратилъ ему круглую полноту и окончанность, въ какихъ оно являлось въ Эпосѣ Греческомъ. Гоголь въ этомъ отношеніи пошелъ по слѣдамъ своихъ великихъ учителей. Сравненіе образуетъ у него по большей части отдѣльную полную картинку, которою онъ увлекается, какъ Эпикъ, и которую искусно вставляетъ въ цѣлое Поэмы, не нарушая ни сколько един-

ства, и не прерывая нити разсказа. Много такихъ сравненій у Гоголя, но мы особенно приведемъ одно, которое полнотою и простотою образа напоминаетъ сравненія Гомеровы.

„Черные фраки мелькали и поспѣли врознь и кучами тамъ и тамъ, какъ носятся мухи на бѣломъ сияющемъ рафинадѣ въ пору жаркаго Іюльскаго лѣта, когда старая ключница рубить и дѣлать его на сверкающіе обломки передъ открытымъ окномъ; дѣти всѣ глядятъ собравшись вокругъ, слѣдя любопытно за движеніями жесткихъ \*) рукъ ея, поднимающихъ молотъ, а воздушные эскадроны мухъ, поднятые легкимъ воздухомъ, влетаютъ смѣло, какъ полные хозяева, и пользуясь подслѣповатостію старухи и солнцемъ, безпокоющимъ глаза ея, обсыпаютъ лакомые куски, гдѣ вразбитную, гдѣ густыми кучами. Насыщенные богатымъ лѣтомъ, и безъ того на всякомъ шагу разставляющимъ лакомыя блюда, онѣ влетѣли вовсе не съ тѣмъ, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взадъ и впередъ по сахарной кучѣ, потереть одна о другую заднія или переднія ножки, или почесать ими у себя подъ крылышками, или протянувши обѣ переднія лапки, потереть ими у себя подъ головою; повернуться и опять улетѣть и опять прилетѣть съ новыми докучными эскадронами“.

Всмотритесь въ этихъ мухъ: какъ онѣ граціозны и какъ тонко замѣтилъ Поэтъ всѣ ихъ маленькія движенія! Приведемъ нѣсколько подобныхъ сравненій изъ Гомера:

...Сбѣгались народы: такъ точно племена пчелъ густыми

\*) При этомъ словѣ нельзя не вспомнить безъ негодованія продолжки одного Петербургскаго журнала, который искажаетъ текстъ Гоголевой Поэмы и бранитъ потомъ свое же искаженіе. Прочтите въ литературной лѣтписи Библиотeki для чтенія 29 страницу. Издатель напечаталъ: за движеніями женскихъ рукъ ея (ключницы), вмѣсто жесткихъ, и прибавляетъ въ скобкахъ: то есть, старой ключницы, у которой, вѣроятно, другихъ рукъ и не было кромѣ женскихъ... Право не вѣрнѣе глазами своимъ, до какой степени можетъ дойти недобросовѣстность критика, ослабленнаго какою-то странною злобою на талантъ... Давно ужъ ни одна статья не возбуждала въ насъ такого жалкаго отарашенія, какъ весь этотъ разборъ Мертвыхъ Душъ, гдѣ все произведеніе Гоголя умышленно искажено въ текстѣ и содержаніи. Мы это докажемъ и считаемъ обязанностью выставить на глаза публики все неприличіе такого дѣйствія.

роями вылетаютъ все больше и больше изъ скалы глубокой, и въ видѣ гроздй несутся на весенніе цвѣты; одніе летятъ въ одну, другія въ другую сторону... Такъ выпалъ народъ изъ кораблей и шатровъ... (Ильсъ 1. ст. 86—91).—Какъ осель, забравшись въ ниву, спорить съ дѣтьми упрямый: много палокъ объ него изломали, а онъ забрался и жретъ себѣ глубокую кашню; мальчишки бьютъ его палками, но глупа еще ихъ сила,—и тогда только съ трудомъ выгоняютъ его, когда онъ насытился нивой: такъ Аякса великаго изгоняли Трояне.“ (п. XVI. ст. 257—266).—„Они толпились около мертваго, какъ мухи въ хлѣву жужжать вокругъ подойниковъ, переполненныхъ молокомъ, въ весеннюю пору, когда оно льется черезъ край въ сосуды“... (п. XVI. ст. 641—643).

Вотъ сравненія изъ Данта: „Какъ овечки выходятъ изъ затвора по одной, по двѣ, по три, а другія стоятъ робенькія (timidette), опутивъ къ землѣ глаза и рыльце, и что дѣлаетъ первая, за нею дѣлаютъ и другія, прислоняясь къ ней сзади, если она остановится, просты и тихи, а почему такъ дѣлаютъ не знаютъ... Такъ двигались души“... (Чист. п. 3).—„Подобно тому, какъ слетаются на ниву голуби и клюютъ ячмень или просо, тихіе безъ обычнаго своего воркованія, а если что нибудь вдругъ ихъ испугаетъ, внезапно покидаютъ они свою приправу, потому что постигла ихъ важнѣйшая забота: такъ и эта свѣжая толпа оставляла берегъ“... .

Пріемы славныхъ учителей видны очень въ сравненіяхъ Гоголя. Мы припомнимъ лучшія: сравненіе Манилова съ котомъ, у котораго пощекотали за ушами пальцемъ, овальнаго лица съ прозрачнымъ яичкомъ, радостнаго чувства среди печалей съ блестящимъ экипажемъ, который проносятся по бѣдной деревушкѣ, глазъ Плюшкина съ мышами, вниманія нетерпѣливой дамы съ Русскимъ бариномъ-охотникомъ, ожидающимъ зайца, городскихъ дамъ съ ученымъ, пускающимъ въ свѣтъ смѣлую гипотезу, жителей города со школьникомъ, которому товарищи засунули въ носъ гусара. — Нельзя не привести однако цѣликомъ чудной

картины, дающихъ собакъ и сравненія ихъ съ хоромъ пѣвчихъ:

„Между тѣмъ нынѣ заливались всѣми возможными головами: одинъ забросивши въ верхъ голову, выводилъ такъ протяжно и съ такимъ стараніемъ, какъ будто за это получалъ Богъ знаетъ какое жалованье; другой отхватывалъ наскоро, промежъ нихъ звенѣлъ, какъ почтовый звонокъ, неугомонный дишкантъ вѣроятно молодого щенка, и все это наконецъ поворачивалъ басъ, можетъ быть старикъ, надѣленный дущею собачьей натурой, потому что хрипѣлъ, какъ хрипитъ пѣвческій контробасъ, когда концертъ въ полномъ разливѣ, тенора поднимаются на цыпочки отъ сильнаго желанія вывести высокую ноту и все что ни есть порывается къ верху, закидывая голову, а онъ одинъ, засунувши небритый подбородокъ въ галстухъ, присѣвъ и опустившись почти до земли, пропускаетъ оттуда свою ноту, отъ которой трясутся и дробезжать стекла“.

Мы не приводимъ множества другихъ маленькихъ сравненій, коими усѣяно произведеіе: вспомнимъ эти дороги, которыя расплозаются во всѣ стороны, какъ раки, выброшенные изъ кулька, — или у Плюшкина въ домѣ, люстру, которая въ мѣшкѣ свосмъ похожа на червяка заключеннаго въ коконъ. Все, къ чему ни прикасается волшебная кисть Гоголя, все живетъ въ его яркомъ словѣ, и каждый предметъ сквозитъ изъ него и выдается своимъ видомъ и цвѣтомъ. И это свойство своей фантазіи, Русскій Поэтъ могъ возвести на такую степень искусства только тамъ, гдѣ творилъ Дантъ, гдѣ Аріостъ дружилъ съ Рафаэломъ и въ его мастерской, созерцая безсмертную кисть, переносилъ живыя ея краски въ Италіанское жаркое слово. Кто не понимаетъ сочувствія Гоголя къ Италіи, тотъ не пойметъ и всей красоты въ пластическомъ внѣшнемъ элементѣ его фантазіи.

Но предметы внѣшней природы получаютъ у Гоголя еще другую, особенную жизнь, потому что тѣсно сопрягаются съ человѣкомъ, проводятся не только для самихъ себя, не для эпического описанія, а чаще для того, чтобы рисовать



намъ насъ же самихъ, служить символомъ отдѣльнаго характера, лица или цѣлаго народа, чтобъ выражать собою внутреннюю жизнь и дѣйствія чловѣка. Припомните всѣ деревни помѣщиковъ, курятникъ Коробочки, мебель и обѣдъ Собакевича, домъ или лучше кладовую Плюшкина, царню Ноздрева, лошадей Селифана... Здѣсь во всякомъ мертвомъ, бездушномъ предметѣ живетъ самъ чловѣкъ, отражается его личное свойство и характеръ. Поэтъ рассказываетъ намъ, какъ еще съ дѣтства раскрылось въ немъ это покорное наблюденіе предметовъ, какъ въ городахъ и деревняхъ ничто не ускользало отъ его сѣтцаго, тонкаго вниманія; какъ слѣдилъ онъ движенія, высматривалъ одежду и всю паружность людей, проходившихъ мимо его, и уносился мысленно за ними въ бѣдную жизнь ихъ; какъ смотря на дома и сады помѣщиковъ, старался угадать, кто таковъ самъ помѣщикъ... Всѣ запасы этихъ впечатлѣній отдаленнаго дѣтства пошли въ прокъ, какъ видно, и послужили матеріаломъ для его поэзіи.

Мы объяснили внѣшнюю сторону ясновидящей фантазіи Поэта, показали ея воспитаніе и отношеніе къ сторонѣ внутренней: перейдемъ теперь къ сей послѣдней. Подъ именемъ ея мы разумѣемъ ясное созерцаніе всего внутренняго чловѣка въ различныхъ его видахъ. Въ этомъ отношеніи Гоголь является достойнымъ ученикомъ поэзіи сѣвера, и особенно Шекспира и В. Скотта. Здѣсь первое мѣсто занимаетъ созданіе характеровъ цѣльныхъ. Гоголь способенъ видѣть ясно каждое лицо, имъ создаваемое, и прослѣдить его во всѣхъ возможныхъ положеніяхъ жизни, во всѣхъ изгибахъ и движеніяхъ какъ души такъ и тѣла. Здѣсь-то особенно проявляется сила творческая въ Поэтѣ.

Въ характерахъ, создаваемыхъ Гоголемъ, должно замѣтить, что это не какіе-нибудь частные случаи, не отдѣльные явленія, подмѣченныя умомъ наблюдательнымъ, — нѣтъ, художникъ возводитъ каждый изъ нихъ на степень общаго типа и самъ на то намекаетъ. Припомнимъ то, что говорить о Ноздревѣ и Собакевичѣ. Въ самомъ дѣлѣ, сжавшюся въ самой себѣ крѣпкую натуру Собакевича, этого

человѣка-кулака, найдете вы во многихъ людяхъ по частямъ и въ разныхъ слояхъ общества, восходя до самыхъ высшихъ. Нѣкоторые брезгивали этимъ лицомъ, особенно видя его за няней и послѣ обѣда: странно!—брезгаютъ въ Поэмѣ, а какъ будто не непрерывно видятъ около себя, какъ будто не часто обѣдаютъ съ Собакевичами, которые обѣдаются не няни, не индюка, не вотрушекъ, а громадныхъ котлетъ съ трюфлями, чванятся образованіемъ, потому что говорятъ по Французски, а нравственно еще гаже Собакевича. Знаете-ли, что Собакевичи есть даже и въ литературѣ? вотъ на примѣръ всѣ тѣ писатели, которые смотрятъ на словесность какъ на легчайшее средство къ добыванію денегъ, всѣ литераторы-кулаки, которые обо всемъ даровитомъ въ литературѣ выражаются точно также, какъ Собакевичъ о губернаторѣ и прочихъ чиновникахъ, а въ своей критикѣ непрерывно разыгрываютъ въ дѣйствіи извѣстную басню Крылова—всѣ эти молодцы развѣ не тѣ же Собакевичи, взятые нумеромъ съ виду повыше? А потрудитесь, сличите-ка съ подлинникомъ текстъ изъ книги, приводимый ими со вносными знаками, какъ будто они ни въ чемъ не виноваты,—вы нападете не на одного Елизавету Воробья, котораго умѣютъ они ввертывать искусно для своихъ собственныхъ скрытыхъ цѣлей! А Маниловъ? О, Маниловыхъ много и въ столицахъ: этого народу досужихъ мечтателей не оберешься у насъ въ Россіи, къ сожалѣнію; люди съ виду пустые, а если приглядѣться пристальнѣе, такъ очень вредные своимъ бездѣйствіемъ. А Коробочка? Коробочекъ пропасть во всей Москвѣ, во всѣхъ закоулкахъ нашей необозримой столицы; онѣ ходятъ толпами по рынкамъ, только болѣе покупаютъ, чѣмъ продаютъ. А Поздровъ? отъ взбалмошныхъ Поздреныхъ также у насъ тѣсно. И они, вмѣстѣ съ Собакевичами, втерлись въ литературу. Тотъ писака, который вчера посылалъ къ вамъ учтивыя, колѣнопроклоненныя письма, печатно хвалилъ васъ, а теперь печатно же ругаетъ безъ причины; или выбѣжавъ изъ-подъ своей подворотни, лаетъ безъ умолку на всѣхъ проходящихъ, какъ будто получаетъ за это Богъ

знаеть какое жалованье; или вдругъ разругаетъ всѣ возможные славы міра, славы Италіи, Франціи и Россіи, и преклонится передъ кѣмъ нибудь, не просящемъ похвалъ его, и закричитъ ему во все горло: да ты выше Шекспира!—въ родѣ того, какъ Ноздревъ увѣряетъ Чичикова, что онъ для него лучше отца роднаго;—или, наконецъ, наглое самохвальство и хвастовство свое доводитъ до какого-то усовершенствованнаго ремесла: скажите, такой писака-дрянь не тотъ же ли Ноздревъ, принявшійся за перо и словесность, Богъ знаетъ какимъ случаемъ? Онъ едва ли не хуже его, потому что Ноздревъ ругаетъ и хвалитъ, лаетъ и лжетъ, лжетъ и хвастаетъ по одному инстинкту, а писака-дрянь тоже дѣлаетъ при совершенномъ сознаниіи своихъ дѣйствій.—Да ужъ полно, нѣтъ ли и Чичиковскаго подвига въ нашей литературѣ? Вотъ напримѣръ собрать подписку на книгу, которая существовала только въ воображеніи сочинителя, точно также какъ мертвыя души, купленныя Чичиковымъ... развѣ не тоже?.. Ну да впрочемъ довольно и этого...

Великъ талантъ Гоголя въ созданіи характеровъ, но мы искривно выскажемъ и тотъ недостатокъ, который замѣчаемъ въ отношеніи къ полнотѣ ихъ изображенія или произведенія въ дѣйствіи. Комическій юморъ, подъ условіемъ коего Поэтъ созерцаетъ всѣ эти лица, и комизмъ самаго событія, куда они замѣшаны, препятствуетъ тому, чтобы они предстали всѣми своими сторонами и раскрыли всю полноту жизни въ своихъ дѣйствіяхъ. Мы догадываемся, что кромѣ свойствъ, въ нихъ теперь видимыхъ, должны быть еще другія добрыя черты, которыя раскрылись бы при иныхъ обстоятельствахъ: такъ, напримѣръ, Маниловъ, при всей своей пустой мечтательности, долженъ быть весьма добрымъ человѣкомъ, милостивымъ и кроткимъ господиномъ съ своими людьми и честнымъ въ житейскомъ отношеніи; Коробочка съ виду только крохоборка и погружена въ одни матеріальные интересы своего хозяйства, но она непременно будетъ набожна и милостива къ нищимъ; въ Ноздревѣ и Собакевичѣ труднѣе прискаты что-нибудь доброе,

но все-таки должны же быть и въ нихъ, какія-нибудь движенія болѣе человѣческія. Въ Плюшкинѣ, особенно прежнемъ, раскрыта глубже и полнѣе эта общая человѣческая сторона: потому что Поэтъ взглянулъ на этотъ характеръ гораздо важнѣе и строже. Здѣсь на-время какъ будто покинулъ его комическій демонъ и прони, и фантазія получила болѣе простора и свободы, чтобъ осмотрѣть лицо со всѣхъ сторонъ. Также поступилъ онъ и съ Чичиковымъ, когда раскрылъ его воспитаніе и всю біографію.

Комическій демонъ шутки иногда увлекаетъ до того фантазію Поэта, что характеры выходятъ изъ границъ своей истины: правда, что это бываетъ очень рѣдко. Такъ, на-примѣръ, неостостственно намъ кажется, чтобы Собакевичъ, человѣкъ положительный и солидный, сталъ выхвалять свои мертвыя души и пустился въ такую фантазію, Скорѣе могъ бы ею увлечься Поздревъ, если бы съ нимъ сладилось такое дѣло. Оно чрезвычайно смѣшно, если хотите, и мы отъ души хохотали всему ораторскому наосу Собакевича, но въ отношеніи къ истинѣ и отчетливости фантазій намъ кажется это не вѣрно. Даже самое краснорѣчіе, этотъ даръ слова, который онъ внезапно по какому-то особливому наптію обнаружилъ въ своемъ панегирикѣ каретнику Михееву, плотнику Пробкѣ и другимъ мертвымъ душамъ, кажутся противны его обыкновенному слову, которое кратко и все рубить топоромъ, какъ его самого обрубилъ природа. Нарушеніе одной истины повлекло за собою нарушеніе и другой. Авторъ самъ это чувствовалъ и оговорился словами: „откуда взялись рысь и даръ слова въ Собакевичѣ“. То же самое можно замѣтить и объ Чичиковѣ: въ главѣ VII прекрасны его думы обо всѣхъ мертвыхъ душахъ, имъ купленныхъ, но напрасно приписаны онѣ самому Чичикову, которому, какъ человѣку положительному, едва ли могли бы придти въ голову такія чудныя поэтическія были о Степанѣ Пробкѣ, о Максимѣ Телятниковѣ сапожникѣ, и особенно о грамотѣ Поповѣ безпашпортномъ, да объ Ойровѣ Абакумѣ, гуляющемъ съ бурлаками... Мы не понимаемъ, почему всѣ эти размыш-

ленія Поэтъ не предложилъ отъ себя. Неестественно намъ также показалось, чтобы Чичиковъ ужъ до того напился пьянъ; что Селифану велѣлъ едѣвать всѣмъ мертвымъ душамъ лично поголовную переключку. Чичиковъ—человѣкъ солидный и едва ли напьется до того, чтобы впасть въ подобное мечтаніе.

То, что сказали мы о характерахъ, должно повторить и о возсозданіи всей Русской жизни въ Повѣствѣ Гоголя. Его фантазія съ чудною ясностію созерцаетъ всю невидимую для простаго ока ткань ея, со всѣми запутанными нитями и узлами. Чѣмъ болѣе вглядываемся въ подробности изобрѣтенія, тѣмъ болѣе удивляемся тому, какъ онѣ мастерски прилажены къ цѣлому и между собою, и убѣждаемся, что достигнуть этого можно только цѣльнымъ творческимъ ясновидѣніемъ жизни, а не искусственною какою-нибудь механикою, которая какъ бы ни слаживала, ужъ не сладить такъ, не поддѣлается подъ жизнь, какъ сама фантазія, самовластно управляющая всѣми способностями Поэта, приносящими ей дары свои, плоды опытовъ, наблюденій, и всѣ орудія на готовое служеніе. Въ изложеніи содержанія мы ужъ на то намекали; здѣсь приведемъ нѣкоторыя мелкія подробности, служащія однако тайными нитями въ ткани всего дѣйствія повѣсти.

Какъ вѣрно то, что кучеръ Селифанъ напился пьянъ въ гостяхъ у двора Манилова! Отъ Коробочки выдѣлываетъ онъ совершенно другимъ кучеромъ: тутъ ужъ замѣтны въ немъ порядокъ и стараніе. Отъ Ноздрева выѣхалъ онъ въ дурномъ расположеніи духа и такимъ же взбалмошнымъ, какъ и самъ ховяинъ, у котораго они съ бариномъ гостили: вотъ почему въ первый разъ спяну онъ сбился съ дороги и опрокинулъ бричку; во второй—ѣхалъ очень порядочно; въ третій—безъ толку наскочилъ на экипажъ, совершенно по Ноздревски. Все это кажется мелочами съ перваго раза, а оно чрезвычайно важно въ общей ткани событій, изъ которыхъ слагается канва дѣйствія. Прослѣдите всѣ выходы Ноздрева: онѣ вытекутъ изъ его характера. Съ нимъ нельзя было никакъ сладить дѣла, онъ одинъ

могъ всполошить городъ на балѣ у Губернатора и разорить все предпріятіе Чичикова; онъ же потомъ своимъ визитомъ и откровенностью могъ надумать его на скорый отъѣздъ. А Коробочка не также ли вездѣ вѣрна самой себѣ?—кто же другой могъ бы такъ поспѣшно прискакать въ городъ и ударить тревогу?—не изъ тучи громъ, а всегда такъ на свѣтѣ бываетъ. Коробочки очень важны и значительны въ подобныхъ предпріятіяхъ.

Но и здѣсь будетъ та же самая оговорка со стороны нашей, что комическій юморъ Автора мѣшаетъ иногда ему обхватывать жизнь во всей ея полнотѣ и широкомъ объемѣ. Это особенно ясно въ тѣхъ яркихъ замѣтахъ о Русскомъ человѣкѣ, которыми усѣяна Поэма. По большей части мы видимъ въ нихъ одну отрицательную, смѣшную сторону, полобхвата, а не весь обхватъ Русскаго міра. Всякая глупость и бессмыслица ложится ярко подъ мѣткую кисть Поэта-юмориста. Кучеръ Селифанъ похвалился, что не опрокинетъ, и тотчасъ же опрокинулъ. Дѣвчонка умѣетъ показать дорогу, а не знаетъ, что право и что лѣво. Дядя Миняй и дядя Митяй хлопотали, хлопотали около брички и коляски, и безтолковыя, ровно ничего не сдѣлали, но только что лошадей измучили. Здѣсь, съ одной стороны, видна добрая черта Русскаго народа—его радушіе, безкорыстная готовность помочь ближнему въ бѣдѣ, что не всегда найдете вы въ образованномъ западѣ;—но съ другой стороны жаль, что все это радушіе примыкаетъ къ безтолковщинѣ, которая очень смѣшна, но не полна: ибо вообще-то гоцоря, ужъ конечно не безтолковъ Русской мужикъ, и въ дѣлѣ, требующемъ здраваго смысла, за поясъ заткнетъ любого ученаго иностранца. Правда, живетъ и на него бѣда, какъ на Селифана, прихвастнетъ и опрокинетъ спяну, но часто бываетъ и такъ, что проскачетъ чертъ знаетъ гдѣ, выѣдетъ просто на авосѣ по соломенному мосту, и ужъ пока держитъ возжи въ рукахъ, конечно не усумнится какъ иной Нѣмецъ въ томъ, что справитъ лошадей, и не дастъ выпрыгнуть изъ коляски своему барину. Вотъ еще и такого кучера представьте намъ. Бы-

вають и такія бѣды съ мужичками Русскими, какъ были съ дядею Митяемъ и Миняемъ, что работаютъ, работаютъ; и прогонятъ ихъ прочь, не сказавши имъ добраго слова; но вѣдь коль въ суммѣ-то взять, такъ въ дорогѣ случись бѣда, кто же лучше поможетъ противъ нашего мужика, кто смышленнѣе его и рѣсторишнѣе?—И какъ ему въ томъ и не смышлену быть, когда, кромѣ природы, которая надѣлила его здравымъ смысломъ, помогла ему и сама дорога своимъ горькимъ опытомъ, своими ухабами, канавами, рывинами, грязью коню по брюхо, театральными мостами и пріятностями, отъ которыхъ такъ горько бываетъ образованному путешественнику внутри Россіи и еще было бы горше, когда бы не Русскій мужикъ съ своимъ терпѣніемъ, безкорыстнымъ радушіемъ и смышленностью!

Да не подумаютъ читатели, чтобъ мы въ чемъ нибудь обвиняли Гоголя! Избави насъ Боже отъ такой мысли, или лучше такого чувства! Гоголь любитъ Русь, знаетъ и отгадываетъ ее творческимъ чувствомъ лучше многихъ: на всякомъ шагу мы это видимъ. Изображеніе самыхъ недостатковъ народа, если взять его даже въ нравственномъ и практическомъ отношеніяхъ, наводитъ у него на глубокія размышленія о натурѣ Русскаго человѣка, о его способностяхъ и особенно воспитаніи, отъ котораго зависитъ все его счастье и могущество. Прочтите размышленія Чичикова о бѣглыхъ душахъ (на стр. 261—264): насмѣявшись, вы глубоко раздумаетесь о томъ, какъ растетъ, развивается, воспитывается и живетъ на бѣломъ свѣтѣ Русскій человѣкъ, стоящій на самой низшей ступени жизни общественной.

Да не подумаютъ также читатели, чтобъ мы признавали талантъ Гоголя одностороннимъ; способнымъ созерцать только отрицательную половину человѣческой и Русской жизни: о! конечно мы такъ не думаемъ, и все, что говорено прежде, противорѣчило бы такому утверженію. Если въ этомъ первомъ томѣ его Поэмы комическій юморъ возобладалъ, и мы видимъ Русскую жизнь и Русскаго человѣка *по большей части* отрицательною ихъ стороною, то отсюда никакъ не

слѣдуетъ, чтобы фантазія Гоголя не могла вознестись до полнаго объема всѣхъ сторонъ Русской жизни. Онъ самъ обѣщаетъ намъ далѣе представить все несмѣтное богатство Русскаго духа, и мы увѣрены заранее, что онъ славно сдержитъ свое слово. Къ тому же и въ этой части, гдѣ самое содержаніе, герои и предметъ дѣйствія увлекали его въ хохотъ и иронію, онъ чувствовать необходимость восполнить недостатокъ другой половины жизни, и потому въ частыхъ отступленіяхъ, въ яркихъ замѣтахъ, брошенныхъ эпизодически, далъ намъ предчувствовать и другую сторону Русской жизни, которую со временемъ раскроетъ во всей полнотѣ ея. Кто же не помнитъ эпизодовъ о мѣткомъ словѣ Русскаго человѣка и прозвищъ, какое дастъ онъ, о безконечной Русской пѣсни, несущейся отъ моря до моря по широкому раздолью нашей земли, и наконецъ объ ухарской тройкѣ, объ этой птицѣ-тройкѣ, которую могъ выдумать только Русскій человѣкъ и которая внушила Гоголю жаркую страницу и чудный образъ для быстрого полета нашей славной Руси? Всѣ эти лирическіе эпизоды, особенно послѣдній, представляютъ намъ какъ будто взгляды брошенные впередъ, или предчувствія будущаго, которое должно огромно развиться въ произведеніи и изобразить намъ всю полноту нашего духа и нашей жизни.

Мы не можемъ не выписать чуднаго эпизода о Русскомъ прозвищѣ и словѣ:

„Выражается сильно Россійскій народъ! и если наградить кого словцомъ, то пойдетъ оно ему въ родъ и потомство, утащитъ онъ его съ собою и на службу и въ отставку, и въ Петербургъ и на край свѣта. И какъ ужъ потомъ ни хитри и не облагораживай свое поприще, ничто не поможетъ: каркнетъ само за себя произзвище во все воронье горло, и скажетъ ясно, откуда вылетѣла птица. Произнесенное мѣтко, все равно что писанное, не вырублывается топоромъ. А ужъ куды бываетъ мѣтко все то, что вышло изъ глубины Руси, гдѣ нѣтъ ни Нѣмецкихъ, ни Чухонскихъ, ни всякихъ иныхъ племенъ, а все самъ—самородекъ, живой и бойкой Русской умъ, что не лѣзетъ



за словомъ въ карманъ, не высжииваетъ его, какъ насѣдка цыплятъ, а влѣпляетъ сразу, какъ паспортъ на вѣчную носку, и нечего прибавлять уже потомъ, какой у тебя носъ, или губы—одной чертой обрисовавъ ты съ ногъ до головы!

„Какъ несмѣтное множество церквей, монастырей съ куполами, главами, крестами, разсыпано на Святой Благочестивой Руси, такъ несмѣтное множество племень, поколѣній, народовъ толпится, пестрѣетъ и мечется по лицу земли. И всякій народъ, носящій въ себѣ залогъ силъ, полный творящихъ способностей души, своей яркой особенностями и другихъ даровъ Бога, своеобразно отличился каждый своимъ собственнымъ словомъ, которымъ, выражая какой ни есть предметъ, отражаетъ въ выраженіи его часть собственного своего характера. Сердцевѣдѣніемъ и мудрымъ познаніемъ жизни отзовется слово Британца; легкимъ щеголемъ блеснетъ и разлетится недолговѣсное слово Француза; затѣйливо придумаетъ свое, не всякому доступное, умнохудощавое слово Нѣмецъ; но нѣтъ слова, которое было бы такъ замаяисто, бойко, такъ вырвалось бы изъподъ самаго сердца, такъ бы кипѣло и живо трепетало, какъ мѣтко сказанное Русское слово“.

Замѣчательно, что Поэтъ въ числѣ языковъ не отмѣтилъ рѣзкимъ карандашемъ своимъ Италіянскаго слова, хотя конечно имѣлъ всѣ данныя передъ собою, для того чтобы судить объ немъ: это не потому ли, что Русской народъ въ мѣткости и живучести слова сходится съ художникомъ Италіянцемъ, такъ какъ и во многомъ другомъ, не смотря на то, что жаръ и морозъ раздѣлили оба народа?

Заключимъ же: учителя юга и сѣвера, Италія и Шекспиръ, положили печать свою на внѣшней и внутренней сторонѣ фантазіи Поэта въ отношеніи къ ясновидѣнію жизни. Такое сочетаніе двухъ элементовъ, замѣтное у насъ и въ другихъ Поэтахъ, особенно же въ Пушкинѣ, обѣщаетъ въ будущемъ для Русской фантазіи и для Русскаго искусства развитіе многостороннее и совершенно полное. О если бы могли совмѣстить въ собѣ внѣшній югъ съ внутреннимъ сѣверомъ, изящную пластику и форму перваго и глу-

бокую идею второго—мы достигли бы идеала въ искусствѣ! Приятно мечтать о томъ и еще пріятнѣе видѣть, что наша мечта начала осуществляться въ избранныхъ представителяхъ Русскаго искусства, и видимое на дѣлѣ предсказываетъ многое въ грядущемъ, особливо если мы не захотимъ ограничиваться какимъ-нибудь одностороннимъ направлениемъ и не будемъ искажать просторныхъ Русскихъ дарованій исключительнымъ чужимъ влияниемъ, Французскимъ какъ то было прежде, Нѣмецкимъ какъ бываетъ иногда теперь. — Комическій юморъ, увлекая фантазію Поэта и представляя ей одну только половину жизни, препятствуетъ полнотѣ внѣшняго и внутренняго ясновидѣнія. Мы никакъ не скажемъ, чтобы это былъ недостатокъ въ фантазіи Гоголя: это ея свойство; но думаемъ также, что Поэтъ способенъ дать ей полетъ самый свободный и обширный, котораго достало бы на обхватъ всей жизни, и предполагаемъ, что развиваясь далѣе и далѣе, его фантазія будетъ богатѣть полнотою и обниметь жизнь не только Руси, но и другихъ народовъ, возможность къ чему мы уже видѣли ясно въ Римѣ Гоголя.

Отношеніе юмора къ фантазіи есть дѣло первой важности въ поэтическомъ его талантѣ.—Оба въ немъ — дары Божіи и необходимые: поставить ихъ въ надлежащее равновѣсное отношеніе другъ ко другу — великая задача во всемъ развитіи Поэта!

Это отношеніе само собою прекрасно опредѣляется второю чертой фантазіи Гоголя, которая состоитъ въ тѣсномъ ея согласіи съ существенностію жизни, имъ воссоздаваемой. Какъ въ этомъ произведеніи, такъ и въ прежнихъ лучшихъ его созданіяхъ, фантазія не исчезаетъ въ мечтаніи произвольномъ, а упирается всѣмъ содержаніемъ поэзіи въ глубокія основы жизни человѣческой и природы, ея одушевляемой. Его поэзія не облака, безъ образа и значенія носящіяся надъ землею, но Фата Моргана, идеально отражающая въ небѣ все то, что на землѣ дѣйствительно происходитъ. Какова фантазія Гоголя, таковъ его и юморъ, крѣпкою силою привязанный къ корню самой жизни.

Эта черта въ фантазіи и юморѣ Гоголя есть черта собственно Русская. Поэзія наша, какъ и философія, не способна отрѣшиться отъ жизни и перейти въ какое-то бытіе отвлеченное, произвольное, чуждое значенія. Гофманъ былъ бы у насъ невозможенъ. Вся отвлеченная сторона поэзіи Гёте, вся ея неопредѣленность, также не въ нашемъ характерѣ и привита къ намъ быть не можетъ. Великъ юморъ Жанъ-Поля, но онъ тѣмъ отличается отъ Гоголевскаго, что слишкомъ празденъ и отрѣшенъ отъ существеннаго въ жизни.

Гоголь самъ это чувствовалъ въ новомъ, своемъ произведеніи и на послѣднихъ страницахъ его (467, 468) самъ указываетъ на глубокую связь между Поэмою его и жизнію.

Самыя неудачныя созданія Гоголя изъ прежнихъ были Вій и тѣ повѣсти въ Арабескахъ, въ которыхъ онъ подчинился Нѣмецкому вліанію. Сюда же мы отнесемъ и Носъ, напечатанный въ Современникѣ.

Фантазія и юморъ Гоголя чѣмъ глубже проникаютъ въ существенную жизнь, тѣмъ болѣе крѣпнуть, тѣмъ выше восходить; тѣмъ богаче становится содержаніемъ и поэзія, ими создаваемая. Каждый поэтъ, какъ титанъ Антей, долженъ касаться земли: чѣмъ глубже забираетъ онъ ее, тѣмъ могучѣе становится и тѣмъ свободнѣе возносится къ небу; отрѣшаясь отъ земли совершенно, онъ теряетъ силу. Таковъ поэтъ вообще, таковъ долженъ быть еще болѣе поэтъ Русской, судя по характеру народа; и таковъ нашъ Гоголь.

Повторимъ опять: ошибаются тѣ, которые не обращаютъ вниманія на содержаніе поэзіи Гоголя и видятъ въ ней одну лишь отвлеченную художественную сторону. Это совсѣмъ не похвала ему, а кромѣ того и незнаніе характера Русской поэзіи.

Потому-то скажемъ искренно Поэту: его фантазія и юморъ должны непременно всегда касаться существенной жизни, хотя и не вовсе жить въ ней, ибо искусство свободно; но чѣмъ глубже будутъ проникать въ дѣйствительность, тѣмъ сильнѣе будетъ ихъ дѣйствіе и тѣмъ правильнѣе опредѣлится ихъ взаимное между собой отношеніе, отъ котораго

много зависит въ грядущемъ развитіи нашего Поэта. Вся сила и всѣ красоты его новаго произведенія отсюда берутъ свое начало, и всѣ недостатки его, всѣ слабыя стороны произтекають изъ противнаго, являются намъ, гдѣ Поэтъ измѣняетъ своему коренному характеру. Когда онъ слишкомъ отрѣшается отъ дѣйствительнаго жизни, — юморъ его пустѣетъ лишенный содержанія, пускаетъ мыльные пузыри, и смѣхъ безъ глубокаго своего значенія теряется празднымъ пустозвономъ. Это бываетъ рѣдко, но бываетъ вездѣ тамъ, гдѣ Поэтъ увлекся своимъ комическимъ демономъ, *замутился* и слишкомъ отрѣшился отъ дѣйствительнаго жизни. Чаше же всего случается это въ городѣ, и здѣсь особенно на балѣ у Губернатора и въ обществѣ дамскомъ, когда онъ неистовствуетъ около Чичикова. Намъ кажется, что тутъ матеріалы измѣнили Поэту, и онъ по неволѣ отрѣшился отъ жизни и предался произволу своего комическаго юмора, который увлекъ его и нарушилъ характеръ его истиннолюбивой фантазіи.

Мы назвали фантазію Гоголя *ясновидящею, истиннолюбивою*, но есть еще третья черта въ художественномъ ея характерѣ, черта равно Русская, какъ и вторая: мы назвали бы ее *хлебосольною*. Да, въ фантазіи нашего Поэта есть Русская щедрость или чивость, доходящая до расточительности, свойство, выражаемое у насъ старинною пословицей: все что ни есть въ печи, то на столѣ мечи. Объяснимся. Читая Мертвыя Души, вы могли замѣтить, сколько чудныхъ полныхъ картинокъ, яркихъ сравненій, замѣтъ, эпизодовъ, а иногда и характеровъ, легко, но мѣтко очерченныхъ, дарить вамъ Гоголь такъ, просто, даромъ, въ придачу ко всей Поэмѣ, сверхъ того, что необходимо входитъ въ ея содержаніе. У Собакавича помните компаніонку за столомъ, а при Ноздревѣ его бѣлокураго зятя, который снаружи кажется упругъ, а внутри мягокъ: онъ пошелъ за даромъ и даже безъ имени, въ придачу къ характеру Ноздрева. Заговорилъ Поэтъ о тыквахъ-горлянкахъ, и пришли ему въ голову балалайки и двадцатилѣтній паренъ, мигачъ и щеголь, посвистывающій на бѣлогрудыхъ

дѣвицъ (стр. 178). Забрелъ онъ воображеніемъ на рабочій дворъ Плюшкина—и ярко представилась ему картина щепнаго двора въ Москвѣ (стр. 224). Плюшкинъ контрастомъ напомнилъ чиваго помѣщика, кутащаго во всю ширину Русской удали и барства, и тутъ явилась иллюминація сада, и вѣтви, чудно озаренныя снизу, и вверху темное, грозное небо, и сумрачныя вершины деревьевъ. Все уснуло въ трактирѣ, гдѣ остановился Чичиковъ, лишь въ одномъ окошечкѣ видѣнъ свѣтъ, и вотъ вамъ въ придачу шуточка на поручика, пріѣхавшаго изъ Рязани, большаго охотника до сапоговъ, который прикѣриваетъ пятую ногу и никакъ не наглядится на нее.—Гоголя можно сравнить съ богатымъ Русскимъ хлѣбосоломъ, который за роскошнымъ столомъ своимъ, кромѣ двухъ-аршинной стерляди, Архангельской телятины и прочихъ солидныхъ блюдъ, предлагаетъ вамъ множество закусокъ, прикусокъ, подливокъ и дорогихъ соусовъ, которые всѣ идутъ въ придачу къ неистощимому пиру и непремѣнно съѣдаются, заслоненные главными сокровищами щедраго Русскаго хлѣбосольства. Эти придачи фантазіи Гоголя имѣютъ иногда характеръ высокой, иногда же напротивъ переходятъ въ шуточку: такъ бываетъ и въ Русской нѣсни, и сказкѣ, которыя дарятъ васъ также при-словьями то высокими, въ родѣ слѣдующаго:

Высота-ли, высота поднебесная,  
Глубота-ли глубота—Окіянь море,  
Широта раздолье по всей земли,  
Глубоки омуты Днѣпровскіе.

—то шутивными, какъ извѣстныя прибаутки нашихъ сказокъ.

Главные свойства фантазіи Гоголя отражаются и въ его словѣ. Мы намѣрены посвятить особенную статью языку и слогу Мертвыхъ Душъ, а теперь обозначимъ только нѣкоторыя черты, связанныя съ предъидущимъ. Исповидніе фантазіи его отражается и въ слогѣ необыкновенною очевидностію. Внѣшняя ея сторона придаетъ ему живопись: слогъ Гоголя яркая кисть со всѣми оттѣнками колорита: мы имѣли уже случай говорить объ этомъ. Внутренняя

сторона выражается чуднымъ разнообразіемъ въ разговорѣ выводимыхъ лицъ, всегда изображающемъ живо особенный характеръ каждаго. — Согласіе фантазіи съ существенностью жизни отразилось и въ слоги чѣмъ-то истиннымъ, безискусственнымъ: намъ только замѣтны отступленія, гдѣ Поэтъ, измѣняетъ главному характеру своей фантазіи. Наконецъ третья черта сей послѣдней—Русское хлѣбосольство, даетъ печать свою и слогу: слово Гоголя — слово широкое, полное, разъемистое, плодовитое. Рѣчь его рассыпчата, какъ сдобное тѣсто, на которое не пожалѣли масла; она льется черезъ край, какъ переполненный стаканъ, налитой рукою чиваго хозяина, у котораго вино и скатерть ни почемъ; отъ того-то и періодъ его бываетъ слишкомъ грузно начиненъ, какъ пирогъ у затѣйливаго гастронома, который купилъ безъ расчета припасовъ и не щадитъ никакой начинки. Словомъ, полная рука расточительнаго богача видна вездѣ: всего вдоволь; приходитъ нерѣдко на умъ—хорошо бы поумѣрениче и поразборчивѣе, да боишься оскорбить благородную щедрость хозяина и лишить себя многихъ чудныхъ лакомствъ, которыя онъ даромъ сыплетъ на своей трапезѣ.

Въ заключеніе эстетическаго разбора Мертвыхъ Душъ, потребуемъ можетъ быть отъ насъ объясненія слову: Поэма?—Полный отвѣтъ на этотъ вопросъ можно дать только тогда, когда будетъ окончено все произведеніе. Теперь же значеніе слова: Поэма кажется намъ двоякимъ: если взглянуть на произведеніе со стороны фантазіи, которая въ немъ участвуетъ, то можно принять его въ настоящемъ поэтическомъ, даже высокомъ смыслѣ;—но если взглянуть на комическій юморъ, преобладающій въ содержаніи первой части, то невольно изъ-за слова: Поэма, выгянетъ глубокая, значительная иронія, и скажешь внутренно: „не прибавить ли ужъ къ заглавію: Поэма нашего времени?“

С. Швыревъ.

\*)—Похожденія Чичикова, или *Мертвыя души*. Поэма Н. Гоголя. Москва, 1842 г.

Parturiant montes.

Нѣсколько лѣтъ толковали намъ, что Г. Гоголь написал романъ: *Мертвыя Души*, который превзойдетъ всѣ прочія его сочиненія, въ которомъ раскроется весь необыкновенный талантъ его. Наконецъ, въ пятой книжкѣ Москвитянина, объявили, что романъ отпечатанъ. Мы бросились въ книжную лавку, и имѣли счастье купить одинъ изъ первыхъ экземпляровъ, полученныхъ въ С.-Петербургѣ, книжку довольно толстую, напечатанную четко, на хорошей бумагѣ, въ желтой оберткѣ съ странными и уродливыми арабесками. Прочитали ее разъ, прочитали другой, и сообщаемъ читателямъ нашимъ чистосердечное выраженіе нашего о ней мнѣнія, съ которымъ, вѣроятно, согласятся всѣ безпристрастные и благонамѣренные читатели талантовъ г. Гоголя.

Содержаніе этого романа, вкратцѣ, слѣдующее. Одинъ чиновникъ, выгнанный изъ службы за воровство и злоупотребленія, вздумалъ поправить свое состояніе тѣмъ, что сталъ скупать у помѣщиковъ души крестьянъ ихъ, умершихъ послѣ ревизіи, съ тѣмъ, вѣроятно, чтобъ заложить сіи существующія только на бумагѣ души, въ Кредитныхъ Установленіяхъ. Онъ пріѣхалъ съ этою цѣлю въ какой-то губернской городъ, познакомился тамъ съ чиновниками и помѣщиками, и накупилъ искомаго товару порядочное количество, но не разбирая людей, къ которымъ обращался, вскорѣ увидѣлъ, что его илутни обнаружены, и послѣдшилъ выбраться изъ города, встревоженного слухами— сначала о мнимомъ его богатствѣ, а потомъ о вредныхъ и небывалыхъ его замыслахъ. Вотъ и все. Чичиковъ жестоко смахиваетъ на Хлестакова въ Ревизорѣ: тамъ вздорный мальчишка всолошилъ всѣхъ дураковъ и негодаевъ въ го-

\*) „Сверная Пчела“ 1842 г., № 137. „Русская Литература“. Статя подписана буквой Г.

родѣ, здѣсь отъявленный негодяй привелъ въ недоумѣніе цѣлую губернію. Тотъ безъ разбору занимаетъ у всѣхъ деньги; этотъ у всякаго спрашиваетъ, не имѣеть-ли на продажу мертвыхъ душъ. Оба они во-время увѣщаютъ съ поприща своихъ подвиговъ, и освобождаютъ автора отъ необходимости распутывать узелъ, впрочемъ, очень неукусно завязанный.

Чѣмъ же наполнены четыреста семьдесятъ пять большихъ страницъ этого тощаго содержаніемъ романа? Описаніемъ мѣстности разныхъ сдѣлъ его, изображеніемъ паружности дѣйствующихъ лицъ и ихъ разговорами, разными эпизодами, вставками, шуточками и прибаутками. Тутъ очень много забавнаго, смѣшнаго, зорко подмѣченнаго и счастливо переданнаго, много характернаго изъ низшихъ слоевъ нашей публики; много острыхъ словъ и мѣткихъ выстрѣловъ въ невѣжество, глупость и пороки. Попадаютъ умныя сужденія, вѣрныя и разительныя замѣчанія, но все это утопаетъ въ какой-то странной смѣси вздору, пошлостей и пустяковъ. Всѣ лица, выведенныя авторомъ на сцену, болѣе или менѣе карикатурны; всѣ, какъ говорить Простакова въ Недорослѣ, дураки или воры. Нѣтъ ни одного порядочнаго, не говоримъ уже честнаго и благороднаго человѣка. Это какой-то особый міръ негодяевъ, который нѣкогда не существовалъ и не могъ существовать.

Въ оправданіе автору можно сказать, что онъ и не хотѣлъ представлять дѣйствительнаго міра, въ которомъ смѣшано доброе и злое, истинное и ложное, умное и глупое; онъ хотѣлъ написать карикатуру и внести въ нее все смѣшное, что только успѣлъ замѣтить въ свѣтѣ. Но не все то, что случается и говорится, годно для романа, для поэзіи, не все то можетъ интересовать и быть приятнымъ въ книгѣ, что заставляеть насъ улыбнуться на улицѣ или на пзвоищьемъ дворѣ.

Удивляемся безвкусію и дурному тону, господствующимъ въ этомъ романѣ. Выраженія: *подлецъ, свинья, свинтусъ, бестія, каналья* (стр. 196: „въ театрѣ одна актриса ка-



наля, такъ пѣла какъ канарейка“), *ракаля*, *Оетюкз\**), *скалдырникъ*, *мошенникъ*, *бабѣшка*, *чертовъ кулакъ*, *напакоститъ*, *скотина*, *подстѣга*, *Вшивая Спесь* (названіе селенія) составляютъ еще не самую темную часть книги. Многія картины въ ней просто отвратительны; таковы, напримѣръ, изображеніе лакея (стр. 33, который „спалъ не раздѣваясь такъ какъ есть, въ томъ же самомъ сюртукѣ, и носилъ всегда съ собою свой особенный воздухъ, своего собственного запаха!“), утираніе мальчику носа за столомъ, стр. 33 (иначе бы, говоритъ авторъ, капнула въ супъ препорядочная посторонняя капля); разговоръ о поручикѣ (стр. 56), (который не выпускалъ изъ рта трубки не только за столомъ, но даже, съ позволенія сказать, во всѣхъ прочихъ мѣстахъ); описаніе подвиговъ Поручика Кувшинникова (стр. 125), исторія блохъ (стр. 156 и 157) превратительная; выраженія на верху 165 страницы, еще на стр. 189 вверху и внизу; на стр. 219: („Идите въ комнаты! — сказала ключница, отворотившись и показавъ ему спину, запачканную мукою, съ большой прорѣхою пониже“); портретъ Плюшкина, (стр. 235); бесѣда на улицѣ (стр. 250); одно мѣсто на стр. 260; еще на стр. 303; описаніе замысловъ при дамскомъ нарядѣ (стр. 314); на стр. 333, внизу; и проч. и проч. Не понимаемъ, для кого авторъ малевалъ эти картинки! Похвалы людей, которымъ онѣ могутъ нравиться, его не утѣшатъ!

Языкъ и слогъ самые неправильные и варварскіе. Не говоримъ о вводныхъ рѣчахъ героевъ и героинь автора: они говорятъ какъ должно, или какъ не должно. Но въ собственныхъ его рѣчахъ, господствуетъ самое дерзновенное возстаніе противъ правилъ грамматики и логики. Напримѣръ: (стр. 8). „Молодой человекъ *оборотился назадъ*“; (стр. 14). „Скромно *темнѣла* (вм. темнѣлась) сѣрая краска“, (стр. 16). „Отправился домой прямо въ свой *номеръ*, *поддерживаемый* слегка на лѣстницѣ трактирнымъ слугою“,

\* Авторъ замѣчаетъ, въ выноскѣ, (стр. 145) объ этомъ словѣ: „Оетюкз слово обидное для мужчины, происходитъ отъ буквы *Ө*, буквы почтасмой въ которыхъ непряличною буквою“. Это что?

(стр. 23). „Собакевичъ съ перваго раза ему наступилъ на ногу, сказавши: прошу прощенія“. Нѣтъ! *Наступивши* на ногу, *сказалъ*: и проч. (стр. 35). „Не безъ радости былъ вдали *узрѣтъ* полосатый шлагбаумъ“. Узрѣтъ! (стр. 41). „Если коснешься *задирающаго* его предмета“. Мы очень любимъ употребленіе причастій, и отнюдь не согласны съ тѣми, которые хотятъ замѣнять ихъ безпрерывнымъ *который*, но есть случаи, въ которыхъ причастіе неумѣстно, напримѣръ, и въ слѣдующемъ (стр. 230): „помѣщикъ, *кутящій* во всю ширину Русской удали и барства“ (Стр. 51). „При (?) нихъ стоялъ учитель, поклонившійся вѣжливо и съ улыбкою“. Нѣтъ! Стоящій при нихъ учитель поклонился, и проч. На стр. 62 и 87 авторъ употребляетъ выраженія *носовыя ноздри*. Любопытно знать, есть ли въ свѣтѣ какія-нибудь не носовыя ноздри. (Стр. 69). „М. долго стоялъ на крыльцѣ, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно *стала невидна*“. Это не по-Русски. Должно сказать: пропала изъ виду, скрылась, и т. п. (Стр. 79). „Предположенія, смѣты и соображенія, блуждавшія по лицу его, видно были очень пріятны, ибо ежеминутно оставляли послѣ себя слѣды довольной усмѣшки“. Не постигаемъ! (Стр. 80). „Свѣтъ мелькнулъ въ одномъ окошкѣ и досягнулъ туманною струею до забора, *указавши* нашимъ дорожнымъ ворота“. Прежняя ошибка! (Стр. 85). „У тебя вся спина и бокъ въ грязи! Гдѣ такъ изволилъ *засалиться*?—Еще слава Богу,—отвѣчаетъ онъ, что только *засалился*“. Нѣтъ, не засалился, а выпачкался. Засалиться не значитъ просто *sesaler*, а замачкаться саломъ. (Стр. 98). „Вы ихъ не *сыщите* на улицѣ“. Нѣтъ, не *сыщете*. (Стр. 99). „Открыла ротъ“. Нѣтъ, разинула ротъ. (Стр. 102). „Довѣренное письмо“. Нѣтъ, вѣрующее письмо. (Тамъ же). „Перины вынесены вонъ“. А мы думаемъ, что просто вынесены. (Стр. 111). „Колеса брички, захватывая ея (грязь), сдѣлалась скоро покрытыми ею, какъ войлокомъ“. По-Русски, просто говорятъ: *покрылись ею*“. (Стр. 117). „Запидивѣвшій самоваръ“. Удивительно: самоваръ, покрытый пнеемъ!“ (Стр. 163). „Ч. *отилъ бльденъ*,

какъ полотно. Онъ хотѣлъ что-то сказать, но чувствовалъ, что губы его шевелились безъ звука“. Стать блѣднѣтъ— вмѣсто поблѣднѣть. Слово чувствовалъ лишнее. (Стр. 173). „Лошади понятелись назадъ“. А почему не впередъ? (Стр. 173). Мужики стоять, зѣвая съ открытыми ртами. (Стр. 297). „Кто-то вбѣжалъ въ поныхахъ“. Авторъ, вѣроятно, хотѣлъ сказать: запыхавшись. Въ поныхахъ значитъ совсѣмъ иное: надмень въ счастья. (См. Словарь Россійской Академіи. (Стр. 228). „Туть онъ произвелъ небольшое молчаніе“. (Стр. 252). Потребовавши самый легкій ужинъ, состоявшій только въ поросенкѣ“. (Стр. 405). „Много совершилось въ мірѣ заблужденій, которыхъ бы казалось теперь не сдѣлалъ и ребенокъ“. „Совершились заблужденія, сдѣлать заблужденія“, то и другое невозможно. Въ заключеніе выписываемъ мѣсто, которое можетъ итти въ образецъ торжественной высокопарности: (стр. 230). „Чего нѣтъ у него? Театры, балы; всю ночь сіяетъ убранный (?) огнями и площадками (безъ огней?), пламенный громомъ музыки, садъ. Полгуберніи разодѣто и весело гуляетъ подъ деревьями, и никому не является дикое и грозящее въ семь насильственномъ освѣщеніи, когда тоатрально выскакиваетъ изъ древесной гущи оваренная поддѣльнымъ свѣтомъ вѣтвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнѣе, и суровѣе, и въ двадцать разъ грознѣе является чрезъ то ночное небо; и далеко трепеща листьями въ вышинѣ, уходя глубже въ непробудный мракъ, негодуютъ суровыя вершины деревъ на сей мишурный блескъ, освѣтившій ихъ корни“.

Довольно для исполненія тяжелой обязанности рецензента указывать ошибки и недостатки. Обратимъ теперь вниманіе читателя и на хорошія стороны книги, которую авторъ, для шутки, назвалъ поэмою: это просто положенный на бумагу разговоръ замысловатаго, мнимо простодушнаго Малороссіянина, въ кругу добрыхъ друзей, которые отнюдь не погнѣваются за смѣлыя выраженія, нестерпимыя въ чопорныхъ гостинныхъ, въ кругу разодѣтыхъ барынь, но требуютъ ни плана, ни единства, ни слога, только было

бы чему посмѣяться. Никто изъ нихъ не скажетъ: *мове жанеръ и мове ту!*

Авторъ, какъ мы выше сказали, мастерски рисуетъ сцены изъ простонароднаго быта, изъ круга сельскихъ помещиковъ, подъячихъ, ямщиковъ, крѣпостныхъ людей, и т. п. Укажемъ на самыя удачныя: картина дерзости надъ низшими и подлости предъ старшими (стр. 91); похмѣлье кучера (стр. 109); рѣчи буяна Ноздрева (стр. 121 и слѣд.); характеръ его (стр. 134); бесѣда играющихъ въ шашки (стр. 159); происхождение грубой рожни (стр. 179); изображеніе скряги Плюшкина (стр. 223) и далѣе, общіе сапоги для всей дворни (стр. 227); допросъ безпашпортнаго (удивительная вѣрностью картина! стр. 264); портретъ полиційстера (стр. 287); любовное письмоцо провинціалки (стр. 309); болтовня двухъ дамъ, длинноватая, но презабавная (стр. 439); деликатный взяточникъ (стр. 445); картина лихой тройки, оканчивающая поэму.

Еще должны мы упомянуть объ умныхъ, рѣзкихъ замѣчаніяхъ автора на счетъ слабостей и глупостей людскихъ. Таковы напримѣръ: объ обманчивой съ перваго взгляда фигурѣ добрыхъ людей (стр. 41); какъ въ свѣтѣ измѣряютъ умъ и любезность человѣка (стр. 48); слабость мнимоуправыхъ (стр. 130); объ измѣненіи дѣвицъ въ обществахъ (стр. 176); удалыя выраженія Русскаго народа (стр. 206); мысли путешественника по приближенію къ городу или селенію (стр. 211 и слѣд.); проявленіе чувства на деревянномъ лицѣ скряги (стр. 241); молодость и старость (стр. 244); радость возвращенія домой (стр. 255); раздражительность читателей (стр. 345); тактика ученыхъ диссертаций (стр. 363); засѣданія разныхъ нашихъ обществъ (стр. 383), и многія другія.

Не можемъ отказаться отъ удовольствія выписать нѣкоторыя изъ указанныхъ нами мѣстъ.

Стр. 206. „Выражается сильно Россійскій народъ! и если наградить кого словомъ, то пойдетъ оно ему въ родъ и потомство, утащитъ онъ его съ собою и на службу, и въ отставку, и въ Петербургъ, и на край свѣта. И какъ ужъ

потомъ не хитри и не облагораживай свое поприще, ничто не поможетъ: каркнетъ само за себя прозвище во все свое воронье горло, и скажетъ ясно, откуда вылетѣла птица. Произнесенное мѣтко, все равно, что писанное, не вырублывается топоромъ. А ужъ куды бываетъ мѣтко все то, что вышло изъ глубины Руси, гдѣ нѣтъ ни Нѣмецкихъ, ни Чухонскихъ, ни всякихъ иныхъ племенъ, а все самъ—самородокъ, живой и бойкій Русскій умъ, что не лѣзетъ за словомъ въ карманъ, не высиживаетъ его, какъ пасѣдка цыплятъ, а влѣпливаетъ съ разу, какъ паспортъ на вѣчную носку, и нечего прибавлять уже потомъ, какой у тебя носъ, или губы—одной чертой обрисованъ ты съ ногъ до головы!“

Стр. 345. „Тенерь у насъ всѣ такъ раздражены, что все, что ни есть въ печатной книгѣ, уже кажется имъ личностью: таково ужъ видно расположеніе въ воздухѣ. Достаточно сказать только, что есть въ одномъ городѣ глухой человѣкъ, это уже и личность: вдругъ выскочитъ господинъ почтенной наружности и закричитъ: вѣдь я тоже человѣкъ, стало быть я тоже глухъ, словомъ, выигъ смекнетъ, въ чемъ дѣло“.

Стр. 383. „Вообще мы какъ-то не сдались для представительныхъ засѣданій“. Во всѣхъ нашихъ собраніяхъ, начиная отъ крестьянской мірской сходки до всякихъ возможныхъ ученыхъ и прочихъ комитетовъ, если въ нихъ нѣтъ одной главы, управляющей всѣмъ, присугствуетъ препорядочная путаница. Трудно даже и сказать, почему это; видно уже народъ такой, только и удаются тѣ совѣщанія, которыя составляются для того, чтобы покутить или пообѣдать, какъ-то клубы и всякіе воксалы на Нѣмецкую ногу. А готовность всякую мпнуту есть пожалуй на все. Мы вдругъ, какъ вѣтеръ повѣетъ, заведемъ общества благотворительныя, поощрительныя и ни вѣсть какія. Цѣль будетъ прекрасна, а при всемъ томъ ничего не выйдетъ. Можетъ быть, это происходитъ отъ того, что мы вдругъ удовлетворяемся въ самомъ началѣ, и уже почитаемъ, что все сдѣлано. Напрямѣръ, затѣявши какое-нибудь благотворительное обще-

ство для бѣдныхъ, и пожертвовавши значительныя суммы, мы тотчасъ, въ ознаменованіе такого похвального поступка, задаемъ обѣдъ всѣмъ первымъ сановникамъ города, разумѣется на половину всѣхъ пожертвованныхъ суммъ; на остальные нанимается тутъ же для комитета великолѣпная квартира, съ отопленіемъ и сторожами, а за тѣмъ и остается всей суммы для бѣдныхъ пять рублей съ полтиною, да и тутъ въ распредѣленіи этой суммы еще не всѣ члены согласны между собою, и всякій суетъ какую-нибудь свою куму“.

Выписавъ эти строки, которыя въ книгѣ имѣютъ еще много себѣ подобныхъ, не можемъ еще не подосадовать на автора за равнодушіе его къ своему таланту. Онъ добровольно отказался отъ мѣста подлѣ образцовыхъ писателей романовъ, чтобъ стать ниже Поль-де-Кока! Жаль! Очень жаль!

Г.

\* \* \*

\*)—Чичиковъ, или *Мертвыя души Гоголя*.

Къ вамъ г. Редакторъ „Современника“, я обращаюсь съ моими замѣчаніями о новомъ сочиненіи Гоголя и о другихъ предметахъ, прикосновенныхъ къ дѣлу критики—потому къ вамъ, что сами вы не любите говорить много, и еще болѣе потому, что кажется, не занимаетесь сужденіями другихъ журналистовъ. Слѣдовательно вы, какъ говорится, человекъ свѣжій.

Я прочиталъ въ „Сѣврной Пчелѣ“, что у Гоголя, судя по Чичикову, нѣтъ таланта, что книга написана безъ вкуса, и что даже она наполнена литературными непристойностями. Обвиненія, взведенныя на писателя, давно извѣстнаго съ хорошей стороны публикѣ, естественно заставили меня поскорѣе приняться за чтеніе поэмы. По моему выходитъ, что Гоголь едва ли не настолько же под-

\*) „Современникъ“ 1842 г. т. 27. Статья подписана буквами: С. Ш. (Плетнева).

нался выше въ искусствѣ, сравнительно съ прежними его произведеніями, сколько онъ своимъ талантомъ вообще превосходитъ теперешнихъ Русскихъ писателей. Скажу болѣе: мнѣ кажется странно, говоря о немъ, входить въ объясненіе, чѣмъ сочиненіе его лучше той или другой книги изъ напечатанныхъ съ нимъ въ одно время. У него въ искусствѣ не видно уже авторскаго усилія приблизиться къ опредѣленной цѣли, какъ напримѣръ, навести читателя на любимую идею, развеселить его забавною сценою, расстрогать идеальною картиною гореспаго положенія, красивымъ описаніемъ природы приготовить воображеніе къ поразительной печальности, и тому подобное. Онъ самъ весь проникнутъ жизнію—и вмѣсто того, чтобы сочинять, онъ воплощаетъ въ дѣйствительность свою внутреннюю жизнь, это чудное вмѣстительство всего внѣшняго. Вышедши изъ своего уединенія мысли на поприще явленіи\* жизни, онъ обязанность созерцателя перемѣняетъ на ощущеніе дѣйствующихъ, и мы видимъ только рядъ поразительныхъ сценъ, не подозрѣвая, что дѣло состоитъ въ искусствѣ автора. Таково было всегда разстояніе отъ великихъ, впрочемъ столь рѣдко появляющихся художниковъ, до самыхъ умныхъ, разборчивыхъ и всякой похвалы достойныхъ ихъ учениковъ или послѣдователей. То, что говорили у васъ въ Петербургѣ объ игрѣ Листа, меня наводитъ на эту же мысль. Состояніе души его во время исполненія музыки, и то, чѣмъ сила его чуднаго постиженія наполняетъ, проникаетъ, такъ сказать, бродящія у другаго звуки, и то, что онъ дѣйствительностію сочувствія съ идеею автора вноситъ въ сердце слушателей, развѣ это все усиліе искусства, а не страданіе или радость жизни? Развѣ можно при этомъ говорить о чистотѣ, вкусѣ и бѣглости игры другаго артиста, чтобы каждому отдать ему принадлежащее?

Вы но подумаете конечно, что повѣсть Гоголя начата безъ основанной идеи, что искусство ему не покоряется, и что онъ влечется за мимолетащими ощущеніями. Но дѣло въ томъ, что у писателя всякаго разряда, какъ въ самой природѣ, явленія просты, доступны постиженію всяка-

и представить ихъ въ такихъ обстоятельствахъ, которыхъ тема многозначительнѣе. Но можно ли уже сказать, судя по одному плану, что произведеніе будетъ совершеннѣе? Все въ немъ зависитъ отъ совершенства исполненія. А этого нельзя иначе почувствовать, какъ читая книгу, или, вѣрнѣе сказать, проживъ съ лицами весь періодъ, обнятый сочинителемъ.

Изображеніе цѣлаго общества, или порознь его членовъ, столько принимаетъ особенностей, что невозможно никакой на это привести классификаціи. По большей части мы замѣчаемъ тутъ особенность самого автора. Но самыя высшія, какъ говорятъ, красоты этого рода уже доказываютъ неуспѣхъ. Краски и тонъ должны выразить жизнь представляемаго, а не представляющаго. Если и замѣтно въ авторѣ стремленіе къ достиженію этой цѣли, сколько видоизмѣненной окажется въ созданіи, въ соответственность чувству, ему и воображенію писателя! Изучая произведеніе, самый критикъ, безъ сочувствія, безъ равенства эстетическихъ силъ, данныхъ природою художнику, не впадаетъ ли въ собственные ошибки? Всѣ подобнаго рода соображенія надобно имѣть въ виду, когда мы желаемъ произнести или принять мнѣніе касательно всякой новой книги, и тѣмъ болѣе созданія ума высшаго и необыкновенно оригинальнаго.

Гоголь, какъ я сказалъ, возвелъ характеръ искусства въ поразительное явленіе самой жизни. Онъ, въ этомъ художническомъ отчужденіи собственнаго участія, такъ превосходитъ всѣхъ писателей, что нерѣдко перестаешь подозревать его присутствіе тамъ, гдѣ онъ, какъ раскащикъ, обязанъ находиться. Онъ весь проникнутъ сферою движущагося около него общества, дѣлитъ его образъ мыслей, говоритъ его языкомъ, признаетъ за истину всякую, самую ложную его идею—и такимъ образомъ ничто васъ не потревожитъ въ очарованіи созданной имъ дѣйствительности. Послушайте, наприм., толки городскихъ жителей, прослышавшихъ, что Чичиковъ накупилъ крестьянъ на выводъ.



„Покупки Чичикова сдѣлались предметомъ разговоровъ. Въ городѣ пошли толки, мѣнія, разсужденія о томъ, выгодно-ли покупать на-выводъ крестьянъ. Изъ прѣвнѣйшій многія отзывались совершеннымъ познаніемъ предмета. Конечно, говорили иные, это такъ, противъ этого и спору нѣтъ: земли въ южныхъ губерніяхъ точно хороши и плодородны; но каково будетъ крестьянамъ Чичикова безъ воды? рѣки вѣдь нѣтъ никакой“. „Это-бы еще ничего, что нѣтъ воды, это бы ничего, Степанъ Дмитріевичъ, но переселеніе-то ненадежная вещь. Дѣло извѣстное, что мужикъ, на новой землѣ, да заняться еще хлѣбонашествомъ, да ничего у него нѣтъ, ни избы, ни двора, убѣжить какъ дважды-два, наострять такъ лыжи, что и слѣда не отыщешь“. Нѣтъ, Алексѣй Ивановичъ, позвольте, позвольте, я не согласенъ съ тѣмъ, что вы говорите, что мужикъ Чичикова убѣжить. Русскій человѣкъ способенъ ко всему и привыкаетъ ко всякому климату. Пошли его хоть въ Камчатку; да дай только теплыя рукавицы, онъ похлопаетъ руками, топоръ въ руки, и пошелъ рубить себѣ новую избу“. „Но, Иванъ Григорьевичъ, ты упустилъ изъ виду важное дѣло: ты не спросилъ еще, каковъ мужикъ у Чичикова? Позабылъ то, что вѣдь хорошаго человѣка не продаетъ помѣщикъ. Я готовъ голову положить, если мужикъ Чичикова не воръ и не нѣяница въ послѣдней степени, праздношатайка, и буйнаго поведенія“. „Такъ, такъ, на это я согласенъ. Это правда: никто не продастъ хорошихъ людей, и мужики Чичикова нѣяницы, но нужно принять во вниманіе, что вотъ тутъ-то и есть мораль, тутъ-то и заключена мораль: они теперь негодяи, а переселившись въ новую землю, вдругъ могутъ сдѣлаться отличными подданными. Ужъ было не мало такихъ примѣровъ: просто въ мірѣ, да и по исторіи то-же“. „Никогда, никогда, говорилъ управляющій казенными фабриками, повѣрьте, никогда, это не можетъ быть, ибо у крестьянъ Чичикова будутъ теперь два сильные врага: первый врагъ есть близость губерній Малороссійскихъ, гдѣ, какъ извѣстно, свободная продажа вина. Я васъ увѣряю: въ двѣ пе-

дѣли они извѣются и будутъ стельки. Другой врагъ есть уже самая привычка къ бродяжнической жизни, которая необходимо приобрѣтается крестьянами во время переселенія. Нужно развѣ, чтобы они вѣчно были предъ глазами Чичикова, и чтобы онъ держалъ ихъ въ ежовыхъ рукавицахъ, гонялъ бы ихъ за всякій вздоръ, да и не то, чтобы полагаясь на другого, а чтобы самъ-таки лично, гдѣ слѣдуетъ, далъ бы и зуботычину и подзатыльника“. „Зачѣмъ же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники? Онъ можетъ найти и управителя.“ „Да, найдете управителя? все мошенники“. „Мошенники потому, что господа не занимаются дѣломъ“. „Это правда, подхватили многіе. Знай господинъ самъ хотя сколько-нибудь толку въ хозяйствѣ, да умѣй различать людей, у него будетъ всегда хорошій управитель. Но управляющій сказалъ, что меньше, какъ за 5000 нельзя найти хорошаго управителя. Но предсѣдатель сказалъ, что можно и за 3000 сыскать. Но управляющій сказалъ, гдѣ же вы его сыщете? развѣ у себя въ носу? Но предсѣдатель сказалъ: „нѣтъ не въ носу, а въ здѣшнемъ же уѣздѣ, именно Петръ Петровичъ Самойловъ, вотъ управитель, какой нуженъ для мужиковъ Чичикова“. Многіе сильно входили въ положеніе Чичикова, и трудность переселенія такого огромнаго количества крестьянъ ихъ чрезвычайно утрашала. Стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между такимъ непокойнымъ народомъ, каковы крестьяне Чичикова. На это полицмейстеръ замѣтилъ, что бунта нечего опасаться, что въ отвращеніе его существуетъ власть капитанъ-исправника; что капитанъ-исправникъ самъ хоть и не ѣзди, а пошли только на мѣсто себя одинъ картузь свой, то одинъ этотъ картузь погонитъ крестьянъ до самаго мѣста ихъ жительства. Многіе предложили свои мнѣнія на счетъ того, какъ искоренить буйный духъ, обуревавшій крестьянъ Чичикова. Мнѣнія были всякаго рода: были такіа, которые уже черезчуръ отзывались военною жестокостью и строгостію, едва ли не излишнею; были однако же и такіа, которыя дышали кротостію. Почмейстеръ замѣтилъ,

что Чичикову предстоитъ священная обязанность; что онъ можетъ сдѣлаться среди своихъ крестьянъ нѣкотораго рода отцемъ, по его выраженію: ввести даже въ благодѣтельное просвѣщеніе, и при этомъ случай отозвался съ большею похвалою объ Ланкастеровой школѣ взаимнаго обученія.

Такимъ образомъ разсуждали и говорили въ городѣ, и многіе, побуждаемые участіемъ, сообщали даже Чичикову лично нѣкоторыя изъ сихъ совѣтовъ, предлагали даже конвой для безопаснаго препровожденія крестьянъ до мѣста жительства. За совѣты Чичиковъ благодарилъ, говоря, что при случай не приминетъ ими воспользоваться, а отъ конвой отказался рѣшительно, говоря, что онъ совершенно не нуженъ, что купленные имъ крестьяне отменно смирнаго характера, чувствуютъ самое добровольное расположеніе къ переселенію, и что бунта ни въ какомъ случай между ними быть не можетъ“.

Приведенный мною отрывокъ есть общій очеркъ значительной части общества, посреди котораго находится Чичиковъ. Я предпочелъ это спокойное изложеніе сужденій рѣзкимъ явленіямъ какого нибудь частнаго случая, именно потому, что онъ менѣе представляетъ успѣха обыкновенному писателю. Въ усилии набросать, при заготовленной сценѣ, каррикатурный или даже высокій характеръ, не мудрено попасть на удачу и сорвать дань улыбки или похвалу читателя; но это я называю искусствомъ, чтобъ не сказать вѣрнѣе ремесломъ. Оно говоритъ много въ пользу труда, и ничего можетъ недоказывать въ истинѣ таланта. Но отсутствіе усилія, естественное положеніе всѣхъ лицъ и между тѣмъ всеобщая жизнь и постоянное дѣйствіе комической красоты—вотъ что изумляетъ въ авторѣ, повидимому безпечномъ и все предоставившемъ самой природѣ.

Вы найдете во многихъ сочиненіяхъ сцены или по крайней мѣрѣ отрывки, со всею вѣрностію перенесенныя изъ жизни въ область искусства. Между тѣмъ отъ нихъ ни сколько не выплываетъ книга, точно такъ, какъ она остается безъ малѣйшаго достоинства, удовлетворивши всѣмъ тре-

бваніямъ теоріи. Какъ владѣть предметомъ: ожидать ли полнаго его развитія въ самой жизни, возводить ли его въ идеальное состояніе, ограничиваться ли въ его бытіи лучшими моментами, подчиниться ли слѣпо его собственной натурѣ? это все вопросы, ежедневно рождающіеся, когда дѣло доходитъ до критики; но вопросы, которыхъ ни судья, ни подсудимыи удовлетворительно рѣшить не могутъ. Противъ каждаго приговора можно поставить множество явленій, которыя торжественно будутъ доказывать то односторонность, то полное заблужденіе судей. Въ душѣ человѣка одареннаго талантомъ, неизяснимо, можетъ быть и безотчетно, но вѣрно и могущественно дѣйствуетъ это чувство, этотъ вкусъ, этотъ тактъ, сколько, гдѣ и когда надобно воплощать природу, а равнымъ образомъ сколько, гдѣ и когда недоувѣрять ей и образовать собственное цѣлое, лишь бы оно въ согласіи было съ ея законами.

Если бы успѣхъ искусства постоянно зависѣлъ отъ устройства отъ безполезныхъ усилій производящей способности души, много бы у насъ сочиненій достигло того совершенства, которое поражаетъ меня въ Гоголѣ. И такъ несомнѣнно тутъ сокрыта высочайшая дѣятельность таланта въ соединеніи съ этимъ неностижимымъ, какъ я сказалъ, тактомъ, или съ этою врожденною воспріимчивостію одгѣхъ художническихъ красокъ всякаго предмета. Отъ чего, на примѣръ, столько неожиданныхъ перерывовъ въ частяхъ, повидимому требовавшихъ равной отдѣлки? Есть рѣчи, которыя льются нескончаемо, а другія едва начаты и прерваны. Есть характеры, которые развиты и снова пополняются, а много едва намѣченныхъ. Подобныхъ вопросовъ много. Но явленія не случайны. Они постигнуты сочувствіемъ поэта съ таинствомъ не книжной, а его собственной внутренней эстетики, которая, будь она приведена имъ въ науку, привела бы другаго къ заблужденіямъ и ошибкамъ, столько разъ повторявшимся отъ теорій.

Въ произведеніяхъ искусствъ, называемыхъ изящными, первое достоинство заключается въ независимости созданія. Она составляетъ самый несомнѣнный признакъ, что ху-

дожникъ творить по призванію природы, и слѣдовательно законно вступаетъ на свое поприще. Независимость не отстраняетъ другихъ совершенствъ, заключающихся въ самой идее всякаго изящнаго произведенія, которое не отходить ни въ чемъ отъ общихъ законовъ природы, то есть, истины. Но исполненіе послѣднихъ еще не доказываетъ самобытности таланта, который долженъ всему въ твореніи сообщить собственное содержаніе, объемъ, части, характеръ, форму, краски и выраженіе. Все это поразительно чувствуешь, читая Мертвыя Души. И прежде Гоголя были писатели съ настроеніемъ чисто комическимъ. И прежде него провинція давала богатый матеріалъ талантамъ. И прежде него смѣсь Европейскихъ нравовъ съ невѣжествомъ и безвкусіемъ рѣзко отражалась то въ романахъ, то въ комедіяхъ, то въ повѣстяхъ. И прежде Гоголя простонародный языкъ игралъ веселую роль на устахъ героевъ, подмѣченныхъ авторами въ глуши, на облучкѣ саней, въ людской избѣ, или даже въ нашей вентѣ. Мы всѣ читали это съ удовольствіемъ, начавъ съ Фонвизина и кончивъ М. Н. Загоскинымъ. Но вслушайтесь внимательнѣе въ какой угодно разговоръ, помещенный въ Чичиковѣ Гоголемъ. Напримѣръ, вотъ старая помѣщица Коробочка. Чичиковъ попалъ къ ней изъ-дороги ночью. Они сошлись у самовара.

— Здравствуйте, батюшка. Какѣво почивали?—сказала хозяйка, приподнимаясь съ мѣста. Она была одѣта лучше, нежели вчера: въ темномъ платьѣ, и уже не въ спальномъ чепцѣ; но на шеѣ все также было что то навязано.

„Хорошо, хорошо! говорилъ Чичиковъ, садясь въ кресла. Вы какъ, матушка?

— Плохо, отецъ мой.

„Какъ такъ?

— Безсонница. Все поясница болитъ, и нога, что повыше косточки, такъ вотъ и ломить.

„Пройдетъ, пройдетъ, матушка. На это нечего глядѣть.

— Дай Богъ, чтобы прошло. Я-то смазывала свинымъ

садомъ и скиндаромъ тоже смачивала. А съ чѣмъ прихлѣбнете чайку? Во фляжкѣ фруктовая.

„Не дурно, матушка; хлѣбнемъ и фруктовой“. Читатель, я думаю, уже замѣтилъ, что Чичиковъ, не смотря на ласковый видъ, говорилъ однако же съ большею свободою, нежели съ Маниловымъ, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у насъ на Руси, если не угнались еще кой въ чемъ другомъ за иностранцами, то далеко перегнали ихъ въ умѣннн обращаться. Пересчитать нельзя всѣхъ оттѣнковъ и тонкостей нашего обращенія. Французъ или Нѣмецъ вѣкъ не смекнетъ и не пойметъ всѣхъ его особенностей и различій. Онъ почти тѣмъ же голосомъ и тѣмъ же языкомъ станеть говорить и съ миллионщикомъ, и съ мелкимъ табачнымъ торгашемъ, хотя конечно въ душѣ поподличаетъ въ мѣру передъ первымъ. У насъ нето: у насъ есть такіе мудрецы, которые съ помѣщикомъ, имѣющимъ двѣсти душъ, будутъ говорить совсѣмъ иначе, нежели съ тѣмъ, у котораго ихъ триста, а съ тѣмъ, у котораго ихъ триста, будутъ говорить опять не такъ, какъ съ тѣмъ, у котораго ихъ пятьсотъ, а съ тѣмъ, у котораго ихъ пятьсотъ, опять не такъ, какъ съ тѣмъ у котораго ихъ восемьсотъ; словомъ: хотъ восходи до милліона, все найдутся оттѣнки—и проч., и проч.

„У васъ, матушка, хорошая деревенька. Сколько въ ней душъ?“

— Душъ-то въ ней, отецъ мой, безъ малаго восемьдесятъ, сказала хозяйка, да бѣда: времена плохи; вотъ и прошлый годъ былъ такой не урочной, что Боже храни!

„Однако-жъ мужички на-видъ дюжіе, избенки крѣпкія. А позвольте узнать фамилію вашу? Я такъ разсѣялся... пріѣхалъ въ ночное время...“

— Коробочка, коллежская секретарша.

„Покорнѣйше благодарю. А имя и отечество?“

— Настасья Петровна.

„Настасья Петровна? хорошее имя Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.“

— А ваше имя какъ? спросила помѣщица. Вѣдь вы, я чай, засѣдатель?

„Нѣтъ, матушка, отвѣчалъ Чичиковъ усмѣхнувшись. Чай не засѣдатель, а такъ ѣздилъ по своимъ дѣлшкамъ.“

— А! такъ вы покупщикъ? какъ же жаль, право, что я продала медъ купцамъ, такъ дешево; а вотъ ты бы, мой отецъ, у меня вѣрно его купилъ.

„А вотъ меду и не купилъ бы.“

— Что-жъ другое? Развѣ пеньку? Да вотъ и пеньки у меня теперь маловато: полпуда всего.

„Нѣтъ, матушка, другаго рода товарецъ: скажите, у васъ умирали крестьяне?“

— Охъ, батюшка, осмнадцать человѣкъ! сказала старуха вздохнувши. И умеръ такой все славный народъ, все работники. Послѣ того правда народилось, да что въ нихъ— все такая мелюзга; а засѣдатель подѣхалъ: подать, говорить, улачивать съ души. Народъ мертвый, а плати какъ за живаго. На прошлой недѣлѣ сгорѣлъ у меня кузнецъ, такой искусный кузнецъ и слесарное мастерство зналъ.

„Развѣ у васъ былъ пожаръ, матушка?“

— Богъ преберегъ отъ такой бѣды, пожаръ бы еще хуже; самъ сгорѣлъ, отецъ мой. Внутри у него какъ-то загорѣлось, черезъ-чуръ выпилъ, только синій огонекъ пошелъ отъ него, весь истлѣлъ, истлѣлъ и почернѣлъ какъ уголь, а такой былъ преискусный кузнецъ! и теперь мнѣ выхвать не на чемъ, некому лошадей подковать.

„На все воля Божья, матушка! сказала Чичиковъ вздохнувши—противъ мудрости Божіей ничего нельзя сказать... Уступите-ка ихъ мнѣ, Настасья Петровна!“

— Кого, батюшка?

„Да вотъ этихъ-то всѣхъ, что умерли.“

— Да какъ же уступить ихъ?

„Да такъ просто. Или пожалуй продайте, я вамъ за нихъ дамъ деньги.“

— Да какъ же? я право въ толкъ-то не возьму. Нечто хочешь ты ихъ откапывать изъ земли?

Чичиковъ увидѣлъ, что старуха хватилась далеко, и что

необходимо ей нужно растолковать, въ чемъ дѣло. Въ немногихъ словахъ объяснилъ онъ ей, что переводъ или покупка будетъ значиться только на бумагѣ, и души будутъ прописаны какъ бы живыя.

— Да на чтожь онѣ тебѣ, сказала старуха, выпучивъ на него глаза.

„Это ужъ мое дѣло.“

— Да вѣдь онѣ жъ мертвыя?

„Да кто же говорить, что онѣ живыя! Потому то и въ убытокъ вамъ, что мертвыя: вы за нихъ платите; а теперь я васъ избавлю отъ хлопотъ и платежа. Понимаете! да не только избавлю, да еще сверхъ того дамъ вамъ пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?“

— Право, не знаю, произнесла хозяйка съ разстановкой. Вѣдь я мертвыхъ никогда еще не продавала.

„Еще бы! это бы скорѣй походило на диво, если бы вы ихъ кому-нибудь продали. Или вы думаете, что въ нихъ есть въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь прокъ?“

— Нѣтъ, этого-то я не думаю. Что жъ въ нихъ за прокъ? проку никакого нѣтъ. Меня только то и затрудняетъ, что онѣ уже мертвыя.

Ну, баба; кажется крѣпколая! подумалъ про себя Чичиковъ.

„Послушайте, матушка! да вы разсудите только хорошенько: вѣдь вы разоряетесь, платите за него подать какъ за живаго...“

— Охъ, отецъ мой, и не говори объ этомъ! подхватила помѣщица. Еще третью недѣлю внесла больше полутораэта. Да засѣдателя подмаслила.

„Ну, видите, матушка! А теперь примите въ соображеніе только то, что засѣдателя вамъ подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за нихъ: я, а не вы; я принимаю на себя всѣ новинности. Я совершу даже крѣпость на свои деньги; понимаете ли вы это?“

Старуха задумалась. Она видѣла, это дѣло точно какъ будто выгодно, да только ужъ слишкомъ новое и необычайное; а потому начала сильно побаиваться, чтобы какъ-



нибудь не надуть ее этотъ попушникъ; прѣхалъ же, Богъ знаетъ, откуда, да еще и въ ночное время.

„Такъ чтожь, матушка, по-рукамъ что ли? говорилъ Чичиковъ.

— Право, отецъ мой, никогда не случалось продавать мнѣ покойниковъ. Живыхъ-то я уступила, вотъ и третьяго года протопону двухъ дѣвокъ, по сту рублей каждую, и очень благодарилъ—такія вышли славныя работницы: сами салфетки ткуть.

„Ну, да но о живыхъ дѣло; Богъ съ ними. Я спрашиваю мертвыхъ.

— Право, я боюсь на первыхъ-то порахъ, чтобы какъ-нибудь не понести убытку. Можетъ быть, ты, отецъ мой, меня обманываешь, а онѣ того... онѣ больше какъ-нибудь стоятъ.

„Послушайте, матушка... эхъ какія вы! что жъ онѣ могутъ стоять? Разсмотрите: вѣдь это прахъ. Понимаете-ли? это просто прахъ. Вы возьмите всякую негодную послѣднюю вещь, напримѣръ, даже простую тряпку, и тряпкѣ есть цѣна: ее хоть, по крайней мѣрѣ, купятъ на бумажную фабрику, а вѣдь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?

— Ужъ это точно правда. Ужъ совсѣмъ ни на что не нужно; да вѣдь меня одно только и останавливаетъ, что вѣдь онѣ уже мертвыя.

„Экъ ее, дубинно-головая какая! сказалъ про себя Чичиковъ, уже начиная выходить изъ терѣннѣя. Поди ты, сладь съ нею! въ потъ бросила проклятая старуха. Тутъ онъ, вынувши изъ кармана платокъ, началъ отирать потъ, въ самомъ дѣлѣ выступившій на лбу. Отерши потъ, Чичиковъ рѣшился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какою-нибудь иною стороною. Вы, матушка, сказалъ онъ, или не хотите понимать словъ моихъ, или такъ нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить... Я вамъ даю деньги: пятнадцать рублей ассигнаціями. Понимаете ли? Вѣдь это деньги. Вы ихъ не сыщите на улицѣ. Ну, признайтесь, по чемъ продали медъ?

— По двѣнадцати рублей пудъ.

„Хватили немножко грѣха на душу, матушка: по двѣнадцати не продали.“

— Ей-Богу, продала.

Ну, видите ль? Такъ за то это медъ. Вы собирали его, можетъ быть, около года съ заботами, со стараніемъ, хлопотами; ѣздили, морили пчелъ, кормили ихъ въ погребѣ цѣлую зиму; а мертвыя души дѣло не отъ міра сего. Тутъ вы съ своей стороны никакого не прилагали старанья; на то была воля Божія, чтобъ онѣ оставили міръ сей, нанеся ущербъ вашему хозяйству. Тамъ вы получили за трудъ, за стараніе двѣнадцать рублей, а тутъ вы берете ни за что, даромъ, да и не двѣнадцать, а пятнадцать, да и не серебромъ, а все синими ассигнаціями. Послѣ такихъ сильныхъ убѣжденій Чичиковъ почти уже не сомнѣвался, что старушка наконецъ поддастся.

— Право, отвѣчала помѣщица, мое такое неопытное вдовье дѣло! Лучше жъ я маенько повременю: авось понаѣдутъ купцы, да примѣнюсь къ цѣнамъ.

„Срамъ, срамъ, матушка! просто срамъ! Ну, что вы это говорите, подумайте сами! Кто жъ станетъ покупать ихъ? Ну, какое употребленіе онѣ можетъ изъ нихъ сдѣлать?“

— А можетъ, въ хозяйствѣ-то какъ-нибудь подь случай понадобится... возразила старуха, да и не кончила рѣчи, открыла ротъ и смотрѣла на него почти со страхомъ, желая знать, что онѣ на это скажетъ.

„Мертвые въ хозяйствѣ! Экъ куда хватила? Воробьевъ развѣ пугать по ночамъ въ вашемъ огородѣ что ли?“

— Съ нами крестная сила! какія ты страсти говоришь! проворчала старуха крестясь.

„Куда же еще вы ихъ хотѣли пристроить? Да впрочемъ, вѣдь кости и могилы все вамъ остается; переводъ только на бумагѣ. Ну, такъ что же? Какъ же? Отвѣчайте по крайней мѣрѣ!“

Старуха вновь задумалась.

„О чемъ же вы думаете, Настасья Петровна?“

— Право, я все не приберу, какъ мнѣ быть. Лучше я вамъ пеньку продамъ.

„Да что жъ пенька? Помилуйте, я васъ прошу совѣмъ о другомъ, а вы мнѣ пеньку суете. Пенька пенькою; въ другой разъ прѣйду, заберу и пеньку. Такъ какъ же, Настасья Петровна?

— Ей-Богу, товаръ такой странный, совѣмъ небывалый!

Здѣсь Чичиковъ вышелъ совершенно изъ границъ всякаго терпѣнія, хватилъ въ сердцахъ стуломъ объ полъ и посулилъ ей чорта.

Чорта помѣщица испугалась необыкновенно. — Охъ, не поминайте его, Богъ съ нимъ! вскрикнула она, вся поблѣднѣвъ. Еще третьяго дня всю ночь мнѣ спился окаляный, вздумала было на ночь загадать на картахъ послѣ молитвы, да, видно, въ наказаніе-то Богъ и наслалъ его. Такой гадкій привидѣлся; а рога-то длиннѣе бычачьихъ.

„Я дивлюсь, какъ они вамъ десятками не снятся. Изъ одного христіанскаго человѣколюбія хотѣлъ: вижу бѣдная вдова убивается, терпитъ нужду... да пропади и околѣй со всей вашей деревней...

— Ахъ, какія ты забранки пригинаешь! сказала старуха, глядя на него со страхомъ.

„Да не найдешь словъ съ вами! Право, словно какая-нибудь, не говоря дурнаго слова, дворняжка, что лежитъ на снѣгъ: и сама не ѣстъ сѣна, и другимъ не даетъ. Я хотѣлъ было закупать у васъ хозяйственные продукты разные, потому что я казенные подряды тоже веду... Здѣсь онъ прилгнулъ хоть и вскользь, и безъ всякаго дальнѣйшаго размышленія, но неожиданно-удачно. Казенные подряды подѣйствовали сильно на Настасью Петровну; по крайней мѣрѣ она произнесла уже почти просительнымъ голосомъ: да что жъ ты разсердился такъ горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совѣмъ тебѣ и не прекословила.

Есть изъ чего сердиться! Дѣло яйца выѣденнаго не стоитъ: а я стану изъ-за него сердиться!

— Ну, да изволь, я готова отдать за пятнадцать ассигнацій! Только смотри, отецъ мой, насчетъ подрядовъ-то, если случится муки брать ржаной, или гречневой, или

крудь, или скотины битой, такъ ужъ пожадуйста не обидь меня.

— Нѣтъ, матушка, не обижу, говорилъ онъ, а между тѣмъ отиралъ рукою потъ, который въ три ручья катился по лицу его. Онъ разспросилъ ее, не имѣеть ли она въ городѣ какого-нибудь повѣреннаго или знакомаго, котораго бы могла уполномочить на совершеніе крѣпости и всего, что слѣдуетъ?

Какъ же: Протопопа, отца Кирилы, сынъ служить въ палатѣ, сказала Коробочка. Чичиковъ попросилъ ее написать къ нему довѣренное письмо, и чтобы избавить отъ лишнихъ затрудненій, самъ даже взялся сочинить.

Сцена еще не оканчивается здѣсь. Угощеніе, послѣдовавшее за совершившимся торгомъ, изображено столько же оригинально, какъ и живо. Но мы ограничимся выписанными мѣстами. Они достаточцо могутъ показать, въ чемъ состоитъ независимость таланта Гоголя. Развѣтіе идей въ обоихъ лицахъ, настойчивость съ одной стороны, трусливость и корыстолюбіе съ другой, хитро сплетенныя доказательства обманщика и простодушныя опроверженія глупой старухи, ихъ рѣчи, то сжатые, то многословныя, но всегда вѣрныя духу нашего неистощимо-разнообразнаго языка, вѣрныя рѣзкія особенностямъ народнаго мышленія — все является въ какомъ-то чудномъ, поразительномъ образѣ, пропикнутомъ и новостію и истиною, безъ малѣйшихъ излишествъ, безъ преувеличеній, въ естественномъ движеніи, въ полнотѣ и въ завидномъ спокойствіи, которое одно сообщаетъ сценѣ высокое значеніе въ художественномъ отношеніи. Я изъяснилъ уже прежде, почему характеры, дѣйствія и положенія лицъ не въ усиленномъ состояніи, въ состояніи жизни безыскусственной, предпочитаю всѣмъ вымысламъ разительнымъ, часто призываемымъ въ художества за недостаткомъ естественнаго могущества красоты. По этой самой причинѣ я здѣсь привелъ примѣръ, который свидѣтельствуешь, сколько внутренней силы, независящей отъ условныхъ достоинствъ труда, вложила природа въ душу художника. Его собственный, пронцательный, вѣр-

ный взгляд возводитъ въ эстетическую сферу такіа обстоятельства, изъ которыхъ обыкновенный писатель не извлекъ бы ничего, кромѣ натянутыхъ остротъ и скучныхъ шуточекъ. У Гоголя, напротивъ, никто не смѣшенъ, потому что въ жизни и дѣйствіяхъ каждаго есть истина, убѣждающая читателя. Перейдешь по всѣмъ отдѣленіямъ вещей и лицъ, не только начиная отъ Селифана, но и отъ самого Чубараго, до легковоздушной Институтки и ея отца, и ни въ чемъ не откроешь тѣни подложнаго или сомнительнаго: все возникаетъ изъ закона внутренней жизни, слѣдовательно все появляется не для потѣхи, не отъ умыслу на забаву, а по назначенію, по призванію природы: такъ все серьезно, все важно, все внушаетъ естественное участіе.

Вы, конечно, не удивитесь, что книгу, которая можетъ служить источникомъ и образцомъ комической красоты, я нахожу серьезною. Въ противоположность серьезному я представляю все, что говорится или дѣлается съ видимымъ сознаніемъ не истины, шутки, и т. п. Въ Чичиковѣ, какъ можно было замѣтить по многимъ мѣстамъ первой моей выписки, не только дѣйствующія лица, но и самъ авторъ такъ проникнутъ сочувствіемъ къ малѣйшимъ обстоятельствамъ описываемыхъ предпріятій и жизни, что нерѣдко и читатель перестаетъ быть постороннимъ лицомъ, нечувствительно увлекаясь въ окружающую его сферу. Нѣтъ сомнѣнія, что все это слѣдствіе искусства: но въ томъ и торжество таланта, что онъ изъ него умѣлъ создать дѣйствительность. По моему вкусу, тѣ только черты выбиваются изъ этой волшебной комедіи, которая рѣзко наводятъ на умысленную эффектность, какъ напримѣръ, нѣсколько словъ въ устахъ Манилова и нѣсколько поступковъ въ жизни Плюшкина. Первое лицо, идеаль приторной вѣжливости, можетъ быть, и подмѣчено авторомъ въ натурѣ, но по своей рѣдкости отзывается *сочиненіемъ*. Плюшкинъ упадетъ нѣсколько въ толпу подобныхъ себѣ скрягъ, уже введенныхъ столько разъ на сцену. Вѣроятно, самые недостатки его художественности, т. е. все преувеличенное въ его поступкахъ, и заслужать ему похвалы отъ людей, ко-

торые неспособны ничѣмъ быть тронуты, кромѣ преувеличенія.

Между тѣмъ въ этомъ же изображеніи Плюшкина находится рассказъ, погружающій читателя въ тѣ невольныя глубокія думы, которыя возникаютъ въ душѣ каждый разъ, когда ее поражаютъ печальныя, но несомнѣнныя истины. Это описаніе постепенности паденія человѣка.

„А вѣдь было время, когда Плюшкинъ только былъ бережливымъ хозяиномъ! Былъ женатъ и семьянинъ, и со съѣдъ заѣзжалъ къ нему пообѣдать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размѣреннымъ ходомъ: двигались мельницы, вальшны, работали суконныя фабрики, столярныя станки, прядильни; вездѣ во все входилъ зоркій взглядъ хозяина, и, какъ трудолюбивый наукъ, бѣгалъ хлопотливо, но расторопно, по всѣмъ концамъ своей хозяйственной паутины. Слишкомъ сильныя чувства не отражались въ чертахъ лица его, но въ глазахъ былъ виденъ умъ, опытностію и познаніемъ свѣта была проникнута рѣчь его, и гостю было пріятно его слушать; привѣтливая и говорливая хозяйка славилась хлѣбосольствомъ; навстрѣчу выходили двѣ миловидныя дочки, обѣ бѣлокурыя и свѣжія, какъ розы; выбѣгалъ сынъ, разбитной мальчишка, и цѣловался со всѣми, мало обращая вниманія на то, радъ ли, или не радъ былъ этому гостю. Въ домѣ были открыты всѣ окна; антресоли были заняты квартирою учителя Француза, который славно брился и былъ большой стрѣлокъ: приносилъ всегда къ обѣду тетерекъ или утокъ, а иногда и одни воробьиныя яйца, изъ которыхъ заказывалъ себѣ яичницу, потому что больше въ цѣломъ домѣ никто ее не ѣлъ. На антресоляхъ жила также его компаніотка, наставница двухъ дѣвицъ. Самъ хозяинъ являлся къ столу въ сюртукѣ, хотя нѣсколько поношенномъ, но опрятномъ; локти были въ порядкѣ, нигдѣ никакой заплата. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а съ ними мелкихъ заботъ, перешли къ нему. Плюшкинъ сталъ безпокойнѣе, и какъ всѣ вдовцы, подозрительнѣе и скупѣе. На старшую дочь, Александру Степановну, онъ не могъ

во всемъ положиться, да и былъ правъ потому, что Александра Степановна скоро убѣжала съ штабъ-ротмистромъ, Богъ вѣсть какого кавалерійскаго полка, и обвинчалась съ нимъ гдѣ-то наскоро, въ деревенской церкви, зная, что отецъ не любитъ офицеровъ, по странному предубѣжденію; будто бы всѣ военные картежники и мотишки. Отецъ послалъ ей на дорогу проклятіе, а преслѣдовать не заботился. Въ домѣ стало еще нутѣе. Во владѣльцѣ стала замѣтнѣе обнаруживаться скупость: сверкнувшая въ жесткихъ волосахъ его сѣдина, вѣрная подруга ея, помогла ей еще болѣе развиться; учитель Французъ былъ отпушенъ; потому что сыну прѣшла пора на службу; мадамъ была прогнана, потому что оказалась не безгрѣшною въ похищеніи Александры Степановны; сынъ, будучи отправленъ въ губернской городъ съ тѣмъ, чтобы узнать въ Палатѣ, по мнѣнію отца, службу существенную, опредѣлился вмѣсто того въ полкъ, и написалъ къ отцу уже по своемъ опредѣленіи, прося денегъ на обмундировку; весьма естественно, что получилъ на это то, что называется въ простонародіи шишъ. Наконецъ послѣдняя дочь, остававшаяся съ нимъ въ домѣ, умерла, и старикъ очутился одинъ сторожемъ, хранителемъ и владѣтелемъ своихъ богатствъ. Одинокая жизнь дала сытую пищу скупости, которая, какъ извѣстно, имѣетъ волчій голодъ, и чѣмъ болѣе пожираетъ, тѣмъ становится ненасытнѣе; человѣческія чувства, которыя и безъ того не были въ немъ глубоки, мелѣли ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось въ этой изношенной развалинѣ. Случись же подъ такую минуту, какъ будто нарочно въ подтвержденіе его мнѣнія о военныхъ, что сынъ его проигрался въ карты; онъ послалъ ему отъ души свое отцовское проклятіе, и никогда уже не интересовался знать, существуетъ ли онъ на свѣтѣ, или нѣтъ. Съ каждымъ годомъ притворялись окна въ его домѣ; наконецъ остались только два, изъ которыхъ одно, какъ уже видѣлъ читатель, было заклеено бумагою; съ каждымъ годомъ уходили изъ вида, болѣе и болѣе, главныя части хозяйства, и мелкій взглядъ его обращался къ бумажкамъ

и перышкамъ, которыя онъ собиралъ въ своей комнатѣ; неуступчивѣе становился онъ къ покупателямъ, которые прѣвѣжали забирать у него хозяйственныя произведенія; покупщики торговались, торговались, и наконецъ бросили его вовсе, сказавши, что это бѣсъ, а не человѣкъ; сѣно и хлѣбъ гнили; клады и стоги обращались въ чистый навозъ, хотъ разводил на нихъ канусту; мука въ подвалахъ превратилась въ камень, и нужно было ее рубить; къ сукнамъ, холстамъ и домашнимъ матеріямъ страшно было притронуться: они обращались въ пыль. Онъ уже позабылъ самъ, сколько у него было чего, и помнилъ только, въ какомъ мѣстѣ стоялъ у него въ шкапу графинчикъ съ остаткомъ какой-нибудь настойки, на которомъ онъ самъ сдѣлалъ намѣтку, чтобы никто воровскимъ образомъ ее не выпилъ, да гдѣ лежало перышко или сургучикъ. А между тѣмъ въ хозяйствѣ доходъ собирался попрежнему: столько же оброку долженъ былъ принести мужикъ; такимъ же прикосомъ орѣховъ обложена была всякая баба; столько же поставовъ холста должна была наткать ткачиха, все это сваливалось въ кладовыя, и все становилось гнить и прорѣха, и самъ онъ обратился наконецъ въ какую-то прорѣху на человѣчествѣ. Александра Степановна какъ-то прѣвѣжала раза два съ маленькимъ сыномъ, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить: видно, походная жизнь съ штабсъ-ротмистромъ не была такъ привлекательна, какую казалась до свадьбы. Плюшкинъ однако же ее простилъ, и даже далъ малюнькому внуку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столѣ, но денегъ ничего не далъ. Въ другой разъ Александра Степановна прѣвѣжала съ двумя малютками и привезла ему куличъ къ чаю и новый халатъ, потому что у батюшки былъ такой халатъ, на который глядѣть не только было совѣстно, но даже стыдно. Плюшкинъ приласкалъ обоихъ внуковъ и, посадивши ихъ къ себѣ—одного на правое колено, а другого на лѣвое—покачалъ ихъ совершенно такимъ образомъ, какъ будто они вѣхали на лошадахъ, куличъ и халатъ взялъ, но дочери рѣшительно ничего не далъ; съ тѣмъ и уѣхала Александра Степановна“.



Дополнивъ это развитіе характера сценами, авторъ, какъ бы въ негодованіи на своего актера, восклицаетъ:

„И до такой ничтожности, мелочности, гадости могъ снизить человекъ! могъ такъ измѣниться! И похоже это на правду? Все похоже на правду: все можетъ статься съ человекомъ. Нынѣшній же пламенный юноша отскочилъ бы съ ужасомъ, если бы показали ему его же портретъ въ старости. Забирайте же съ собою въ путь, выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое ожесточающее мужество, забирайте съ собою всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогѣ; не подымете потомъ! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдаетъ назадъ и обратно! Могила милосердіе ея; на могилѣ напишется: здѣсь погребенъ человекъ! но ничего не прочитаешь въ хладныхъ, безчувственныхъ чертахъ безчеловѣчной старости.“

Вы чувствуете, что тотъ же самый Плюшкинъ, надъ которымъ за минуту нельзя было не смѣяться, довелъ васъ до созерцанія красоты высокой. Такъ все во власти великаго таланта.

Ежели характеры Манилова, который отъ всякаго слова улыбается и въ сладостномъ умиленіи почти зажмуриваетъ глаза, и Плюшкина, одѣтаго такъ, что вы не узнаете издали, кто передъ вами: мужикъ или баба, ежели эти характеры мнѣ кажутся сочиненными, я это говорю не потому, чтобы авторъ въ ихъ бытъ не довольно внесъ жизни и ея частныхъ — ихъ столько, что для обыкновеннаго писателя довольно было-бы на порядочную книгу — но мнѣ кажется, что въ поэмѣ, которая такъ ярко отражаетъ все народное, предпочитать надобно и самыя особенности или даже странности болѣе свойственныя націи, нежели просто общечеловѣческія. Народная поэма есть исторія въ лицахъ, между которыми, естественно, избираются выставляющіяся чаще и ярче. Вотъ что противъ изображенія Плюшкина сказалъ самъ Гоголь.

„И такъ, вотъ какого рода помѣщикъ стоялъ передъ Чичиковымъ. Должно сказать, что подобное явленіе рѣдка

попадаетъ на Руси, гдѣ все любитъ скорѣе развернуться, нежели сѣежиться, и тѣмъ поразительнѣе бываетъ оно, что тутъ же въ сосѣдствѣ подвернется помѣщикъ, кутащій во всю ширину русской удали и барства, прожигающій, какъ говорится, насквозь жизнь. Небывалый проѣзжій остановится съ изумленіемъ при видѣ жилища, недоумѣвая, какой владѣтельный принцъ очутился внезапно среди маленькихъ темныхъ владѣльцевъ: дворцами глядятъ его бѣлые каменные дома съ безчисленнымъ множествомъ трубъ, бельведеровъ, флюгеровъ, окруженные стадомъ флигелей и всякими помѣщеніями для пріѣзжихъ гостей. Чего нѣтъ у него? театры, балы; всю ночь сіяетъ убранный огнями и плошками, оглашенный громомъ музыки, садъ. Полгубернія разодрто и весело гуляетъ подѣ деревьями, и никому не является дакое и грозящее въ семь насильственномъ освѣщеніи, когда театрално выскакиваетъ изъ древесной гущи озаренная поддѣльнымъ свѣтомъ вѣтвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнѣе и суровѣе, и въ двадцать разъ грознѣе, является чрезъ то ночное небо, и, далеко трепеща листьями въ вышинѣ, уходя глубже въ непробудимый мракъ, негодуютъ суровыя вершины деревъ на сей мишурный блескъ, освѣтившій снизу ихъ корни.“

Мы живемъ въ эпоху, въ которую отъ каждого художника критика требуетъ ближайшаго, ясно высказавшагося соотношенія между жизнію и произведеніемъ искусства. Если поэтъ и вздумаетъ въ своемъ созданіи возобновить дѣйствіе другой націи или давно прошедшаго времени, тѣмъ не менѣе отъ него мы требуемъ полного изученія избраннаго имъ предмета и самаго неподдѣльнаго сочувствія съ жизнію прошлою. Теперь странно вносить въ художества неопредѣленныя идеи, вѣрныя по изученію сердца человѣческаго вообще, но не схваченныя на извѣстномъ мѣстѣ и въ извѣстное время. Такого рода художественныя задачи забыты въ старыхъ книгахъ и отяжелѣвшихъ школахъ. Поэма Гоголя во всѣхъ прочихъ частяхъ можетъ служить образцомъ соотношенія между жизнію и искусствомъ. Я могъ бы указать на каждый изъ выведенныхъ имъ характеровъ,

какъ они окружаютъ читателя явленіями русской жизни. Но меня особенно поражаетъ доконченность въ объемѣ всякаго изъ нихъ. Указать на извѣстныя черты какого-нибудь лица можно и не бывши великимъ поэтомъ. У кого есть нѣсколько наблюдательности, памяти и соображенія, то и достигнетъ до описанія удачнаго. Но исчерпать всю глубину недѣлимаго; постигнуть его во всѣхъ обстоятельствахъ; разобрать самыя противоположности его дѣйствій и привести ихъ къ одному началу — вотъ труднѣйшая задача, которую рѣшилъ одинъ гениальный писатель. Укажу вамъ на характеристику Ноздрева. Не говоря уже о томъ, какъ въ каждомъ его движеніи разыгрывается сцена типической жизни, наблюдайте его во всѣхъ явленіяхъ, гдѣ только авторъ встрѣчается съ нимъ — вы изумлены будете неистощимостію его оттѣнковъ, всегда новыхъ, всегда поэтическихъ, всегда истинныхъ, всегда однородныхъ при самыхъ противорѣчащихъ по наружности дѣйствіяхъ. Подлѣ нашего Ноздрева Итальянецъ. Его покажется очоркомъ, не болѣе: такъ широко провелъ Гоголь по картинѣ своею мастерскою кистью.

При всѣхъ достоинствахъ, которыя зависѣли единственно отъ таланта художника, поэма, конечно, поражитъ каждого недостаткомъ важнымъ. Въ ней нѣтъ того, чего мы еще не встрѣчаемъ въ нашей жизни — серьезнаго общественнаго интереса. Я не умѣлъ придумать другого названія тому качеству нашихъ разговоровъ, мыслей и поступковъ, которое, не отнимая у нихъ особенностей національности, придаетъ имъ цѣнность общую и вводитъ ихъ съ сопряженіемъ съ интересами другихъ народовъ. Самыя поразительныя мѣста, отъ которыхъ приходишь въ восхищеніе, не выносятъ души на тотъ горизонтъ, откуда она обзрѣваетъ подобныя явленія у иностранныхъ писателей. Во всемъ чувствуешь мелочность и ограниченность. Въ первой моей выпискѣ, гдѣ на сценѣ цѣлое общество, разговоръ живъ разнообразенъ; въ немъ исчерпано все комическое, прямо относящееся къ тому случаю, о которомъ идетъ рѣчь — но онъ прекрасенъ только относительно, когда

читатель какъ-нибудь сближенъ съ понятіями общества. Для иностранца, который не въ состояніи трепетать отъ художническаго мастерства автора, вся прелесть исчезаетъ за недостаткомъ жизни болѣе цѣнной и болѣе общепонятной. Это все нисколько не говоритъ противъ Гоголя, напротивъ, еще оправдываетъ его. Авторъ безъ такту, привыкнувшій обманываться въ своихъ ощущеніяхъ, легко поддается на ходули, когда не на чемъ болѣе показаться высокимъ, обыкновенно поддѣлывается подъ какой-нибудь извѣстный ему тонъ—и такимъ образомъ все рисуется ложно. Гоголь возвратилъ обществу то, что оно могло ему дать само. Исключенія встрѣчаются или въ другомъ разрядѣ людей, или, проглядывая даже здѣсь, не входятъ еще въ жизнь, какъ черты рѣзкія. Какъ прежняя, такъ и нынѣшняя наша общезнательность хранитъ въ своей исторіи любопытныя доказательства въ оправданіе того, что и у всѣхъ, самыхъ великихъ писателей русскихъ, степенъ развитія интересовъ всегда была ниже, нежели у писателей другихъ народовъ.

И не слѣшываю этого достоинства съ развитіемъ проществія въ поэмѣ или романѣ. Тутъ снова требованіе обращается къ автору. Если въ вышедшемъ томѣ поэмы Гоголя мы неудовлетворены съ этой стороны, обвинять его никто не въ правѣ. Онъ самъ объявилъ, что теперь напечаталъ одно вступленіе, слѣдственно, поэма, въ собственномъ смыслѣ, еще впереди. О ней заключеніе надобно поберечь до выхода обѣщанныхъ двухъ томовъ.

Въ языкѣ поэмы есть недосмотры. Гоголь воображеніемъ своимъ такъ сливается съ образомъ вещей и лицъ, о которыхъ рассказываетъ, или которыя заставляетъ дѣйствовать, что удобство или красоту размѣщенія словъ совсѣмъ опускаетъ изъ виду, лишь бы не ослабить силы представленія. Грамматическая критика, навѣрное, возьметъ за то свой полущечный оброкъ съ автора. И думаю, что дурной языкъ нигдѣ такъ не господствуетъ, какъ въ сочиненіяхъ безталантныхъ писателей, которые, ничего сильно не чувствуя, не обвиняя вполнѣ идеи, не умѣя войти въ отгѣнки

частностей, обо всемъ говорятъ безъ отчета, безъ мѣры, вяло или съ преувеличеніемъ, словомъ, каждою фразою портать языкъ, если только находятъ вѣрющихъ себѣ читателей. У Гоголя, взаимнѣ ничтожныхъ недосмотровъ, пропущенныхъ, безъ сомнѣнія, отъ поспѣшности изданія книги, есть положительныя совершенства языка, красоты, вѣчно сіяющія у гениальныхъ писателей; сжатость выраженій, мѣткость и точность словъ и неразъединяемость ихъ отъ понятій. Вы лучше всего можете объ этомъ судить по моимъ выпискамъ. Въ дополненіе привожу еще одно описаніе—образецъ краснорѣчиваго языка и картиннаго представленія предметовъ.

„Старый обширный, тянувшійся позади дома садъ, выходившій за село и потомъ пропадавшій въ полѣ, заросшій и заглохлый, казалось, одинъ освѣждалъ эту обширную деревню, и одинъ былъ вполнѣ живописенъ въ своемъ картинномъ опустѣніи: зелеными облаками и неправильными трепетнолистными куполами лежали на небесномъ горизонтѣ соединенныя вершины разросшихся на свободѣ деревъ. Бѣлый колоссальный стволъ березы, лишенный верхушки, отломленной бурей или грозой, подымался изъ этой зеленой гущи и круглился на воздухѣ, какъ правильная мраморная сверкающая колонна; косою, остроконечный изломъ его, которымъ онъ оканчивался кверху вмѣсто капители, темнѣлъ на снѣжной бѣлизнѣ его, какъ шапка, или черная птица. Хмѣль, глушившій внизу кусты бузины, рябины и лѣснаго орѣшника и пробѣжавшій потомъ по верхушкѣ всего частокола, взбѣгалъ наконецъ вверхъ и обвивалъ до половины сломленную березу. Достигнувъ середины ея, онъ оттуда свѣшивался внизъ и начиналъ уже цѣплять вершины другихъ деревъ, или же висѣлъ на воздухѣ, завязавши кольцами свои тонкіе цѣпкіе крючья, логко колеблемые воздухомъ. Мѣстами расходились зеленыя чащи, озаренныя солнцемъ, и показывали неосвѣщенное между нихъ углубленіе, сіявшее какъ темная пасть; оно было все окинуто тѣнью—и чуть-чуть мелькали въ черной глубинѣ его: бѣжавшая узкая дорожка, обрушенныя перья, пошат-

нущаяся бесѣдка, дулистый дряхлый стволъ лвы, сѣдой чайничекъ, густой щетиною вытыкавшій изъ-за лвы изсохшіе отъ страшной глушины, перепутавшіеся и скрепившіеся листья и сучья, и наконецъ молодая вѣтвь кле-на, проткнувшая сбоку свои зеленыя ланы листья, подъ одинъ изъ которыхъ, забравшись Богъ вѣсть какимъ образомъ, солнце превращало его вдругъ въ прозрачный и огненный, чудно сіявшій въ этой густой темнотѣ. Въ сторонѣ, у самаго края сада, нѣсколько высокорослыхъ, не вровень другимъ, осинъ подымали огромныя воропыи гнѣзда на трепетныя свои вершины. У иныхъ изъ нихъ отдернутыя и не вполне отдѣленные вѣтви висѣли внизъ вмѣстѣ съ изсохшими листьями. Словомъ, все было хорошо, какъ не выдумать ни природѣ, ни искусству, но какъ бываетъ только тогда, когда они соединяются амьсть; когда по непроможенному, часто безъ толку, труду человека пройдетъ окончательнымъ рѣзцомъ своимъ природа, облежитъ тяжелыя массы, уничтожитъ грубоощутительную правильность и нищенскія прорѣхи, сквозь которыя проглядываетъ нескрытый, нагой планъ, и даетъ чудную теплоту всему, что содѣлалось въ хладѣ размѣренной чистоты и опрятности.» Последнюю мысль отмѣтилъ я съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы вы, остановившись на ней, вошли въ духъ писателя, который мимоходомъ, но съ изумительною отчетливостію, изложилъ въ этихъ краткихъ словахъ всю свою теорію изящнаго—и тѣмъ самъ приготовилъ отвѣтъ критикамъ на всѣ замѣчанія о его вкусѣ, родѣ сочиненія, слогѣ, украшеніяхъ и даже, какъ выражаются они, неотдѣлкѣ языка. Его книга точно этотъ садъ. Кому не понравится зрѣлище, здѣсь имъ представленное, это волшебное вмѣстилище свѣжести, зелени, благоуханія, прохлады, дикости, красоты и безмолвія, тотъ, конечно, не пойметъ ни меня, ни автора. Но что сказать тѣмъ, которые будутъ недовольны языкомъ его? Не лучше ли отослать ихъ къ гошымъ писателямъ, которые вмѣсто краснорѣчія сердца и воображенія поднесутъ имъ строчки выпрямленныя по линейкѣ грамматки? Мы точно не привыкли къ языку

дѣйствительнаго чувства, къ языку поэтовъ-живописцевъ, къ языку страстныхъ поклонниковъ и знатоковъ природы. Кромѣ Жуковскаго, я не помню, кто у насъ рисовалъ словомъ, увлекаемый прелестію природы и постигая искусство словесной живописи. Между тѣмъ, языкъ, это мощное орудіе ума, чувства и воображенія, только и создается вдохновеніемъ. Послѣ всего этого, предоставляю судить вамъ, хорошъ ли языкъ у Гоголя.

— Я писалъ подѣ влияніемъ первыхъ впечатлѣній. Мнѣ не удалось сообщить замѣчаніямъ моимъ формы правильной и легкой. Но я убѣжденъ, что истина во всякомъ видѣ полезна.

С. Ш. Плетнева.

Въ этомъ же номерѣ „Современника“, въ отдѣлѣ „Разборъ новыхъ книгъ“, редація этого журнала говоритъ о *Похожденіяхъ Чичикова*.

Въ нынѣшнемъ № Современника мы помѣстили довольно подробный разборъ этой книги (стр. 19, *перв. нумерац.*).<sup>\*)</sup> Во многомъ соглашаясь съ замѣчаніями нашего корреспондента, мы не находимъ надобности снова разбирать здѣсь это сочиненіе.

\*)—Похожденіе Чичикова, или *Мертвая Душа*. Поэма Н. Гоголя.

Вы видите меня въ такомъ восторгѣ, въ какомъ никогда еще не видали. Я пыхчу, трепещу, прыгаю отъ восхищенія: объявляю вамъ о такомъ литературномъ чудѣ, какого еще не бывало ни въ одной словесности. Поэма!.. да еще какая поэма! Одиссея, Нейстовый Орландъ, Чайльд-Гарольдъ, Фаустъ, Онѣгинъ, съ позволенія сказать—*дрань* въ сравненіи съ этой поэмой. Поэтъ!.. да еще какой поэтъ!.. поэтъ, поредь которымъ Гомеръ, Аріосто, Пушкинъ, лордъ Байронъ и Гете, съ позволенія сказать... то, чѣмъ Поздревъ называетъ Чичикова. Это, можетъ быть, превос-

\*) Библиотека для Чтенія 1842 г., т. 53, отд. VI. („Литературная гѣттоисль“).

ходить всѣ силы вашего соображенія, но это дѣйствительно такъ, какъ я вамъ докладываю. Никогда еще гений чело-вѣчскій не производилъ подобной поэмы. Никогда смерт-ный родъ Адама не удивлялся такому великому поэту. Книга названа поэмой *не из шутку*. Поэтъ провозглашенъ первымъ современнымъ поэтомъ не въ насмѣшку. Все это увѣряю васъ, серьезно, и очень серьезно. Можно съ ума сойти отъ радости, если хоть немножко любишь искусство, русскій языкъ и честь своей литературы! Какъ мои благо-склонные читатели, какъ люди отъ природы любопытные, какъ зрители моего бѣшеннаго восторга, неприготовленные къ чудесамъ, которыя не вмѣщаются въ челоуѣческой го-ловѣ, вы, естественно, спрашиваете меня, какимъ размѣ-ромъ писана эта поэма. На что я отвѣчаю, что въ ней нѣтъ никакого размѣра: это поэма совершенно новаго рода, поэма какой вы еще не видали; коротко сказать, поэма не въ стихахъ. Такъ въ прозѣ? говорите вы.—На что я ни-чего не отвѣчаю, не могу знать, будете судить сами. Въ вещахъ, которыя выше всякаго понятія, всякой похвалы, всякаго порицанія, въ вещахъ необъятныхъ какъ грезы тщеславія въ бреду, опредѣленія и разборы невозможны. Позвольте мнѣ, смиренно, прочесть вамъ нѣсколько стра-ницъ этой великой, удивительной, неподражаемой, непо-стижимой поэмы.

„Въ ворота гостиницы губернскаго города N. N. вѣхала довольно *красивая рессорная небольшая* бричка“.—Съ первыхъ словъ, слогъ нехорошъ, замѣчаете вы мнѣ.—Какая нужда! отвѣчаю я: это поэма. „Вѣздъ ея не про-извелъ въ городѣ *совершенно никакого* шума и *не былъ со-провожденъ ничѣмъ особеннымъ*“. Не сопровождался, под-хватываете вы. *Совершенно* никакого—соллицизмъ.— Все равно, говорю я. Не мѣшайте мнѣ читать.

„Только два русскіе мужика, стоявшіе у дверей кабака, противъ гостиницы, сдѣлали кое-какія замѣчанія, отно-сительно впрочемъ болѣе къ экипажу, чѣмъ къ *сидѣшему* въ немъ. (Я вижу, что вы морщитесь).—Вишь ты, ска-залъ одинъ другому, вонъ какое колесо!.. что ты думаешь



„дойдетъ то колесо, если-бъ случилось, съ Москву! — Дойдетъ отвѣчалъ другой... А съ Казань-то, я думаю, не дойдетъ? — Въ Казань не дойдетъ, отвѣчалъ другой. — Этимъ разговоръ и кончился. Да еще, когда бричка подъѣхала къ гостинницѣ, встрѣтился молодой человекъ въ бѣлыхъ канифасовыхъ панталонахъ, весьма узкихъ и короткихъ... оборотился назадъ, посмотрѣлъ экипажъ, придерживалъ рукою картузь, чуть не летѣвшій отъ вѣтра, и пошелъ своей дорогой“. — Какая поэзія! восклицаю я въ восторгѣ. — Но слогъ жестоко нехорошъ, говорите вы вполголоса: а языкъ и того хуже. Это, кажется, писано въ прозѣ?.. Но проза безъ языка, безъ слогу, безъ искусства, вовсе не проза. Къ кому слогъ, языкъ или искусство въ поэмѣ! съ нетерпѣніемъ возражаю я. Отъ того-то она и называется поэмой, что въ ней нѣтъ ни слѣда прозы!

„Пока пріѣзжіи осматривалъ свою комнату... или ходилъ *взглянуть на рѣку, протекавшую* посрединѣ города... внесены были его пожитки. Кучеръ Селифанъ отправился *возиться около лошадей, а лакей Петрушка* сталъ устраниваться въ маленькой передней, куда уже успѣлъ притащить свою шинель и вмѣстѣ съ ней *какой-то свой собственный запахъ, который былъ сообщенъ и принесенному* вслѣдъ за тѣмъ мѣшку *съ разнымъ лакейскимъ туалетомъ*. Въ этой конуркѣ онъ *приладилъ къ стѣнѣ узенькую трехногую кровать; накрылъ ее* небольшимъ подобіемъ тюфяка, *убитымъ и плоскимъ какъ блинъ, который* удалось ему *вытребовать у хозяина гостинницы*“. — Который блинъ? спрашиваете вы меня, почтеннѣйшій читатель. — Нѣтъ, который тюфякъ, отвѣчаю я. — Скажите, пожалуйста, спрашиваете вы меня еще: по какой это логикѣ употребляются здѣсь времена глаголовъ и причастій? Отъ перваго слова вашей поэмы, я не могу сообразить, что чему предшествуетъ и что за чѣмъ слѣдуетъ. Петруша *приладилъ къ стѣнѣ* кровать, *накрылъ ее* тюфякомъ; какой-то запахъ... я, признаться, запаховъ не люблю! ...*былъ сообщенъ принесенному* вслѣдъ затѣмъ мѣшку, пріѣзжіи *взглянулъ на рѣку, протекавшую* черезъ городъ: значитъ, вашъ Петруша прежде

накрылъ кровати тюфякомъ; а потомъ уже ее приладилъ въ стѣнѣ; вашъ запахъ былъ сообщенъ мѣшку уже послѣ принесенія этого мѣшка въ переднюю; вашъ приважій взглянулъ на рѣку *протекающую*, но уже не *протекающую*, черезъ этотъ городъ: куда же она дѣвалась?—Это не ясно, не правильно, не изящно.

Ахъ, какой вы классикъ? восклицаю я въ отвѣтъ на это. Кто же теперь обращаетъ вниманіе на времена, на ясность, на правильность?—Мы уже все это отмѣнили. Поэтъ—существо всемірное; онъ выше временъ, пространствъ и грамматики: онъ говоритъ въ стихахъ, въ прозѣ, или ни въ стихахъ, ни въ прозѣ: удивляйтесь, поколѣнія!—а понимай кто можетъ и какъ можетъ!.. Позвольте мнѣ сказать, почтенивѣйшій читатель, что вы, съ своими отсталыми понятіями объ ясности рѣчи, объ изяществѣ выраженій, о правильномъ изученіи средствъ языка, объ искусномъ ихъ употребленіи, вовсе не въ состояніи чувствовать красоту „нашей поэмы“: для этого нужно забыть все, что нужно знать; тогда только можно постигнуть всю прелесть этихъ вдохновеній. Вѣдь это все вдохновенія!.. Спросите у самого поэта... онъ такъ ихъ называетъ. А вы думали что такое? Ахъ, вы, классики, классики!.. съ вами никакая поэма, ни какая поэзія, невозможны. Пожалуйста, оставьте свои замѣчанія: слушайте и не прерывайте меня. Если вамъ угодно, такъ слушая, подчеркивайте себѣ слова тихомолкомъ въ моемъ чтеніи, а когда я кончу, можете разбирать ихъ грамматически съ тѣми, которые еще вѣрятъ въ грамматику. Между тѣмъ я продолжаю читать вамъ „нашу“ прекрасную „поэму“ о можетъ быть замаслившемся какъ блинъ тюфякѣ и о запахѣ принесенномъ Петрушею, который... Петруша или запахъ, но „нашему“ слогу это все равно... былъ сообщенъ принесенному вслѣдъ за тѣмъ мѣшку съ разнымъ лакейскимъ туалетомъ. Прошу не беспокоить меня вашей правильностью, изяществомъ и, говоря слогомъ „нашей поэмы“, *чортъ знаетъ чѣмъ* еще такимъ. Вы, извольте видѣть, не любите даже и запаховъ! А это страсть нашей великой поэмы! Безъ запаховъ, безъ благоуханій,

нѣтъ и не мѣять быть ни поэзіи ни поэмы. Надобно только умѣть выбирать ихъ въ природѣ. Этотъ, кажется, выборъ съ необыкновеннымъ вкусомъ. И будьте увѣрены, что мы не въ послѣдній разъ съ нимъ встрѣчаемся: онъ будетъ непрерывно раздаваться въ „нашей поэмѣ“! На немъ то и основанъ тотъ „восторженный лирический смѣхъ“ (Вы, кажется, снова поморщились?.. вы дважды подчеркнули эти слова?), къ которому она стремится какъ поэма. — „Покажѣсть слуги „управлялись и *возились*, продолжаю я, господинъ отпра- „вился въ общую залу. Какія бываютъ эти общія залы, „всякій знаетъ: тѣ же стѣны, потемнѣвшія вверху отъ „трубочнаго дыма, залосненные снизу спинами разныхъ „проѣзжающихъ, а еще болѣе туземными купеческими; „тотъ же закопченный потолокъ; та же закопченная лю- „стра; тѣ же картины во всю стѣну, гдѣ изображена была „нимфа съ такими огромными грудями, какихъ вы вѣрно „не видывали. Подобная игра природы впрочемъ случается „на разныхъ историческихъ картинахъ, не извѣстно „откуда, когда и кѣмъ привезенныхъ въ Россію, иной разъ „даже тамошними вельможами, любителями *искусствъ*, на- „купившими ихъ въ Италіи, по совѣту *везшихъ ихъ* курье- „ровъ. Господинъ размоталъ съ шен шерстяную косынку, „какую холостымъ, навѣрное не могу сказать, кто дѣлаетъ, „*Богъ ихъ знаетъ*, Покажѣсть ему подавали кушанье, онъ „заставилъ слугу или полового, рассказывать *всякій вздоръ* „о томъ, кто содержалъ прежде трактиръ и кто теперь „(содержитъ). Въ пріемахъ своихъ господинъ имѣлъ что-то „солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Не из- „вѣстно, какъ онъ это дѣлалъ, но только носъ его зву- „чалъ какъ труба. Это новое лицо скоро во замедлило „показать себя на губернаторской вечеринкѣ. Приготовле- „нія къ этой вечеринкѣ заняли слишкомъ два часа вре- „мени, и здѣсь въ пріѣзжемъ оказалась такая вниматель- „ность къ туалету, *какой даже не вездѣ видывано*. Постъ „обыкновеннаго послѣ-обѣденнаго сна, онъ приказалъ по- „дать умыться и чрезвычайно долго теръ мыломъ обѣ „щеки, подперши ихъ пзнутри языкомъ, потомъ, *взявши*

„съ плеча трактирнаго слуги полотенце, вытеръ имъ со  
 „всѣхъ сторонъ полное свое лицо, начавъ изъ-за ушей; и  
 „фыркнувъ еще два раза въ самое лицо трактирнаго слуги.  
 „Потомъ выщипнулъ два волоска, выдѣзшіе изъ носу...“

Странный филологъ, этотъ вашъ поэтъ ни въ стихахъ  
 ни въ прозѣ! думаете вы, какъ я вижу про себя, не пре-  
 рывая уже меня болѣе грамматическими замѣчаніями: во  
 всѣхъ славянскихъ языкахъ, какіе я знаю, *носъ* имѣетъ въ  
 родительномъ надежѣ *носа*, а *шумъ*, *оттеръ* и *дымъ* имѣютъ  
*шуму*, *оттру*, *дыму*: у него это наоборотъ!... онъ говоритъ  
*носу*, *оттра*, *шума*, *дыма*!... Право странный филологъ!  
 думаете вы про себя. Но я не обращаю никакого вниманія  
 на то, что вы про себя думаете. Я читаю дальше:

„И непосредственно затѣмъ очутился во фракѣ брус-  
 „никоваго цвѣту съ искрой. Вошедши въ залъ губернатора,  
 „Чичиковъ долженъ былъ зажмурить глаза, потому что  
 „блескъ отъ свѣчей былъ страшный. Черные фракы мель-  
 „кали и носились прознь и *кучами* (купами?) *тамъ и тамъ*,  
 „какъ носятся мухи на бѣломъ сіяющемъ рафинадѣ въ  
 „пору жаркаго *іюльскаго лѣта*, когда старая клюшница (*sic*)  
 „рубить и дѣлать *его* (іюльское лѣто?) на сверкающіе  
 „обломки передъ открытымъ окномъ; дѣти *естъ* глядятъ,  
 „*собрившись* вокругъ, *смѣдя* любопытно.“

— Ну, не купъ вашъ поэтъ на дѣепричастія и всякія  
 ризныя причастія! думаете вы опять про себя. Два дѣе-  
 причастія сряду!... Экое искусство слога! И между тѣмъ  
 продолжаю,— „За движеніями *женскихъ рукъ ея*“ (то есть,  
 „старой клюшницы, у которой, вѣроятно, другихъ рукъ  
 „не было, кремѣ женскихъ: замѣчаніе почтеннѣйшаго чи-  
 „тателя), „*женскихъ рукъ ея*, *поднимающихъ* молотъ, а  
 „*воздушные эскадроны мухъ*, *поднятые легкимъ воздухомъ*,  
 „взлетаютъ смѣло, какъ полныя хозяева, и, *пользуясь* под-  
 „слѣноватостью старухи и солнцемъ, *безпокоющимъ* глаза  
 „*ея* обсыпаютъ лакомые куски, гдѣ въ разбитную, гдѣ  
 „густыми *кучами*. *Насыщенные богатымъ лѣтомъ*, и безъ  
 „того на всякомъ шагу *разставляющимъ* лакомыя блюда,  
 „они (они) взлетѣли вовсе не съ тѣмъ, чтобы ѣсть, но

„чтобы только *показать себя* (мухи?.. кому?)... пройтись  
 „взадъ и впередъ по сахарной кучѣ, *потереть* одна о  
 „другую заднія или *переднія* ножки или *почесать ими у*  
 „себя подъ крылышками, или, протянувши обѣ *переднія*  
 „лапки, потерѣть *ими у себя* надъ головою (что жъ тамъ  
 „потереть *надъ* головою?—замѣчаніе почтеннѣйшаго чита-  
 „теля), и опять улетѣть, и опять прилетѣть съ новыми—  
 „*докучными* (докучливыми?) эскадронами...

— Bravo; „*наша поэма*“! восклицаю я въ страшномъ  
 восторгѣ: bravo!... да ты настоящая эпопея! — Какое по-  
 этическое сравненіе!—да какъ развито!... да сколько тутъ  
 чистыхъ, свѣжихъ, благовоонныхъ цвѣтковъ поэзіи!... Ей-ей!  
 безъ всякой лести!... всѣ знаменитыя сравненія у Гомера,  
 Виргилія, Тассо, Аріосто, Мильтона, передъ этимъ велико-  
 лѣпнымъ сравненіемъ—говоря твоимъ изящнымъ языкомъ—  
*свинтусы, подмечи!*... Ну, чудо что за сравненіе!...

— Но еще большее чудо—слогъ этого сравненія, гово-  
 ритъ почтеннѣйшій читатель. Скажите ужъ также изящ-  
 нымъ языкомъ вашего поэта: экіе *свинтусы* періоды!... ни  
 языка, ни логики, ни обдѣлки, ни порядку въ пред-  
 ложеніяхъ!...

— „Мужчины здѣсь, какъ и вездѣ, продолжаю я, были  
 „двухъ родовъ: одни тоненькіе, тоненькіе служатъ больше  
 „по особымъ порученіямъ или только числятся и *виляютъ*  
 „туда и сюда; другіе толстые. У тоненькаго въ три года  
 „не останется ни одной души, не заложенной въ ломбардъ.  
 „У толстаго, глядь, и явился гдѣ-нибудь въ концѣ города  
 „домъ, купленный на имя жены, потомъ въ другомъ концѣ  
 „другой домъ, потомъ близъ города — деревенька, потомъ  
 „и село со всѣми угодыми. Толстый, *прослуживши* Богу  
 „и Государю, *заслуживши* всеобщее уваженіе, оставляетъ  
 „службу, перебирается (куда?) и дѣлается помѣщикомъ,  
 „славнымъ русскимъ баринномъ“.

— О, великій поэтъ! вскрикиваю я совершенно въѣ  
 себя: знаете-ли, почтеннѣйшій читатель, что это самое  
 глубокомысленное изъ его неподражаемыхъ „твореній“?...  
 Какая тонкая наблюдательность!... Извините, что я пре-

рвать чтение. Восторгъ!.. не удержишь!.. Самый чистый, самый неподдѣльный восторгъ!.. Но не надо замедлять чтение новыми восторгами: такъ мы никогда не кончимъ „нашей поэмы“.

— Сѣли за зеленый столъ, и уже не вставали до ужина. *Выходя* съ фигуры, полицмейстеръ ударялъ по столу крѣпко рукою, *приговаривая*, если была дама — пошла, старая попадья! если же король — пошелъ тамбовскій мужикъ! А председатель приговаривалъ: — А я его по усамъ! А я его по усамъ! — Иногда, при ударѣ картъ по столу, вырывались выраженія — А! была не была, не съ чего, такъ съ бубенъ! или же просто восклицанія — Черви! червоточина! — пикенція! — пикендрасъ! — пичирущукъ! — пичура! — и даже просто — пичукъ! Пріѣзжій во всемъ умѣлъ *какъ-то* пайтиться, и показалъ въ себѣ опытнаго свѣтскаго человѣка. О чемъ бы разговоръ не былъ, онъ умѣлъ поддержать его — умѣлъ облекать все *какою-то* степенностью, умѣлъ хорошо держать себя, говорилъ ни громко ни тихо, а совершенно такъ, какъ слѣдуетъ: словомъ *куда ни повороти*, былъ очень порядочный человѣкъ. Всѣ были довольны пріѣздомъ новаго лица. Даже самъ Собакевичъ, который рѣдко отзывался о комъ-нибудь съ хорошей стороны, пріѣхавши довольно поздно изъ города, и уже совершенно раздѣвшись, и легши на кровать возлѣ худощавой жены своей сказалъ ей: „Я, душенька, былъ у губернатора на вечерѣ, и познакомился съ коллежскимъ совѣтникомъ Павломъ Ивановичемъ Чичиковымъ: пренятный человѣкъ!“ На что супруга отвѣчала — „Гмъ!“ — и толкнула его ногою.

„Хотя, конечно, два крѣпостные человѣка нашего героя лица не такъ замѣтныя, *хотя* главные ходы и пружины поэмы не на нихъ утверждены, *но*... (Во всѣхъ языкахъ во всѣхъ діалектикахъ, по законамъ всѣхъ возможныхъ силлогизмовъ, союзу *хотя* соответствуетъ союзъ *однако*, а не *но*: замѣчаніе почтеннѣйшаго читателя, который учился логикѣ) *но* авторъ любитъ чрезвычайно быть обстоятельнымъ. Петруша ходилъ въ нѣсколько широ-

„комъ: коричневомъ сюртукѣ съ барскаго плеча, характера  
 „былъ молчаливаго, имѣя благородное побужденіе къ  
 „просвѣщенію, то есть, чтенію книгъ, содержаниемъ кото-  
 „рыхъ не затруднялся. Ему нравилось не то, о чемъ чи-  
 „талъ онъ, но больше процессъ самаго чтенія, что вотъ  
 „изъ буквъ выходитъ вѣчно какое-нибудь слово, которое  
 „иной разъ *чортъ* знаетъ что и значить. Кромѣ страсти  
 „къ чтенію, онъ имѣлъ еще два обыкновенія, составля-  
 „ющія *дѣтъ* другія его характеристическія черты, — спать не  
 „раздѣваясь, *такъ какъ* есть, въ томъ сюртукѣ, и носить  
 „всегда съ собою *какой-то* свой особенный воздухъ, своего  
 „собственного запаха, отзывавшійся нѣсколько жилимъ  
 „покоемъ, такъ что достаточно было ему только пристро-  
 „ить гдѣ нибудь свою кровать, хотъ даже въ необитаемой  
 „*домомъ* комнатѣ, да перетащить туда шинель и пожитки,  
 „и уже казалось, что (будто?) въ этой комнатѣ лѣтъ де-  
 „сятъ жили люди. Чичиковъ, будучи человекъ весьма ще-  
 „котливый, и даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ *привередливый*,  
 „потянувши къ себѣ этотъ воздухъ по-утру на свѣжій  
 „носъ, только поморщивался, да встряхивалъ головою, при-  
 „говаривая: — Ты, братъ, *чортъ* тебя знаетъ, потѣнешъ  
 „что-ли?.. сходилъ бы ты хотъ въ баню! — На что Петруша  
 „ничего не отвѣчалъ. Кучеръ Селифанъ былъ совершенно  
 „другой человекъ.. Но авторъ весьма сообѣтитися такъ  
 „долго занимать васъ людьми низкаго званія. Скажу при  
 „этомъ случаѣ, что и Русскіе тоже не охотно знакомятся  
 „съ низкими сословіями. Таковъ ужъ русскій человекъ!  
 „Сильная страсть завѣщаться“...

— Помилуйте! вскрикиваетъ почтеннѣйшій читатель, не отнимая пальцевъ отъ своего почтеннѣйшаго носа, который имѣетъ онъ обыкновеніе зажимать отъ такихъ воз-  
 духовъ: что вы это, съ вашимъ поэтомъ, при каждомъ неблаговидномъ случаѣ, наводите рѣчь на Русскихъ! Въ  
 чемъ и за что вы непрерывно ихъ обвиняете? Да они  
 очень хорошо дѣлаютъ, что не хотятъ знакомиться съ ва-  
 шими нечистыми героями, отъ которыхъ я самъ прину-  
 жденъ поминутно закрывать носъ и глаза рукою. Если по-

рядочные Русскіе неохотно обличаются съ людьми низкаго сословія, причиною этому долженъ быть распространѣнный между ними благородный вкусъ къ изяществу, опрятности, образованнымъ ощущеніямъ, а не мнимый народный порокъ, не всеобщая спѣсь, не безразсудная гордость. Надъ чѣмъ же вы тутъ насмѣхаетесь?.. Куда нарвите свои эниграммы! Страсть зазнаться!.. Да чтобы, по случаю Петруши, упрекать цѣлый народъ въ страсти зазнаваться, надо предположить, будто весь народъ ничѣмъ не лучше этого грубаго и грязнаго человѣка, и только понапрасну, изъ гордости не узнаетъ въ немъ себѣ равнаго! Но это неправда. Вы систематически унижаете русскихъ людей. Я этого не люблю, и не хочу слушать. Я самъ обожаю чистоту. Ваши зловонныя картины поселяютъ во мнѣ отвращеніе...

— Вотъ ужъ вы и сердитесь, почтеннѣйшій читатель! прерываю я васъ. Вы ученый человѣкъ, а совсѣмъ не понимаете тонкости вещей: зловонныя картины, что-жъ тутъ дурного?.. онѣ необходимы въ „нашей поэмѣ“, для возбужденія „высокаго, восторженнаго смѣху“, который достоинъ стоять рядомъ, съ „высокимъ лирическимъ движеніемъ“. Понимаете-ли вы, что это значитъ?.. что значитъ *высокій смѣхъ*. Не понимаете?.. Ну, такъ видите!.. А этотъ „какой-то особенный воздухъ“, который Петруша разноситъ по всей поэмѣ, именно и есть „высокій смѣхъ“, главный источникъ „высокаго, восторженнаго смѣху!“ Это и есть, что мы, въ „нашей“ пѣтликѣ называемъ „*перлъ созданія*“. Мы все это „возводимъ въ перлъ созданія“, для вашего умственнаго наслажденія. Между-тѣмъ, я продолжаю. Герой *нашей поэмы* познакомился у губернатора со многими изъ окрестныхъ помѣщиковъ, и на другой день отправился къ нимъ съ визитами.

„Едва выѣхалъ онъ за городъ, какъ уже *пошли писать* по русскому обычаю, *чушь* и дичь по обѣимъ сторонамъ дороги: кочки, ельникъ, низкія кусты молодыхъ сосенъ, обгорѣлыя пни старыхъ деревьевъ, дикій верескъ, и тому подобный *воздоръ*. Въ деревняхъ, бабы съ толстыми лицами и пере-



„вязанными грудями смотрѣли въ верхнихъ оконъ; изъ нижнихъ глядѣлъ теленокъ или высовывала свою слѣпую морду свинья, словомъ, виды извѣстные“.

— Это поэзія нашей страны, тихо говорю я почтеннѣйшему читателю: другой у насъ нѣтъ. Понимаете-ли теперь, отчего этотъ разсказъ названъ „поэмой“?

„Наконецъ пріѣхали въ Маниловку, имѣніе Ивана Ивановича Манилова. Послѣ взаимнаго изліянія чувствъ, вошедшій слуга доложилъ, что кушанье готово. Въ столовой же стояли два мальчика, которые были въ тѣхъ лѣтахъ, когда сажаютъ уже дѣтей за столъ, но еще на высокихъ стульяхъ. При нихъ стоялъ учитель, поклонившійся вѣжливо и съ улыбкою. Хозяйка сѣла за свою суповую чашку; гость былъ посаженъ между хозяиномъ и хозяйкой; слуга завязалъ дѣтямъ на шею салфетки. Оемистоклюсь! сказалъ Маниловъ, обращаясь къ старшему. Чпчиковъ поднялъ нѣсколько бровь, услышавъ такое греческое имя, которому, не извѣстно почему, Маниловъ далъ окончаніе на „юсъ“. Оемистоклюсь! скажи мнѣ, какой лучшій городъ во Франціи. — Оемистоклюсь сказалъ: — Парижъ. — Умница душенька!.. Я его прочу по дипломатической части. — Оемистоклюсь! продолжалъ отецъ, снова обращаясь къ нему: хочешь быть посланникомъ? — Хочу, отвѣчалъ Оемистоклюсь, жуя хлѣбъ и болтая головой направо и налево. — Въ это время стоявшій позади лакей утеръ посланнику носъ, и очень хорошо сдѣлалъ: иначе бы канула въ супъ препорядочная посторонняя капля“...

— Ха, ха, ха! расхохотался я безъ памяти. Ха, ха, ха! какъ это смѣшно! Видите ли, почтеннѣйшій читатель? Слышите-ли?... Вотъ это и есть „высокій, восторженный смѣхъ, равный высокому лирическому движенію“. Чистая поэзія!.. Ха, ха, ха!..

„Вдругъ учитель застучалъ по столу, устремивъ глаза на сидящихъ напротивъ его дѣтей. Это было у мѣста, потому что Оемистоклюсь укусилъ за ухо Алкида, и Алкидь, зажмуривъ глаза и открывъ ротъ, готовъ былъ зарыдать самымъ жалкимъ образомъ, но, почувствовавъ, что

„за это легко можно было лишиться блюда, привелъ ротъ  
 „въ прежнее положеніе и началъ со слезами грызть ба-  
 „ранью кость, отъ которой у него обѣ щеки лоснились  
 „жиромъ. Встали изъ-за стола. Маниловъ просилъ гостя въ  
 „свой кабинетъ. Комната была не безъ пріятности. На  
 „столѣ лежали книги и нѣсколько бумагъ, но больше всего  
 „было табаку. Онъ былъ въ разныхъ видахъ, въ картузахъ  
 „и въ табачницѣ, и наконецъ насыпанъ былъ просто кучею  
 „на столѣ. На обѣихъ окнахъ тоже помещены были горки  
 „выбитой изъ трубки золы, разставленные не безъ старанія  
 „очень красивыми рядками. Замѣтно было, что это иногда  
 „доставляло хозяину препровожденіе времени. — Позвольте  
 „мнѣ васъ попотчивать трубочкой. — Нѣтъ, не курю. —  
 „Отчего? — Говорятъ трубка сушить. — Позвольте мнѣ вамъ  
 „замѣтить, что это предубѣжденіе. Въ нашемъ полку былъ  
 „поручикъ, прекраснѣйшій и образованнѣйшій человекъ,  
 „который не выпускалъ изо рта трубки, не только за сто-  
 „ломъ, но даже, съ позволенія сказать, во всѣхъ прочихъ  
 „мѣстахъ. И вотъ ему уже сорокъ лѣтъ, но и до сихъ  
 „поръ онъ такъ здоровъ, какъ нельзя лучше. — Позвольте  
 „мнѣ одну просить, сказалъ Чичиковъ: какъ давно вы из-  
 „волили подавать ревизскую сказку? — Да ужъ давно, отвѣ-  
 „чалъ Маниловъ. — *Какъ съ того времени много у васъ*  
 „умерло крестьянъ? — А не могу знать! Объ этомъ, я по-  
 „лагаю, нужно спросить приказчика. — Приказчикъ явился.  
 „Это былъ человекъ лѣтъ подъ сорокъ, брившій бороду,  
 „ходившій въ сюртукѣ, и *по видимому проводившій очень*  
 „*(с) покойную жизнь.* Послушай, любезный! спросилъ его  
 „Маниловъ: сколько у насъ умерло крестьянъ, съ тѣхъ  
 „поръ какъ подавали ревизію. — Да какъ сколько!.. многія  
 „умерли съ тѣхъ поръ, сказалъ приказчикъ, и при этомъ  
 „икнулъ, заслонивъ ротъ слегка рукою на подобіе щит-  
 „ка. По желанію гостя, Маниловъ приказалъ составить  
 „имъ списокъ. Чичиковъ вызвался купить у него эти мерт-  
 „выя души на чистыя деньги. Можно представить изумле-  
 „ніе помѣщика! Онъ никакъ не могъ взять въ толкъ дѣла,  
 „и, вмѣсто отвѣта, принался насасывать свой чубукъ такъ

„сильно; что тотъ началъ наконецъ хрипѣть, какъ фоготъ. Наконецъ онъ предалъ всѣ свои мертвыя ревизскія души новому другу безъинтересно. Умершія души въ нѣкоторомъ родѣ совершенная *дрянь*.—Очень не *дрянь*, сказала Чичиковъ; если-бы вы знали, какую услугу оказали *сей повидимому дрянью* человѣку безъ племени и роду! Маниловъ былъ растроганъ, и Чичиковъ уххалъ, сопровождаемый долго поклонами и маханьями платковъ поднимавшихся на цыпочкахъ хозяевъ. Долго стоялъ на крыльцѣ Маниловъ, провожая глазами удаляющуюся бричку. Потомъ мысли его перенеслись незамѣтно къ другимъ предметамъ и наконецъ запеслись *Богъ знаетъ* куда. Онъ думалъ о благополучіи дружеской жизни: мечталъ, что они съ Чичиковымъ—въ Москвѣ, и пьютъ чай на открытомъ воздухѣ; что пріѣхали въ прекрасныхъ каретахъ въ какое-то общество, гдѣ обвораживаютъ всѣхъ пріятностью обращенія; что самое высшее начальство, узнавши о такой ихъ дружбѣ, пожаловало ихъ генералами; и далѣе наконецъ *чортъ знаетъ* что такое, чего уже *онъ самъ* (и самъ онъ) разобрать не могъ.

— У этого поэта, думаетъ здѣсь про себя, какъ я вижу, почтеннѣйшій читатель, есть своя риторика новаго роду: самый сильный эпитетъ у него—*чортъ его знаетъ*: самое подозрительное указаніе—*Богъ его знаетъ*; а когда ужъ хочетъ онъ опредѣлить предметъ съ необыкновенною точностью, то употребляетъ *какой-то*. Мастеръ на слогъ, нечего сказать! Тонко, ясно и вѣжливо. Думайте вы объ этомъ что вамъ угодно, а я смѣренно продолжаю чтеніе:

„А Чичиковъ, въ довольномъ расположеніи духа, сидѣлъ въ своей бричкѣ; катившейся давно по столбовой дорогѣ. Селифанъ хлесталъ вкutomъ Засѣдателя, лѣниваго коня, увѣщевая его:—Ну, ну, что потряхиваешь ушами! Ты, дуракъ, слушай, коли говорятъ. Я тебя, невѣжа, не стану дурному учить. Ишь, куда ползеть. Настала ночь. Гроза. Темно. Селифанъ затынулъ пѣсню не пѣсню; тутъ *все* вошло: всѣ одобрительныя и побудительныя крики, которыми подчиваютъ лошадей по *всей* Россіи, прилагатель-

„ныя всѣхъ родовъ безъ дальнѣйшаго разбора, какъ что первое попало на языкъ. Такимъ образомъ дошло до того, что онъ началъ называть ихъ наконецъ секретарями. Бричка качалась на всѣ стороны.—Что, мошенникъ, по какой дорогѣ ты ѣдешь? сказалъ Чичиковъ. Да что-жъ, баринъ, дѣлать, время такое, кнута не видишь; такая потьма!—Сказавши это, онъ покосилъ бричку такъ, что наконецъ выворотилъ ее совершенно на бокъ. Чичиковъ и руками и ногами *шлепнулся* въ грязь. Долго блуждали они по полямъ, сбившись съ дороги. Издали послышался собачій лай. Селифанъ, не видя ни зги, направилъ лошадей такъ прямо на деревню, что остановился тогда только, когда бричка ударилась оглоблями въ заборъ. Баринъ со слугою услышали хриплый бабій голосъ: Кто стучитъ?—Пріѣзжіе матушка, пусти переночевать, произнесъ Чичиковъ.—Время темное, нехорошее время, прибавилъ Селифанъ. Молчи, дуракъ, сказалъ Чичиковъ.—Ихъ впустили. Передъ домою была лужа, на которую свѣтъ ударялъ прямо изъ оконъ. Псы заливались всѣми возможными голосами: одинъ, забросивши вверхъ голову, выводилъ такъ протяжно и съ такимъ стараніемъ, какъ будто за это получалъ *Богъ знаетъ* какое жалованье; другой хрипѣлъ, какъ хрипитъ иввческій контрабасъ, когда концертъ въ полномъ *разливѣ*. Это былъ домъ помѣщицы Коробочки. Хозяйка, пожилая вдова, хорошо приняла неожиданнаго гостя, приказала дѣвкѣ высушить и вычистить его платье, и пожелала ему спокойной ночи. Прощай, батюшка! Да не нужно ли еще чего? Можетъ, ты привыкъ, отецъ мой, чтобы кто-нибудь почесалъ на ночь пятки. Покойникъ мой безъ этого никакъ не засыпалъ.—Но гость отказался. На другой день солнце сквозь окно блистало ему прямо въ глаза, и мухи, со стѣнъ и съ потолка, всѣ обратились къ нему. Одна сѣла ему на губу, другая на ухо, третья наровила какъ-бы усѣсться на самый глазъ; ту же, которая имѣла неосторожность подсѣсть близко къ *носовой* ноздрѣ, онъ потянулъ впросонкахъ въ самый носъ, что заставило его

„крѣпко миднуть, обстоятельство, бывшее причиною его пробужденія...“

— Скажите, на милости, прерываете вы меня, почтеннѣйшій читатель; отчего носъ играетъ здѣсь такую безсмѣсную роль? Вся ваша поэма вертится на однихъ носахъ?

— Оттого, отвѣчаю я какъ глубокомысленный комментаторъ поэмы, что носъ едва-ли не первый источникъ „высокаго, восторженнаго, лирическаго смѣху“.

— Я однако жъ не вижу въ немъ ничего смѣшнаго! возражаете вы мнѣ на это.

— Вы не видите!.. но мы видимъ, возражаю я обратно. Согласитесь, что у человѣка этотъ треугольный кусокъ мяса, который торчитъ въ центрѣ его лица, удивительно, восторженно, лирически смѣшенъ. И у насъ это уже доказано, что безъ носа, нельзя сочинить ничего истинно забавнаго. Принявъ возраженіе ваше къ свѣдѣнію я продолжаю.

„Въ дверь выглянуло женское лицо, и въ ту же минуту спряталось, ибо Чичиковъ, желая получше заснуть, скинулъ съ себя совершенно все. Гость надѣлъ рубаху. Одѣвшись, онъ подошелъ къ окну, и чихнулъ опять такъ громко, что подошедшій въ это время къ окну индѣйскій пѣтухъ заболталъ ему что-то вдругъ и весьма скоро на своемъ странномъ языкѣ, вѣроятно, желаю здравствовать, на что Чичиковъ сказалъ ему дурака. Свиныя съ семействомъ очутились тутъ-же, и, разбирая кучу сора, мимоходомъ съѣла цыпленка...“

— Грязь на грязь! съ отвращеніемъ вскрикиваете вы, мой почтеннѣйшій, чистолютный читатель.— Красота на красотѣ! съ восторгомъ вскрикиваю я, и заглашаю васъ. Какое остроуміе! Сколько поэзій! Послушайте дальше: „Пришла хозяйка. Чичиковъ нашелъ въ ней грубую, глупую и жадную бабу, и спросилъ безъ околичностей, не продастъ ли она ему своихъ мертвыхъ душъ. Помѣщица „Коробочка очень рада; только она не знаетъ, какая те- перь справочная цѣна на мертвыя души. Чичиковъ пред-

„лагаетъ ей по двадцати-пяти копѣекъ мѣдью. Они начи-  
 „нають торговаться. Коробочка упирается.—*Экъ ее ду-*  
 „бинно-головая какая! сказалъ про себя Чичиковъ, начи-  
 „ная выходить изъ терѣвня: *поди ты сладь съ нею?* Въ  
 „потъ бросила проклятая старуха!—Она предлагаетъ ему,  
 „вмѣсто этого небывалаго товару, лучше купить у ней  
 „пеньку. Гость, человекъ свѣтскій, вышелъ изъ границъ  
 „всякаго терѣвня, *хватилъ* стуломъ обзъ полъ и посулилъ  
 „ей чорта. Чорта помѣщица испугалась и согласилась усту-  
 „пить по тридцати по двѣ копѣйки за душу. Написали  
 „условіе. Чичиковъ далъ ей пятнадцать рублей ассигна-  
 „ціями. Коробочка хотѣла еще продать ему свиное сало.—  
 „А вотъ бричка! вотъ бричка! вскричалъ Чичиковъ. Что  
 „ты, болванъ, такъ долго копаешься?—Помѣщица дала сво-  
 „ему гостю въ провозатые до столбовой дороги дѣвчонку  
 „лѣтъ одинадцать, въ платьѣ изъ домашней крашенины,  
 „съ босыми ногами, которыхъ издали можно было принять  
 „за сапога: такъ они были облѣплены свѣжею грязью. Чи-  
 „чиковъ занесъ ногу на ступеньку и, понагнувши бричку  
 „на правую сторону, потому что былъ тяжеленекъ, на-  
 „онецъ помѣстился, *сказавши*:—А! теперь хорошо! Про-  
 „щайте, матушка!—Кони тронулись. Но зачѣмъ такъ дол-  
 „го заниматься Коробочкой? Коробочка-ли, Маниловъ-ли,  
 „хозяйственная жизнь или пехозяйственная—мимо ихъ!  
 „Но то на свѣтѣ дивно устроено: веселье мигомъ обратит-  
 „ся въ печальное, если только долго застоишься передъ  
 „нимъ, и тогда *Богъ знаетъ* что забредетъ въ голову. (Да  
 „гдѣ же тутъ веселье? спрашиваете вы: я—еще ни разу  
 „не улыбнулся!). Можетъ быть, станешь даже думать: да  
 „полно точно ли такъ велика пропасть, отдѣляющая ее  
 „отъ сестры ея, недосыгаемо огражденный стѣнами аристо-  
 „кратическаго дома съ благовонными *чугунными* лѣстница-  
 „ми (ужь хоть бы по крайней мѣрѣ мраморными! думаете  
 „вы про себя), *сіяющей* мѣдью, *краснымъ* деревомъ и *ковра-*  
 „*ми* (дамы, *сіяющей* мѣдью, *краснымъ* деревомъ и *ковра-*  
 „*ми*) *звѣчающей* за недочитанной книгой въ ожиданіи остро-  
 „умно-свѣтскаго визита, гдѣ ей предстанетъ поле блеснуть

„умомъ, и высказать вытверженные мысли, занимающія по  
„законамъ моды на цѣлую недѣлю городъ, мысли не о томъ,  
„что дѣлается въ ея домѣ и въ ея помѣстьяхъ,“ запутан-  
„ныхъ и разстроенныхъ, благодаря незнанью хозяйствен-  
„наго дѣла, а о томъ, какой политическій переворотъ го-  
„товится во Франціи, какое направленіе принялъ модный  
„католицизмъ. Но мимо, мимо! зачѣмъ говорить объ этомъ?  
„Но зачѣмъ же, среди *недумающихъ, веселыхъ, безопасныхъ*  
„минуть, сама собою вдругъ пронесется иная чудная струя:  
„еще *смѣхъ* не успѣлъ совершенно сбѣжать съ лица, а  
„уже *сталъ друимъ* (смѣхомъ) среди тѣхъ же людей, и  
„уже другимъ *свѣтомъ освѣтилось* лицо...

— О глубокой философъ!.. съ удивленіемъ восклицаю я,  
упадая на колѣни передъ первымъ изъ современныхъ поэ-  
товъ: витія и философъ! Ужъ когда нашъ новый Гомеръ  
попадетъ на *иную чудную струю* и станетъ ораторствовать,  
то *забредетъ* прямехонько *чортъ знаетъ* куда: отъ Коробочки  
на „чугунную благовонную лѣстницу аристократической  
дамы, нѣжной, образованной, умной, сіяющей жѣдью,  
краснымъ деревомъ и коврами!.. Я совершенно согласенъ  
съ новымъ Гомеромъ-философомъ: въ самомъ дѣлѣ, между  
этою воздушною женщиною и грубою, глупою Коробочкою  
нѣтъ никакого разстоянія на лѣстницѣ человѣческаго совер-  
шенствованія?

„Чпчиковъ наконецъ доѣхалъ до столбовой дороги и оста-  
„новился у трактира, въ которомъ висѣли пучкомъ души-  
„стыя травы и гвоздики у образовъ, высохшія до такой  
„степени, что *желавшій* понюхать ихъ только чихалъ и больше  
„ничего. Онъ встрѣтился здѣсь съ помѣщикомъ Поздравымъ,  
„съ которымъ недавно познакомился у прокурора. Поздравъ  
„проигралъ на ярмаркѣ все, деньги, платье и лошадей, и  
„ѣхалъ домой въ засаленномъ архалухѣ и въ бричкѣ своего  
„зятя. Ба, ба, ба! воскликнулъ онъ вдругъ, разставивъ обѣ  
„руки при видѣ Чпчикова. Какими судьбами? А я, братъ,  
„съ ярмарки. Поздравъ: продулся въ нухъ. Вѣришь ли,  
„что никогда въ жизни такъ не продувался? Эхъ, братецъ,  
„какъ покутили! Тенерь даже, какъ вспомнишь... чортъ

„возьми!... то есть, какъ жалъ, что ты не былъ! Какого-  
 „дина отпустилъ намъ Пономаревъ! Нужно тебѣ знать, что  
 „онъ мошенникъ, и въ его лавкѣ ничего нельзя брать: въ  
 „вино мѣшаетъ всякую дрянъ, сандалъ, женую пробку,  
 „и даже бувиной подлецъ затираетъ. Эхъ, Чичковъ! ну,  
 „что бы тебѣ стоило прѣхать! Право, свинтусъ ты за это,  
 „скотоводъ этакой! Поцѣлуй меня, душа: смерть люблю тебя!..  
 „Въ фортулку кутнулъ тоже, выигралъ двѣ банки помады,  
 „потомъ еще разъ поставилъ и пропустилъ, канальство,  
 „шесть цѣлковыхъ. А какой, если бѣ ты зналъ, волокита  
 „поручикъ Кувшинниковъ! Мы съ нимъ были на всѣхъ  
 „почти балахъ. Одна была такая разодѣтая, рюши да  
 „трюши, и чортъ знаетъ чего не было... Я думаю себѣ  
 „только: чортъ возьми!... А Кувшинниковъ, то есть, это  
 „такая бестія, подѣлъ къ ней и на французскомъ языкѣ  
 „подпускаетъ комплименты... Повѣришь ли, простыхъ бабъ  
 „не пропуститъ. Это онъ называетъ попользоваться насчетъ  
 „клубнички. Ты куда теперь ѣдешь?—Къ Собакевичу.—Здѣсь  
 „Ноздревъ захохоталъ тѣмъ звонкимъ смѣхомъ, какимъ  
 „заливается только *сатѣй*, здоровый человѣкъ, у кото-  
 „раго всѣ до послѣдняго выказываются бѣлые какъ сахаръ  
 „зубы, дрожатъ и прыгаютъ щеки, и сосѣдъ за двумя  
 „дверями, въ третьей комнатѣ вскидывается со сна, *выти-  
 „раивъ* очи и произносъ: *Экъ его разобрало!*

— Какая сила выраженія! говорю я въ восторгѣ: какая  
 прелесть слогу!

„Ноздревъ, смѣясь, говорилъ: Да вѣдь ты жизни не бу-  
 „дешь радъ, когда прѣдешь къ Собакевичу! Это, просто,  
 „жидоморъ. Вѣдь я знаю твой характеръ: ты жестоко  
 „опѣшишься, если думаешь найти тамъ банчишку или до-  
 „брую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братецъ:  
 „ну, къ чорту Собакевича! поѣдемъ ко мнѣ. Какимъ балы-  
 „комъ понотчую! Пономаревъ бестія такъ раскланцвался,  
 „говоритъ для васъ только, всю ярмарку, говоритъ, объ-  
 „вищите, не найдете такого: плуть однако жъ ужасный.  
 „Я ему въ глаза говорилъ. Вы, говорю, съ нашимъ откуп-  
 „щикомъ первые мошенники. Смѣется бестія, поглаживая



„бороду. Въ театрѣ одна актриса такъ каналья цѣла какъ канарейка. Кувшинниковъ, который сидѣлъ вондѣ меня, вотъ, говорить, братъ, попользоваться бы насчетъ клубнички!—Порфирій, слуга Ноздрева, одѣтый какъ и баринъ въ какомъ-то архалухѣ, но еще *позамасленный*, внесъ щенка въ комнату.—Давай его, клади сюда на полъ!—Ты однако жъ не сдѣлалъ того, что я тебѣ говорилъ, сказалъ Ноздревъ, обратившись къ Порфирію и разсматривая тщательно брюхо щенка: и не подумалъ вычесать его!—Нѣтъ, я его вычесывалъ.—А отчего же блохи!—Не могу знать. Статься - можетъ, какъ-нибудь изъ брочки поналѣзли.—Врешь, врешь! и не воображалъ чесать; я думаю, дуракъ, еще своихъ нанустилъ. Вотъ, посмотри, Чичиковъ! какія уши; на, пощупай рукою.—Такихъ людей какъ Ноздревъ приходилось всякому встрѣчать не мало. Въ его лицѣ видно было что-то открытое, прямое, удалое. Въ картинки онъ игралъ не совсѣмъ безгрѣшно и чисто, зналъ много передержекъ и другихъ тонкостей, и весьма часто оканчивалъ игру тѣмъ, что его поколачивали сапогами, или же задавали передержку его густымъ бакенбардамъ, такъ что возвращался домой онъ иногда съ одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровья и полныя щеки его такъ хорошо были сотворены, и вмѣщали въ себѣ столько растительной силы, что бакенбарды скоро выростали вновь, еще даже лучше прежнихъ. И, что всего страннѣе, что можетъ *только на одной Руси* случиться, онъ чрезъ нѣсколько времени уже встрѣчался опять съ тѣми друзьями, которые его тузили, и встрѣчался какъ ни въ чемъ не бывало, и онъ, какъ говорится, ничего, и они ничего!... Ни на одномъ собраніи, гдѣ онъ былъ, не обходилось безъ исторіи: или выведутъ его подъ руки жандармы, или вытолкаютъ свои пріятели, или онъ нарѣжется въ буфетѣ такимъ образомъ, что только смѣется, или проврется самымъ жестокимъ образомъ, такъ что наконецъ самому сдѣлается совѣстно. И навретъ совершенно безъ всякой нужды: вдругъ расскажетъ, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти, и *тому*

„подобную чепуху, такъ что слушающіе наконецъ *въ отходять, произнесши*: Ну, братъ, ты кажется ужъ началъ пули лить! Есть люди, имѣющіе страстишку *нагадить* ближнему, иногда *вовсе* безъ всякой причины. Иной, напримеръ, даже *человѣкъ* въ чинахъ, съ благородною наружностію, со звѣдой на груди, будетъ вамъ жать руку, разговорится съ вами о предметахъ глубокихъ, вызывающихъ на размышленіи, а потомъ, смотришь, тутъ же, предъ вашими глазами и *нагадитъ* вамъ. И *нагадитъ* такъ, какъ простой коллежскій регистраторъ, а *вовсе* не такъ, какъ *человѣкъ* со звѣдой на груди, разгонаривающій о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе; такъ что, стояшь только да дивишься, пожимая плечами, *да и ничего больше*. Такую же странную страсть имѣлъ и Ноздревъ. Онъ распускалъ *небылицы*, выдумывалъ глупыя исторіи, разстраивалъ ваши дѣла, и, не почитая себя *вашимъ* не-приятелемъ, въ ту же минуту онъ предлагалъ вамъ *ѣхать* куда угодно, хоть на край свѣта, войти въ какое-хотите *предпріятіе*, мѣнять все, что ни есть, на все, что-хотите. Ружье, собака, лошадь—все было предметомъ *мѣны*, но *вовсе* не съ тѣмъ, чтобы выиграть: это проис-ходило просто отъ *какой-то* неугомонной *юркости* и бой-кости характера. Ноздревъ долго еще не выведется изъ *міра*. Онъ *вездѣ* между нами, и, можетъ быть, только *ходить* въ другомъ кафтанѣ; но *легкомысленно-непрони-цательны* люди, и *человѣкъ* въ другомъ кафтанѣ кажется *имъ* другимъ *человѣкомъ*“.

— Такъ это у васъ русскій типъ? съ изумленіемъ спрашиваете вы меня.—Такъ точно-съ, отвѣчаю я, снявъ шляпу и кланяясь вамъ. „Въ нашей *поэмѣ*“ все типы. Поздравляю! прошептали вы. Я какъ-будто не слышу этого и *продолжаю* читать:

„Ноздревъ увезъ зятя и Чичикова въ свое помѣстье. Тамъ онъ сперва повелъ ихъ *обсматривать* хозяйство, потомъ *пригласилъ* обѣдать. Поваръ Ноздрева *руковод-ствовался* болѣе *какимъ-то* вдохновеніемъ и *клавъ* въ *блюдо* первое что *понадалось* подъ руку: *стоялъ-ли* *возлѣ*

„него перецъ, онъ сыпалъ перецъ, капуста ли попалась, онъ совалъ капусту, ничкалъ молоко, ветчину, горохъ; словомъ, каталъ валяй; было-бы горячо, а вкусъ какой-нибудь выйдетъ. Мадера горѣла во рту, потому что купцы, зная вкусъ помѣщиковъ, заправляли ее безопадно ромомъ, а иной разъ вливали туда и царской водки, въ надеждѣ, что все вынесутъ *русскіе* желудки. Зять уже нагрузился вдоволь и, сидя на стулѣ, ежеминутно клевался носомъ. Замѣтивъ самъ, что находится не въ надежномъ состояніи, онъ сталъ отпрашиваться домой, къ женѣ. — И ни, ни! не пущу! отвѣчалъ Поздревъ. Пусть его ѣдетъ, что въ немъ проку, сказалъ тихо Чичиковъ. — А и вправду! сказалъ Поздревъ. Смерть не люблю такихъ ростенелей. Ну, чертъ съ тобою, поѣзжай бабиться съ женою, Ѳетюкъ! — Нѣтъ, братъ, ты не ругай меня Ѳетюкомъ! отвѣчалъ зять. Такая, право, добрая, милая жена! такіа ласки оказываетъ! до слезъ разбираетъ! Спросить, что видѣлъ на ярмаркѣ. Нужно все рассказать. Такая право добрая! — Зять уѣхалъ. — Такая дрянь! говорилъ Поздревъ, глядя въ окно на уѣзжающій экипажъ. Конекъ пристажной не дурень: я давно хотѣлъ подцѣпить его. Да съ нимъ никакъ нельзя сойтись. Ѳетюкъ! просто, Ѳетюкъ! — Отдѣлавшись отъ лишняго свидѣтеля въ лицѣ этого зятя, Чичиковъ предложилъ Поздреву продать ему свои мертвыя души. — Продать! вскричалъ Поздревъ: да вѣдь я тебя знаю; вѣдь ты подлець, ты дорого не дашь за нихъ! — Эхъ, да и ты вѣдь тоже хорошъ! сказалъ Чичиковъ: что они у тебя, брилліантовые, что ли? — Да вѣдь я знаю тебя, продолжалъ Поздревъ: ты большой мошенникъ! Ну, послушай, чтобъ доказать тебѣ, что я не какой-нибудь скалдырникъ, я не возьму за нихъ ничего. Купи у меня жеребца: я тебѣ ихъ въ придачу, Я за него заплатилъ десять тысячъ, а тебѣ отдаю за четыре. Помилуй, на что жъ мнѣ жеребецъ! сказалъ Чичиковъ, изумленный такимъ предложеніемъ. — Ну, такъ купи собакъ! купи у меня шарманку! — Да что я, дуракъ что ли, приобретаю вещи рѣшительно для меня не-

„нужныя? — Ну, ужъ пожалуйста, не говори: теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая право ракала! Ну, послушай: хочешь, метнемъ банчикъ? Я поставлю всѣхъ умершихъ на карту, шарманку тоже. — Чичиковъ не рѣшился. Карты, бывшія въ рукахъ Ноздрева, показались покупщику мертвыхъ душъ искусственными, и самый крапъ глядѣль весьма подозрительно. Порфирій принесъ бутылку. Но Чичиковъ отказался рѣшительно какъ играть такъ и пить. — Дрянъ же ты! сказалъ хозяинъ. — Что жъ дѣлать! такимъ Богъ создалъ! — Оетюкъ, просто! Я думалъ было прежде, что ты порядочный человекъ, а ты никакого не понимаешь обращенія. Съ тобой никакъ нельзя говорить какъ съ человѣкомъ близкимъ, никакого прямодушія, никакой искренности! совершенный Собакевичъ, подлець такой! — За что же меня бранить? Продай мнѣ душъ одѣвхъ. — Черта лысаго получишь! Хоть три царства давай, не отдамъ. Такой шильникъ, печникъ гадкій! Съ этихъ поръ съ тобою никакого дѣла не хочу имѣть. Порфирій, ступай, скажи конюху, чтобы не давалъ овса лошадямъ его, пусть ихъ ѣдятъ одно сѣно. Оетюкъ, да и только!...

— Скажите, пожалуйста, спрашиваете вы меня: что это значить, Оетюкъ?... какое это слово?... Я затрудняюсь въ отвѣтъ... я заикаюсь... я краснѣю... какъ-бишь вамъ объяснить это странное слово? Ну да оно прекрасно объяснено въ выноскѣ въ „нашей поэмѣ“. Я закрываю лицо книгой, и продолжаю: „Чичиковъ долженъ былъ провести ночь у Ноздрева, продолжалъ рассказчикъ. „Какія-то насѣкомыя кусали его всю ночь нестерпимо больно, такъ что онъ всей горстью скребъ по уязвленному мѣсту, приговаривая: — А чтобъ васъ чортъ побралъ вмѣстѣ съ Ноздревымъ! — Хозяинъ спалъ не лучше гостя. На другой день поутру вышелъ къ нему, ничего не дѣвѣя у себя подъ халатомъ, кромѣ открытой груди, на которой росла какая-то борода. — Такая мерзость лѣзла всю ночь, что гнусно рассказывать, говорилъ Ноздревъ, и во рту точно эскадронъ переночевалъ! — Они снова

„заговорили о продажѣ мертвыхъ душъ. Ноздревъ продать не хотѣлъ: это было-бы не попріятельски. Онъ не хотѣлъ снимать плевры съ чорта знаетъ чего. Въ банчикъ другое дѣло! Но Чичиковъ не рѣшался съ нимъ въ карты. Ноздревъ предложилъ въ шашки, и тотъ согласился. Сѣли играть. Хозяинъ рукавомъ двигалъ по двѣ шашки впередъ. Гость примѣтилъ это, смѣшала игру и отказался отъ партіи. Хозяинъ бросился бить своего гостя. — Порфирій! Павлушка! закричалъ онъ въ бѣшенствѣ. Гость хотѣлъ бѣжать изъ комнаты, но въ дверяхъ уже стояли два дюжихъ крѣпостныхъ дурака. — А! ты не хочешь оканчивать партіи, подлець! бейте его! кричалъ Ноздревъ иступленно Порфирію и Павлушкѣ, и самъ схватилъ въ руку черешневый чубукъ. Чичиковъ находился въ величайшей опасности, но былъ неожиданно спасенъ пріѣздомъ капитана-исправника: хозяинъ, по счастью, но впрочемъ несправедливо, былъ замѣшанъ въ исторію по случаю нанесенія помѣщику Максимову личной обиды розгами въ пьяномъ видѣ“.

— Этотъ типъ честности и гостепріимства *вездѣ между нами*, говорите вы? сердито замѣчаетъ мнѣ, почтеннѣйшій читатель. — Это говорю не я, а поэма, смиренно возражаю я. Отсюда Чичиковъ поѣхалъ къ Собакевичу и „къ запла-танному... „Сильно выражается русскій народъ!..“ то есть, къ Плюшкину, богатымъ помѣщикамъ, которые живутъ точно такъ же, какъ и эти господа, и еще хуже. Плюшкинъ, нечистый скряга, съ удовольствіемъ отдалъ бездѣ-нежно всѣ свои мертвыя души Чичикову, чтобы только не платить за нихъ податей. Собакевичъ, напротивъ, хотѣлъ содрать съ него по сту рублей за душу, но, наконецъ, послѣ долгаго и упорнаго торгу, отдалъ по два съ полтиною. „Чичиковъ долженъ былъ оставить ему: десять, пятнадцать, итого двадцать пять рублей задатку. — Ну, такъ и быть, вотъ вамъ двадцать пять рублей. — Пожа-луйте только росписку. — На что жъ вамъ росписка? — Вы знаете, все-таки лучше. Не ровенъ часъ, все можетъ случиться. — Хорошо, дайте же сюда деньги. — Вотъ онъ

„у меня въ рукѣ. Какъ только напишете расписку, въ эту же минуту возьмите деньги.— Да позвольте, какъ же писать расписку?... надо видѣть деньги! — Чириковъ выпустилъ изъ рукъ бумажки Собакевичу, который при-близившись къ столу, накрылъ ихъ пальцами лѣвой руки, а правою написалъ на доскуткѣ бумаги, что задатокъ, двадцать пять рублей государственными ассигнаціями, полученъ сполна. Написавъ расписку, онъ пересмотрѣлъ еще разъ ассигнаціи. — Бумажка-то старенькая! произнесъ онъ, разсматривая одну изъ нихъ передъ свѣтомъ, немножко разорвана!..

— Фуй, фуй! кричите вы, я слышу, съ ужаснымъ негодованіемъ. Какіе люди! Какія понятія! И это, по вашему, картина нравовъ и характеровъ Россіи, поэма изъ русской жизни, цвѣтки ея поэзіи?

— Все типы, все копіи съ натуры, все созданія, по словамъ „нашей поэмы“, почтеннѣйшій читатель! важно отвѣчаю я. Вы, разумѣется, этого не понимаете. Писать съ натуры—великое искусство! Послушайте сознанія са-мого поэта.

„Счастливъ писатель, который мимо характеровъ скучныхъ, противныхъ, поражающихъ печальною своею дѣйствительностью, приближается къ характерамъ, являющимъ высокое достоинство человѣка, который, изъ великаго омута ежедневно вращающихся образовъ, избралъ одни немногія исключенія, который не измѣнялъ ни разу возвышеннаго строя своей лиры, не ниспускался съ вершины своей къ бѣднымъ, ничтожнымъ своимъ собратьямъ, и, не касаясь земли, весь повергался въ свои далеко отторгнутые отъ нее и возвеличенные образы. Вдвойнѣ завиднѣе прекрасный удѣлъ его: онъ среди ихъ какъ въ родной семьѣ, а между тѣмъ далеко и громко разносится его слава.

„Онъ окурилъ употѣлнымъ куревомъ людскія очи; онъ чудно польстилъ имъ, сокрывъ печальное въ жизни, показавъ имъ прекраснаго человѣка. Все, рукоплеща, несется за нимъ, и мчится вслѣдъ за торжественной его колесницей. Великимъ, всемірнымъ поэтомъ именуютъ его,

„парящимъ высоко надъ всѣми *другими* гениями мира, какъ парить орелъ надъ *другими* высоколетающими. При одномъ имени его, уже *объемются* трепетомъ молодые пылкія сердца, отъвѣтныя слезы ему блещутъ во *всѣхъ* очахъ. Нѣтъ равнаго ему въ силѣ! Но не таковъ удѣлъ, и другая судьба писателя, *дерзнувшего* вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами, и чего не *зрятъ* равнодушныя очи, всю страшную, потрясающую *тину* мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога, и *крѣпкою* силою *неумолимаго* ртыца, *дерзнушаго* выставить ихъ *выпукло* и *ярко* на всенародныя очи! Ему не собрать народныхъ рукоплесканій, ему не *зрѣть* признательныхъ слезъ и единодушнаго восторга взволнованныхъ имъ душъ; къ нему не полетитъ навстрѣчу шестнадцати-лѣтняя дѣвушка съ закружившеюся головою и геройскимъ увлеченіемъ; ему не позабыться въ сладкомъ обаяніи имъ же исторгнутыхъ звуковъ; ему не избѣжать, наконецъ, отъ современнаго суда, *лицемѣрно* *безчувственнаго* *современнаго* суда, который назоветъ ничтожными и низкими имъ *летянняя* *созданья*, отведетъ ему *презрѣнный* *уголъ* въ *ряду* писателей, *оскорбляющихъ* *человѣчество* (Vous l'avez voulu, Georges Dandin!—невольное восклицаніе почтеннѣйшаго читателя), придастъ ему качества имъ же изображенныхъ героевъ, отниметъ отъ него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. *Ибо* не признаетъ *современный* судъ, что равно чудны стекла, и *озирающія* солнце, и передающія движенія незамѣченныхъ *наѣкомыхъ*; *ибо* не признаетъ *современный* судъ, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданія, *ибо* не признаетъ *современный* судъ, что *высокій*, *восторженный* *смѣхъ* *достойнъ* *стать* *рядомъ* съ *высокимъ* лирическимъ движеніемъ (тутъ я почтеннѣйшаго читателя толкаю локтемъ:—Слышите ли? слышите?.. а что я говорилъ) и что цѣлая *пропасть* между нимъ, этимъ *высокимъ* *смѣхомъ*, и кривляньемъ

„балаганнаго скомороха! (Пропастъ въ полтора дюйма ширины! — восклицаніе почтеннѣйшаго читателя.) Не признавать *сею* современный судъ, и все обратить въ упрекъ и поношеніе *непризанному* писателю; безъ раздѣленья, безъ отвѣта, безъ участія, какъ безсемейный путникъ останется онъ одинъ посреди дороги. Сурово его поприще и горько почувствуетъ онъ свое одиночество.

„И долго еще опредѣлено мнѣ *чудной властью* итти объруку съ моими странными героями, озирать всю *громадно-несущуюся* жизнь, озирать ее сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы! И далеко еще то время, когда инымъ *ключомъ грозная вьюга вдохновенья* подымется изъ *облеченной въ святой ужасъ и въ блестанье главы*, и почують въ смущенномъ трепетѣ величавый громъ другихъ рѣчей... Въ дорогу! въ дорогу! прочь набѣжавшая на чело морщина и строгій сумракъ лица! Разомъ и вдругъ окутемся въ *жизнь со всей ея беззвучной трескотней и бубенчиками*, и посмотримъ что дѣлаетъ *Чичиковъ*.

— Бѣдный писатель! говорите вы съ печальнымъ вздохомъ.

Онъ Чичикова принимаетъ за *жизнь!* Онъ *летитъ* такія *созданія!* О, *беззвучная трескотня!* Бѣдный!.. тысячу разъ бѣдный!.. Чѣмъ это кончится!.. О, тщеславіе! о, самолюбие!.. Неужели же эту дѣтскую риторику вы принимаете за мысли? спрашиваете вы меня.

Да! Во мнѣ эта беззвучно-трескотная тирада производитъ совсѣмъ другое впечатлѣніе. Я восклицаю съ торжественною важностію:—Да! это, рѣшительно, первый современный поэтъ! эта поэма, рѣшительно, самое глубоко-мысленное его твореніе! Какая сила мысли!.. Но я не стану утомлять васъ, почтеннѣйшій читатель, дальнѣйшими подробностями знаменитой поэмы нашего знаменитаго поэта. Долго еще описываетъ онъ подобныя похожденія своего героя, все тѣмъ же чудеснымъ слогомъ, тѣмъ же образovanнымъ языкомъ, отъ котораго, какъ вы изволите говорить, надо заткнуть уши и — *больше ничего!* и однажды до того забывается въ своихъ вдохновеніяхъ, что самъ



вскрикиваетъ. „Виновать! кажется, изъ устъ нашего героя излетѣло слово, подмѣненное на улицѣ. Что жъ дѣлать? таково на Руси похождение писателя. Впрочемъ, если слово изъ улицы попало въ поэму, не поэтъ виновать, виноваты читатели, и прежде всего читатели высшаго общества: отъ нихъ первыхъ не услышишь ни одного порядочнаго русскаго слова, а французскими, нѣмецкими и англійскими они, пожалуй, надѣляютъ въ такомъ количествѣ, что и не захочешь, и надѣляютъ даже съ сохраненіемъ всѣхъ возможныхъ произношеній, по-французски въ носъ картавя, по англійски произнесутъ, какъ *сѣдуютъ птиць*, и даже фizioномію сдѣлаютъ птичью, и даже посмѣются надъ тѣмъ, кто не сумѣетъ сдѣлать птичьей фizioноміи; а вотъ только русскимъ ничѣмъ не надѣляютъ, развѣ изъ патріотизма выстроятъ для себя на дачѣ избу въ русскомъ вкусѣ. Вотъ каковы читатели высшаго сословія, а за ними и всѣ причитающіе себя къ высшему сословію! А между тѣмъ какая взыскательность, хотятъ непременно, чтобы все было написано языкомъ самымъ строгимъ, очищеннымъ и благороднымъ; словомъ, хотятъ, чтобы русскій языкъ самъ собою спустился вдругъ съ облаковъ, обработанный какъ слѣдуетъ, и *сталъ бы имъ прямо на языкъ, а мы бы больше ничего, какъ только разинуть рта, да выставить его*“.

Послѣ этого вы рѣшительно объявляете мнѣ, что не хотите больше слушать „нашей поэмы“. Вы утверждаете, что это просто ужасъ, *больше ничего*. Вы доказываете, что для писателя, съ истиннымъ и прекраснымъ дарованіемъ, такія грубости—неизгладимое пятно, *больше ничего*. Вы говорите, что, сколько вамъ извѣстно, въ Россіи существуютъ многія книги, писанныя языкомъ изящнымъ, благороднымъ, очищеннымъ: слѣдовательно, если такой писатель не умѣетъ выразиться такъ же вѣжливо и опрятно, какъ выражались другіе, то виною этого не Русскіе и не ихъ языкъ, а то, что онъ безвкусникъ, *больше ничего*. И я, право, не знаю, что отвѣчать вамъ. Въ короткихъ словахъ опишу вамъ остальные похождения нашего героя: вы,

можетъ быть, еще переѣните свое невыгодное мнѣніе. Чичиковъ, накупивъ до четырехъ сотъ несуществующихъ душъ у разныхъ помѣщиковъ, возвращается въ городъ, изъ котораго выѣхалъ. Тутъ объ немъ вдругъ пролетаетъ молва, будто онъ богатъ, и въ городѣ начинается страшная суматоха, точное повтореніе той, какую вы видѣли въ нѣкоторой комедіи подъ заглавіемъ „Ревизоръ“. Какъ Хлестаковъ у всѣхъ и каждого забираетъ деньги, даже по двугривенному, такъ Чичиковъ ко всѣмъ и каждому ѣздитъ обѣдать и покупать послѣ обѣда мертвыя души. Для довершенія сходства, у него есть и слуга, такой же, какъ у Хлестакова, съ тою только разницею, что слуга Чичикова, какъ вы сами видѣли, еще грязнѣе: но вы не видали даже и десятой части той, какъ вы называете, тошноты, которую онъ всегда наводитъ своимъ появленіемъ. За Чичиковымъ начинаютъ ухаживать: городъ и предмѣстья хотятъ выйти за него замужъ; онъ производитъ впечатлѣнія, несмотря на свой брусниковый фракъ. Вотъ у губернатора балъ. Чичиковъ — въ числѣ приглашенныхъ; губернскія дамы вѣшаются къ нему на шею: одна изъ нихъ, еще за нѣсколько дней до бала, прислала ему любовное письмоцо, и онъ старается угадать, которая. Между тѣмъ въ числѣ гостей находится и Поздревъ: какъ вы думаете, почтеннѣйшій читатель, что онъ тамъ дѣлаетъ?.. онъ садится на полъ и ловитъ за ноги тапчущихъ дамъ... у губернатора. Вотъ поэзія! Вотъ изобрѣтеніе! Выше этого я ничего не знаю въ чудесахъ общественной жизни, обличенныхъ въ „перлъ ледяннаго созданія“. „Наконецъ въ городѣ узнали, что Чичиковъ скупаетъ мертвыя души. Коробочка прискакала изъ деревни, справится въ городѣ, почему ходятъ мертвыя души, и не обманулъ ли ее Чичиковъ. Начались толки. Герой замѣтилъ опасность своего положенія и уѣхалъ какъ „Ревизоръ“. Тѣмъ оканчивается первая часть поэмы.—А знаете ли остальное? спрашиваете вы меня.— Не знаю, почтеннѣйшій читатель! смѣренно отвѣчаю я. Откуда мнѣ знать будущее! Да и какъ можно угадать полетъ гения!

— Такъ я вамъ скажу, Чичиковъ, во второй части, потребуетъ выдачи себѣ своей покунки отъ тѣхъ, которые продали ему жертвы души, не упомянувъ въ купчихъ о томъ, что они уже умерли. Онъ заведетъ съ ними процессъ, возьметъ съ нихъ по двѣ тысячи рублей за каждую душу, или заставитъ ихъ выдать себѣ взамѣнъ четыреста живыхъ и вдоровыхъ крестьянъ. Анекдотъ старый и всѣмъ извѣстный. Вся разница между нимъ и вашей поэмой та, что, по словамъ анекдота, эта продѣлка случилась съ однимъ только помѣщикомъ, тупымъ и недалъновиднымъ человекомъ, который, будто бы, въ нетрезвомъ видѣ, позволилъ кому-то обмануть себя такъ грубо и несбыточно, а здѣсь, въ вашей поэмѣ, герой находитъ цѣлую дюжину такихъ неопостижимыхъ глупцовъ, и съ каждымъ повторяетъ одну и ту же продѣлку до утомленія. — Но согласитесь, почтеннѣйшій читатель, говорю я: что, несмотря на всѣ ваши замѣчанія, которыя можетъ быть и основательны, это удивительная поэма, поэма, названная поэмой *совсѣмъ не для шутки*, первая поэма въ мірѣ! Вы не читали визита Чичикова къ Собакевичу и Плюшкину. Чудо, какъ это остроумно и смѣшно! Настоящій лирическій смѣхъ! Поэма въ полномъ смыслѣ слова!

— Я соглашусь, говорите вы мнѣ, не прежде какъ услышавъ ваши отвѣты на вопросы, которыя намѣренъ я предложить вамъ. Я хочу разсуждать съ вашимъ необдуманымъ или поддѣльнымъ восторгомъ сократически. Читали-ль вы „творенія“ Поль-де-Кока? — Имѣлъ честь. — Какіе сюжеты служатъ имъ основаніемъ? — Сюжеты того же роду, какъ и сюжетъ нашей великой поэмы, какъ, вообще, сюжеты „твореній“ нашего поэта. — Какіе герои дѣйствуютъ у Поль-де-Кока? — Такіе же, какъ и у величайшаго пэвъ современныхъ поэтовъ. — Такіе же грязные, хотите вы сказать. Но не такіе сплошные плуты и глупцы. Не правда ли? — Не смѣю вамъ противорѣчить, почтеннѣйшій читатель. Въ самомъ дѣлѣ, почти всѣ герои Поль-де-Кока только смѣшные оригиналы: они, вообще, добряки, честные и чувствительные.

— И, следовательно, болѣе занимательные, чѣмъ это скопище отъявленныхъ глупцовъ и плутовъ. Такъ ли? — Согласенъ. — Они сверхъ того очень разнообразны. Приключенія ихъ всегда натуральны и почти всегда замысловаты. Многіе женскіе характеры чрезвычайно милы и трогательны. Нерѣдко добродѣтель сіяетъ какъ алмазь въ этой кучѣ всякаго сору. При всей испорченности воображенія, при всей неблагопристойности сценъ, направленіе романа у Поль-де-Кока болѣею частью бываетъ нравственное. Въ его твореніяхъ вообще много сильнаго интересу. Въ твореніяхъ же вашего поэта вы не покажете мнѣ ничего подобнаго: они состоятъ изъ набора каррикатуръ и гротесковъ, часто набросанныхъ съ большимъ юморомъ, но безъ связи между собою и безъ интересу для читателя. — Согласенъ. Что правда, то правда! — Но только, къ сожалѣнію, все, что движется у Поль-де-Кока, говоритъ точно такимъ же языкомъ, какъ герои вашей поэмы. — О! на это я никакъ не согласенъ. У Поль-де-Кока герои обыкновенно изъясняются одною только начальною буквою слова, послѣ которой они ставятъ десятокъ точекъ. У нашего поэта, напротивъ, всѣ дѣйствующія лица говорятъ и бранятся полною прописью, не выпуская ни одной буквы, и еще съ примѣчаніями внизу страницы. Это гораздо яснѣе! — Положимъ, что это составляетъ особенное и неподражаемое преимущество вашего поэта. Теперь позвольте спросить васъ объ одномъ весьма важномъ въ словесности предметѣ: какимъ слогомъ писаны творенія Поль-де-Кока относительно къ французскому языку?

— Ужаснымъ. Въ этомъ нѣтъ сомнѣнія! — Думаете ли вы, что слогъ твореній Поль-де-Кока ужаснѣе въ отношеніи къ французскому языку, чѣмъ слогъ этой поэмы въ отношеніи къ русскому? — Нѣтъ, не думаю. Я полагаю, что отношенія ихъ равны.

— Такъ скажите же мнѣ теперь, почему Поль-де-Кокъ при равной съ вашимъ авторомъ мѣрѣ неопрятности и безвкусія, но обладая удачнѣйшимъ изобрѣтеніемъ сильнѣйшимъ интересомъ и, вообще, большимъ талантомъ, никогда

не вздумалъ называть своихъ нечистоплотныхъ твореній поэмами? Почему никогда не пускается онъ въ эти смѣшныя риторическія тирады о своемъ литературномъ величій?

— О! это совсѣмъ другой вопросъ, почтеннѣйшій читатель! Поль-де-Кокъ живетъ въ старинной, огромной и опытной литературѣ, видитъ все ничтожество дѣлъ текучей словесности, всю суетность славы, добываемой второстепенными талантами, трудящимися въ „низкомъ и ничтожномъ родѣ“, и онъ знаетъ свое мѣсто въ числѣ писателей. Да ему и нельзя не знать своего мѣста, потому что это мѣсто всѣ знаютъ. Тутъ ужъ ни себя ни другихъ не увѣришь, что, написавъ поль-де-коковскій романъ поль-де-коковскою прозою, вы написали „поэму“ и заняли мѣсто между Гомеромъ и лордомъ Байрономъ. Въ литературѣ, обладающей опытностію, это невозможно. Вы молодой и неопытный—дѣло другое!

— Вы, кажется, хотите сказать этимъ, что въ молодой и неопытной литературѣ всякій бредъ напыщеннаго тщеславія имѣетъ себѣ полный просторъ, и нѣтъ такой нелѣпости, въ которой бы, съ помощью смѣлости, нельзя было увѣрить меня, благосклоннаго читателя?—Нѣтъ, этого я не говорю. Какъ можно!.. сохрани Господи!—Слѣдовательно, вы полагаете, что въ нашей начинающей литературѣ даже и такой писатель какъ Поль-де-Кокъ, но еще съ меньшею долею таланта, можетъ безъ зазрѣнія совѣсти провозгласить себя *поэтомъ*? что даже и такой романъ, какъ поль-де-коковскій имѣетъ полное право прослыть у насъ *поэмою*? Вы, рѣшительно, это полагаете!—Ноуже ли я такъ полагаю?—Да!.. это неизбѣжно!—Вотъ этого я никакъ не думалъ! Но если я такъ полагаю, то позвольте мнѣ замѣтить, что вы слишкомъ унижаете родъ и творенія Поль-де-Кока. Правда, онъ романовъ своихъ не называетъ *поэмами*, по чѣмъ же они не поэмы! Кто запретитъ намъ назвать ихъ поэмами? Я говорю, что всѣ романы Поль-де-Кока—чудесныя поэмы, совершенно такія же поэмы, какъ „наша поэма“, и вы не увѣрите меня въ противномъ всею вашей діалектикой.

— О! если вы съ этой стороны смотрите на вещи, отвѣчаете вы мнѣ въ замѣшательствѣ: то мы очень скоро согласимся съ вами. Назовемъ Илиаду романомъ Поль-де-Кока, а „Жана“ поэмою Гомера, и весь споръ рѣшится. Скажу вамъ болѣе: романы Поль-де-Кока, какъ книги, стоятъ выше всѣхъ возможныхъ поэмъ. Посмотрите, съ какою жадностью пожирають эту литераторскую нечистоту всѣ классы читателей! какимъ лирическимъ смѣхомъ сопровождается это чтеніе въ кухняхъ и переднихъ! какое любопытство возбуждаютъ эти соблазнительныя сцены въ молодой скромной женщинѣ и въ старомъ незастѣнчивомъ философѣ! Отъ мелочной лавки до ученаго кабинета, отъ лакейской до будуара, поискавъ хорошенько, вездѣ найдете творенія Поль-де-Кока, вездѣ ихъ ждуть, читають, хоть и прячутся съ ними. „Похожденіямъ Чичикова“ я предсказываю такой же успѣхъ. Объ нихъ явно будутъ говорить съ гнѣвомъ, но между тѣмъ будутъ читать ихъ съ тайнымъ наслажденіемъ. Я не исключую и себя изъ числа такихъ читателей. Для писателей, не разбирающихъ средствъ къ успѣху, больше, кажется, и не нужно. Ваша „поэма“ достигнетъ своей цѣли. Объясните мнѣ только, отчего люди такъ падки на книги, которыя сами же они порицають? — Ахъ, Боже мой, почтеннѣйшій читатель! вскрикиваю я въ отчаяніи: вы совершенно запутываете меня своими вопросами! Я вижу, къ чему вы меня ведете. Вы хотите разочаровать меня, убить мой восторгъ, уничтожить мечту мою. Остановитесь, умоляю васъ! Не судите о книгѣ по ея первому тому. Подождите двухъ остальныхъ частей. Тогда-то, тогда-то докажу я вамъ, что это—поэма, названная *поэмой не въ шутку!*

Слава Богу! почтеннѣйшій читатель согласился на мое предложеніе. Дѣло остается першешеннымъ до выхода остальныхъ томовъ.

\*)—Литературный разговоръ, подслушанный въ книжной лавкѣ.

Какихъ ни вымышляй пружинъ,  
Чтобъ мужу бую умудриться:  
Не можно вѣкъ носить личинъ,  
И истина должна открыться!

Державинъ.

„А! это вы? наслыу-то мы съ вами встрѣтились! Ну, что, какъ? Здоровы-ли? что новаго?“.. Такъ одинъ молодой человѣкъ, давно уже сидѣвшій въ книжной лавкѣ, съ книжкою „Библиотеки для Чтенія“ въ рукахъ, приветствовалъ другого, только-что вошедшаго въ лавку, съ живостью бросившись къ нему навстрѣчу и съ жаромъ пожимая ему руку. Этотъ молодой человѣкъ давно уже поглядывалъ на меня, съ явнымъ желаніемъ заговорить со мною, — должно быть о статьѣ, которую читалъ. Эта статья, казалось, живо занимала его, потому что онъ и улыбался, и смѣялся; по временамъ съ устъ его слетали неопредѣленныя восклицанія. Онъ даже заговорилъ со мною о погодѣ; но я, не любя заводить знакомствъ (ибо у насъ на Руси разбѣяться съ незнакомымъ человѣкомъ двумя-тремя фразами о погодѣ, значить иногда нажить пріятели и „моншера“), отдѣлался отъ него неопредѣленнымъ „да“ и т. п. Тѣмъ живѣе была радость молодого человѣка, при видѣ знакомаго, съ которымъ онъ давно не видался, и которому могъ излить ощущенія, возбужденныя въ немъ статью. У нихъ сейчасъ-же завязался живой разговоръ, который мнѣ показался столь интереснымъ, что я почелъ не излишнимъ довести его до свѣдѣнія публики. Описаніе наружности и характера обоихъ персонажей этой маленькой сцены нисколько не послужило бы къ ея уясненію, и потому замѣтимъ только слегка, что молодой человѣкъ, встрѣтившій съ такою живостью своего знакомаго, былъ нѣсколько вертлявъ, говорилъ скоро и громко, какъ-бы у себя дома, а лицо его казалось совершеннымъ выраженіемъ легкости и добродушія; знакомый же его отличался

\*) „Отечественныя Записки“ 1842 г., т. 24, отд. VIII.

отъ него какою-то холодною важностью въ рѣчи и въ манерахъ. Чтобъ лучше слѣдить за ихъ разговоромъ, назовемъ перваго господиномъ А., а другаго господиномъ Б.

А. Что новаго? — Да вѣдь вы знаете, что я всегда запасался имъ отъ васъ же. Вы, кажется, что-то читали въ „Библиотекѣ для Читанія“?

Б. Ахъ, да! — статью о „Мертвыхъ Душахъ“. Чудо, прелесть! Въ иныхъ мѣстахъ хотя и вздоръ, но зато, какое во всемъ остроуміе! Такой статьи давно не бывало! Вотъ ужъ можно сказать: *писано жемьью...*

А. Да, правда...

Б. Жанень! Рѣшительный Жанень!

А. Ну, ужъ вотъ этого-то я не скажу. Жанень — болтунъ; чрезвычайный успѣхъ его основанъ на легкости и на отсутствіи всякихъ твердыхъ и глубокихъ нравственныхъ началъ въ обществѣ, для котораго онъ болтаетъ нынче совсѣмъ не то, что болталъ вчера, а завтра будетъ болтать совершенно противное тому, что болталъ вчера; но Жанень все-таки болтунъ остроумный, и, при другомъ обществѣ, онъ могъ бы сдѣлать изъ своего таланта лучшее, благороднѣйшее употребленіе. Но каковъ бы ни былъ Жанень и теперь, его болтовня всегда блещетъ умомъ и остроуміемъ, хоть и совершенно виѣшними, и отличается *тономъ порядочныхъ людей*. Остроуміе Жанена заключается совсѣмъ не въ томъ, чтобъ, выписавъ изъ разбираемаго романа пѣсколько фразъ, плоскихъ потому именно, что онѣ вложены авторомъ въ уста изображаемаго имъ человѣка дурного тона, приписать эти фразы самому автору и воскликнуть: *такіе періоды настоящие свинтусы!* Истинное остроуміе, хотя бы и легкое и мелкое, не искажаетъ умышленно предмета, чтобъ возбудить во что бы то ни стало грубый смѣхъ площадной толпы: оно находитъ смѣшное въ своей манерѣ видѣть предметы, не уродуя ихъ.

Б. Это, пожалуй, и такъ; да вѣдь дѣло-то въ успѣхѣ, и *bien riga qui riga le dernier!* Осуждать такое остроуміе могутъ многіе съ большою основательностью; а острить такъ сами едва-ли могли бы, если бъ и хотѣли.



А. По крайней мѣрѣ, нужна для этого большая рѣшительность. Попробуйте выдумать на кого угодно смѣшную нелѣпицу — всё расхохочутся, и никто не захочет наводить справки, правду вы сказали, или ложь. Повторяйте такія выдумки чаще и насчетъ всѣхъ и каждого: васъ будутъ презирать, а слушать и смѣяться не перестанутъ. Но всему есть мѣра и границы. Одно и то же надѣдаетъ, а выдумывать цѣлую жизнь разнообразныя литературныя лжи невозможно, и какъ скоро замѣтятъ, что вы повторяете самого-себя, то перестанутъ и смѣяться, начнутъ зѣвать. Это я говорю не по отношенію къ журналу, а какъ общую истину, которая удобно прилагается ко многимъ житейскимъ дѣламъ.

Б. Такъ вы совершенно отказываете въ остроуміи рецензіямъ, „Б. для Ч.“?

А. Нисколько. Когда она не увлекается пристрастіемъ, а главное, остричь надъ тѣмъ, что дѣйствительно ей подъ силу, и о чемъ серьезно не стѣнитъ сказать и двухъ словъ, — ея рецензіи бываютъ очень забавны. Такъ, напр., нельзя было не улыбнуться, читая въ „Б. для Ч.“ разборъ, или лучше сказать, надгробную рѣчь надъ прахомъ умершихъ прежде своего рожденія стихотвореній какого-то Бочарова. Но когда *такое-же* остроуміе прилагается ею къ предметамъ высшаго значенія, которые почему-то всегда не по сердцу этому журналу, тогда оно по необходимости становится плоскимъ и скучнымъ. Важное само-по-себѣ нельзя сдѣлать смѣшнымъ.

Б. Но что ни говорите, а въ статьѣ о „Мертвыхъ Душахъ“ много ѣдкости ..

А. Прибавьте — бессильной, для предмета, слишкомъ высоко въ отношеніи къ ней стоящаго. Я не вижу ровно ничего остроумнаго ни въ сближеніи плохихъ стихотвореній площаднаго писака съ поэмою Гоголя, ни въ томъ, что рецензентъ называетъ „поэмами“ разныя медицинскія сочиненія. Все это мнѣ кажется очень — плоскимъ. Разберите-ка этотъ разборъ съ начала до конца, по порядку. Что это такое? — Послушайте: „Вы видите меня въ такомъ

восторгъ, въ какомъ еще не видали. Я жмучу, трепещу, прыгаю отъ восхищенія... Пока довольно; остановимся на „пыхтѣнн“ рецензента. „Пыхчу“ есть настоящее время глагола „пыхтѣть“, который значить то же, что „тяжело дышать“. Но послѣднее выраженіе употребляется въ отношеніи къ людямъ, а первое — въ отношеніи къ лошадямъ и коровамъ. Видите-ли: явное незнаніе русскаго языка?... Если же слово „пыхтѣть“ и употребляется въ отношеніи къ людямъ, то не иначе, какъ въ унизительно-комическомъ тонѣ, для выраженія волненія крови и желчи, производимаго страстями, какъ-то: пристрастіемъ, и т. п... Итакъ, что же хорошаго въ рецензін, которая почти началась словомъ „пыхчу“?

— Но будемъ слѣдить далѣе за „пыхтѣннемъ“ аристарха. Ему не понравилось, что Гоголь назвалъ свое сочиненіе „поэмою“, — и вотъ онъ заставляеть своихъ читателей, „свидѣтелей его бѣшенаго восторгу“, спрашивать у него, пыхтящаго рецензенту, какимъ размѣромъ писана поэма, давая тѣмъ знать, что онъ, въ своемъ эстетическомъ пыхтѣннн, написанной прозою поэмы не признаеть „поэмою“. Все это, дѣйствительно, очень забавно и возбуждаеть смѣхъ, но только совсѣмъ не надъ авторомъ поэмы, а развѣ надъ пыхтящею рецензіею. И мнѣ кажется, что я уже слышу громкій хохотъ свидѣтелей ея бѣшенаго восторгу, оттого, что въ поэмѣ нѣтъ никакого размѣру, а можетъ и отъ смѣшной претензін пыхтящаго рецензенту преобразовать правописаніе языку, который чуждъ ему, и котораго духу онъ совсѣмъ не знаетъ. Выписка первой страницы поэмы исполнена пустыхъ придирокъ къ слогу, изъ которыхъ главная состоитъ въ томъ, что Гоголь лучше его, пыхтящаго рецензенту, знаетъ употребленіе родительнаго надежу и не хочетъ слѣдовать его нелѣпой орфографіи. „Поэтъ (воскликаетъ или „пыхтитъ“ рецензентъ)“, поэтъ—существо всемірное; онъ выше времени, пространства и грамматики!“ Можетъ быть, это восклицаніе, или это „пыхтѣннн“ и очень—остроумно, а главное, очень—ново и оригинально; но только оно подтверждаетъ мое убѣ-

жденіе въ волненіи „Б. для Ч.“: не она ли, вотъ уже ровно *десятый* годъ, ежемѣсячно смѣется надъ грамматикой и доказываетъ, что эта наука изобрѣтена педантами и дураками? А теперь ей пригодилась, видно, и грамматика: она теперь глубоко уважаетъ эту науку, такъ кстати подвернувшюся ей подъ руку, чтобъ было чѣмъ швырнуть въ страмного для нея писателя, какъ нѣкогда, съ гораздо большимъ усиліемъ, швырялъ ею г. Гречъ въ распорядителя „Библиотеки для Чтенія“. И вотъ, для доказательства своей силы въ русской грамматикѣ, рецензентъ спѣшитъ употребить слово „запаховъ“, какъ онъ употребляетъ слово „мозги“, „мечтъ“ и т. п. Въ выраженіи Гоголя: „пока мѣстъ слуги управлялись и возлились“, онъ подчеркиваетъ слово „возлились“, давая тѣмъ знать, что оно, почему-то, будто-бы, не хорошо, а почему именно, это пока секретъ рецензенту, который онъ, вѣроятно, когда-нибудь откроетъ „свидѣтелямъ его бѣшеннаго восторгу“. Впрочемъ, всѣхъ его *подчеркиваній* не перечтешь: они многочисленны и разнообразны. Но вотъ слѣдуетъ самое убѣдительное доказательство, какъ сильна наша рецензентъ въ русскомъ языкѣ— послушайте: „Во всѣхъ словенскихъ языкахъ, какіе я знаю, *носъ* имѣетъ въ родительномъ надежѣ *носа*, а *шумъ*, *вътеръ* и *дымъ* имѣютъ *шуму*, *вътру*, *дыму*“. Скажите, Бога ради, что это такое: шутка, мистификація, или просто „пыхтѣнье“? Я не знаю, да и знать не хочу, какъ въ польскомъ или другомъ словянскомъ языкѣ склоняются въ родительномъ надежѣ слова: *носъ*, *шумъ*, *вътеръ* и *дымъ*; но, какъ природный Русскій, знаю достовѣрно, что слова эти въ русскомъ языкѣ принимаютъ въ родительномъ надежѣ окончаніе равно *п а* и *у*, а когда второе именно, на это нѣтъ постояннаго правила, но это слышитъ ухо природно-Русскаго, слышитъ—и никогда не обманывается. Всякій Русскій скажетъ, какъ у Гоголя: „Волосъ, вылѣзшій изъ носу“, и ни одинъ Русскій не скажетъ: „Волосъ, вылѣзшій изъ носа.“ Точно также должно говорить *порывъ вътри*, а не *порывъ вътру*. Итакъ знаніе другихъ языковъ не послужило рецензенту облегченіемъ въ знаніи

языка русскаго, и нѣтъ, съ-гора, вздумалъ перекраивать русскій языкъ на свой ладъ, и, не зная его, принялся учить ему Русскіхъ!..

Б. Однакожъ, согласитесь, что языкъ у Гоголя часто грѣшитъ противъ грамматики.

А. Соглашаюсь; а вы, за это, согласитесь, что не рецензенту же „Б. для Чт.“ упрекать его въ этомъ. Я далекъ отъ того, чтобъ ставить Гоголю въ защиту неправильность языка, которая тѣмъ досаднѣе, что у него она явно происходитъ не отъ незнанія, а отъ небрежности, отъ нерасположенія потрудиться лишнюю четверть часа надъ написанной страницей. Но у Гоголя есть нѣчто такое, что заставляетъ не замѣчать небрежности его языка, — есть *слозь*. Гоголь не пишетъ, а рисуетъ; его изображенія дышатъ живыми красками дѣйствительности. Видишь и слышишь ихъ. Каждое слово, каждая фраза рѣзко, опредѣленно, рельефно выражаетъ у него мысль, и тщетно бы хотѣли вы придумать другое слово, или другую фразу для выраженія этой мысли. Это значитъ имѣть *слозь*, который имѣютъ только великіе писатели, и о которомъ разсуждать также не дѣло „Б. для Ч.“, какъ и разсуждать о русскомъ языкѣ, котораго она не знаетъ, что можно доказать изъ каждой ея страницы, наполненной всяческихъ обмолвокъ противъ духа языка, ошибокъ противъ его грамматики, барбаризмовъ, солецизмовъ и, въ-особенности, полонизмовъ.

Б. Это совершенно правда: г. Гречъ давно это доказалъ въ своей брошюрѣ—помните?.. Я вѣдь и самъ вижу, что грамматическія-то обвиненія всѣ выдуманы; но рецензентъ такъ смѣло колетъ ими и такъ смѣшно умѣетъ ихъ выставять, что тѣмъ болѣе дивнисься его неподражаемому остроумію... Впрочемъ, если грамматическія нападки рецензента для васъ и ложны, и пусты, и скучны, перестанемъ говорить о нихъ, перейдемъ къ другимъ пунктамъ обвиненій, которые, надѣюсь, будутъ посущественнѣе. Мнѣ любопытно узнать, что-то вы на нихъ скажете.

А. Да что уже и говорить мнѣ, если вся рецензія устремлена противъ слогу?..

Б. Нѣтъ, не противъ одного слова, но и противъ дурного тона сочиненія, такъ не кстати названнаго „поэмою“, противъ странной претензій автора видѣть представителей и героевъ русской жизни въ людяхъ низкихъ и глупыхъ; противъ высокаго мнѣнія о самомъ себѣ со стороны автора, который, по таланту, не можетъ стать на ряду даже съ Поль-де-Кокомъ... Что касается до меня, я со всѣмъ этимъ соглашаюсь только въ-половину, потому что, такъ хочеть „Б. для Чт.“, а по моему мнѣнью, и Гоголь чего-нибудь да стѣдитъ. И потому, повторяю: я держусь середины...

А. Что рецензентъ насмѣхается надъ словомъ „поэма“ въ приложеніи къ „Мертвымъ Душамъ“, это происходитъ отъ-того, что онъ не понимаетъ значенія слова „поэма“. Какъ видно изъ его намековъ, поэма непременно должна воспѣвать народъ въ лицѣ ея героевъ. Можетъ быть, „Мертвыя Души“ и названы поэмою въ этомъ значеніи; но произнести какой-нибудь судъ надъ ними, въ этомъ отношеніи, можно только тогда, когда выйдутъ двѣ остальные части поэмы.

Б. Рецензентъ самъ говоритъ объ этомъ въ концѣ рецензій...

А. Да, но сперва разругавъ за это поэму, въ началѣ и серединѣ рецензій... Что касается до меня лично, я пока готовъ принять слово „поэма“, въ отношеніи къ „Мертвымъ Душамъ“, за разнзначительное слову „твореніе“. Въ этомъ значеніи, всякое произведеніе поэзіи есть поэма—п ода, в ѣпснѣя, и трагедія, и комедія. Но не въ этомъ дѣло, а въ томъ, что, опираясь на словѣ „поэма“, стоящемъ въ заглавіи сочиненія Гоголя, рецензентъ очень—наивно и очень—невинно силится бросить на автора но совсѣмъ прохладную тѣнь неуваженія, будто-бы, къ русскому обществу, котораго репутація такъ дорога сердцу рецензенту, не знающаго русскаго языка и русской грамматики... Иначе, какъ-же вы поймете „тонкіе“ намеки рецензенту на то, что авторъ „Мертвыхъ Душъ“ будто-бы „при каждомъ *неблаговидномъ* случаѣ наводитъ рѣчь на Русскихъ“. Какой же этотъ „неблаговидный случай“?—Авторъ просить у читателей из-

виненія за то, что знакомитъ ихъ съ Петрушкою и Селифаномъ, людьми Чичикова, „зная по опыту, какъ неохотно они знакомятъ съ низкими сословіями“. Но чтобъ уяснить это съ умысломъ затемненное рецензентомъ дѣло, — вотъ „Мертвыя Души“ — я прочту вамъ изъ нихъ все это мѣсто, изъ котораго рецензентъ взялъ только то, что нужно было ему для его цѣли. Выслушайте:

„Таковъ уже русскій человѣкъ: страсть сильная зазнаться съ тѣмъ, который бы хотя однимъ чиномъ былъ его выше, и шаночное знамство съ графомъ или княземъ для него лучше всякихъ тѣсныхъ дружескихъ отношеній. Авторъ даже опасается за своего героя, который только коллежскій совѣтникъ. Надворные совѣтники, можетъ быть, и познакомятъ съ нимъ, но тѣ, которые подобрались уже къ чиnamъ генеральскимъ, тѣ, Богъ вѣсть, можетъ быть, даже бросятъ одинъ изъ тѣхъ презрительныхъ взглядовъ, которые бросаются гордо человѣкомъ на все, что ни прасмыкается у ногъ его, или, что еще хуже, можетъ быть, пройдутъ убійственнымъ для автора невниманіемъ“.

И такъ, очевидно, что авторъ, съ свойственнымъ ему юморомъ, и притомъ очень деликатно, кольнулъ слабость нашего общества къ знакомству съ чинами и отлпчіями, а не людьми. Во-первыхъ, это правда; во-вторыхъ, это особенно не унижаетъ Русскихъ передъ другими народами, особенно, напр., передъ Нѣмцами, которые отчаянно больны чиноманіемъ, хотя и далеко обогнали насъ въ цивилизаціи и просвѣщеніи; въ-третьихъ, Петрушка и Селифанъ послужили для автора только предлогомъ къ нападеніямъ на чиноманію, и онъ совсѣмъ не думалъ упрекать русское общество за то, что оно не хочетъ знаться съ кучерами и лакеями. Судите же, послѣ этого, изъ какого *святаго* источника вытекло негодованіе незнающаго по-русски рецензента, негодованіе, которымъ такъ преисполнены эти его строки:

„Помилуйте! вскрикиваетъ *почтенныйиий* (гостиндворскій эпитотъ!) читатель, но отнимая пальца отъ своего *почтеннѣйшаго* носа (острота!), который онъ имѣетъ обы-

кновение, *важнѣе* отъ такихъ *воздуховъ* (острота и грамматическая ошибка!): что вы это, съ вашимъ поэтомъ, *при каждомъ неблаговидномъ случаѣ, наводите рѣчь на Русскихъ!* Въ чемъ и за что вы *безпрерывно ихъ обвиняете?* Да они очень хорошо дѣлають, что не хотятъ знакомиться съ вашими нечестными героями, отъ которыхъ я самъ принужденъ поминутно *закрывать носъ и глаза рукою*. Если порядочные Русскіе не охотно сближаются съ людьми низкаго сословія, причиною этого долженъ быть распространившійся между ними благородный вкусъ къ изяществу, опрятности, образованнымъ ощущеніямъ, а не мнимый *народный порокъ*, не всеобщая слѣсъ, не безразсудная гордость. *Надъ чѣмъ вы тутъ насмѣхаетесь? Куди наровите свои эпиграммы!* (не по-русски!). *Страсть зазнаться!.. Да чтобы по случаю Петрушки, упрекать цѣлый народъ въ страсти зазнаваться* (у Гоголя: зазнаться съ тѣмъ, кто хотя однимъ чиномъ повыше—это рецензентомъ выключено, а глаголъ „зазнаться“ повороченъ на глаголъ „зазнаваться“!!..), *надо предположить, будто весь народъ ничѣмъ не лучше этого грубаго и грязнаго челоуька и только понапрасну, изъ гордости не узнаетъ въ немъ себя равнаго!* Но это не правда. Вы систематически унижаете русскихъ людей. Я (о!...) этого не люблю, и не хочу слушать. Я самъ обожаю чистоту. Ваши зловонныя картины поселяють во мнѣ отвращеніе...”

И такъ, скажите же: гдѣ у Гоголя все это есть, и о томъ ли, *тѣ* ли говоритъ онъ, на что возсталъ рецензентъ? Нѣтъ, это уже не „пыхтѣнье“: это что-то въ родѣ придрокъ извѣстнаго рода...

Б. Оно такъ, я не скажу, чтобъ это было хорошо; но за то, какъ зло, какъ ловко, мастерски!..

А. Да, видно, что мастеръ *своего дѣла*. Но объ этомъ довольно: по одному судите и обо всемъ, тѣмъ болѣе, что нашъ рецензентъ умѣетъ быть вѣренъ себѣ.

Б. Ну, а насчетъ дурнаго тона, сальныхъ картинъ, грязныхъ изображеній—что вы скажете насчетъ всего этого? Право, „Мертвыя Души“ какъ-будто писаны для сидѣльцевъ въ мучныхъ лавкахъ...

А. И однакожь ихъ читаетъ и ими восхищается высшій свѣтъ и не находитъ въ нихъ дурного тона, плоскостей и сальности. Авторитетъ большого свѣта, въ этомъ случаѣ, безусловно неоспоримъ. Въ нападкѣ рецензента на дурной тонъ „Мертвыхъ Душъ“, я узнаю того-же опытнаго мастера отгвѣчать неприятныя ему литературныя репутаціи. Правда, къ этому орудію противъ Гоголя не разъ прибѣгали уже и другіе обожатели и знатоки хорошаго тона, еще за долго до появленія бонтонно—„пыхтящей“ рецензіи. И хотя эти другіе ратовали съ тою цѣлію и вслѣдствіе тѣхъ же причинъ, однако они были искреннѣе въ своихъ нападкахъ на дурной тонъ, потому что, въ простотѣ мѣщанской свѣтскости, они не шутя считаютъ неприличнымъ то, что въ большомъ свѣтѣ нисколько не считается неприличнымъ. Но нашъ рецензентъ очень хорошо понимаетъ, что и для чего онъ дѣлаетъ. Хорошо зная невинную слабость среднихъ круговъ общества слишкомъ заботиться о приличіяхъ невѣдомаго и недоступнаго имъ большого свѣта, онъ не пропуститъ случая ухватиться за эту чувствительную струнку.

Б. Я вижу, что дажо и поклонники Гоголя не чужды замашки нападать на цѣлое общество.

А. Нисколько. Франція, въ отношеніи къ свѣтской общественности, безъ всякаго сомнѣнія, первое государство въ мірѣ. Однакожь, и тамъ центръ свѣтскости и высшаго тона находится въ Парижѣ, и именно, въ двухъ пунктахъ: въ послѣднемъ убѣжищѣ легитимизма, Сен-Жерменскомъ предмѣстіи, и въ новой мѣщанской аристократіи, при дворѣ. Всѣ прочіе слои общества суть только болѣе или менѣе вѣрныя отраженія этихъ первообразовъ свѣтской общественности. Смѣшно и нелѣпо было бы видѣть униженіе всего общества въ весьма обыкновенной и правдивой фразѣ, что истинный хорошій тонъ царствуетъ въ высшемъ петербургскомъ кругу, и что средніе круги общества часто добровольно дѣлаются смѣшными, считая и себя „большимъ свѣтомъ“, и стараясь копировать съ образца, который они видятъ издали, на гуляньяхъ и въ каретахъ, профѣздомъ по



улицѣ. Нѣтъ никакого униженія, когда вамъ скажутъ (если вы этого не знаете сами), что нигдѣ нѣтъ столько пустыхъ претензій, изысканности, чопорности, а слѣдовательно, и дурного тона, какъ въ этихъ среднихъ кругахъ, почему-то считающихъ себя въ какихъ-то отношеніяхъ съ „большимъ свѣтомъ“, который для нихъ есть истинная terra incognita. Такъ какъ въ нихъ нѣтъ ничего своего, то все чужое, которымъ дышать они, переходитъ у нихъ въ карикатуру: развязность и свобода высшаго общества—въ наглость, приличіе—въ чопорность, вѣжливость—въ церемонность, любезность въ гостинодворскій тонъ. Я именно говорю о среднихъ кругахъ. Если вы знаете хорошо нашихъ помѣщиковъ, согласитесь со мною, что между ними нерѣдко встрѣчаются прекрасныя исключенія: въ ихъ домахъ вы не найдете того, что называется „высшимъ свѣтомъ“, но найдете благородный тонъ, благородную простоту обращенія, истинную образованность, которая такъ рѣдка и въ „высшемъ свѣтѣ“. Въ нихъ есть *свое*, отъ того они и не пародируютъ другихъ; они берутъ отъ большого свѣта свое, не принимая отъ него чужаго имъ, изи несоотвѣтствующаго ихъ средствамъ и положенію. Наше общество еще такъ молодо, такъ еще не установилось и не приняло общаго характера, что такія прекрасныя исключенія представляются только въ семействахъ, въ отдѣльныхъ домахъ, а не въ цѣломъ сословіи, пестромъ и разнохарактерномъ. И причина такихъ прекрасныхъ исключеній состоитъ именно въ томъ, что дамы, о которыхъ я говорю, имѣютъ свое собственное значеніе и не принадлежатъ къ тому, что называется „средними кругами“: это аристократія нашихъ провинцій. Подъ среднимъ кругомъ должно разумѣть преимущественно чиновничество столицъ и губернскихъ городовъ—это плодородное поле, съ котораго даже низшіе таланты, чѣмъ талантъ Гоголя, собираютъ такую обильную жатву. Вотъ ихъ-то и имѣла въ виду рецензія. Но что же плоскаго и грязнаго находить рецензентъ у Гоголя? — Портреты Петрушки и Селифана, запахъ (говоря его нерусскимъ языкомъ), описаніе двора

Коробочки, въ которомъ свинья съ семействомъ, рывшаяся въ кучѣ сора и мимоходомъ заѣвшая цыпленка, особенно неприятно подѣйствовала на его свѣтскую разборчивость. Что же бы сказалъ онъ, прочитавъ извѣстную басню Крылова, гдѣ свинья играетъ главную роль... „Грязь на грязи!“ восклицаетъ „почтеннѣйшій“, чистоплотный рецензентъ...

Б. Однакожъ, вы, вѣрно, не находите изящными подобныя картины?

А. Напротивъ, именно нахожу изящною эту грязь, „возведенную въ перлъ созданія“, нахожу ее въ миллионъ разъ изящнѣе сусальной позолоты поэтовъ средняго круга общества, поэтовъ чиновническихъ и губернскихъ. Картина быта, дома и двора Коробочки—въ высшей степени художественная картина, гдѣ каждая черта свидѣтельствуетъ о гениальномъ взмахѣ творческой кисти, потому что каждая черта запечатлѣна типическою вѣрностью дѣйствительности и живо, осязательно воспроизводитъ цѣлую сферу, цѣлый міръ жизни, во всей его полнотѣ.

Б. Ну, хорошъ же этотъ міръ! Поздравляю съ такой жизнью!

А. Не взъщитѣ—чѣмъ богаты, тѣмъ и рады! Поэзія есть воспроизведеніе дѣйствительности. Она не выдумываетъ ничего такого, что бы не было въ дѣйствительности; она только идеализируетъ явленія дѣйствительности, возводя ихъ къ общему значенію, что и значитъ „возводить въ перлъ созданія“. Всякая другая поэзія—пустое фантазерство, вздоръ и пустяки, способные забавлять людей ограниченныхъ и необразованныхъ. И потому мѣрка достоинства поэтическаго произведенія есть вѣрность его дѣйствительности.

Б. Но неужели же въ русской дѣйствительности нѣтъ ничего лучше и благороднѣе Петрушки, Селифана, Коробочки, Собакевича, Чичикова и тому подобныхъ героевъ и героинь?

А. Безъ всякаго сомнѣнія есть; и авторъ совсѣмъ не думалъ своими „Мертвыми Душами“ утверждать противное. Онъ только взялъ собѣ извѣстную сферу жизни, дѣйстви-

тельно существующую—вотъ и все. Упрекать его за это—все равно, что упрекать Лафонтена и Крылова, зачѣмъ они писали басни, а не оды, упрекать Мильера и Фон-визина, зачѣмъ они писали комедіи, а не трагедіи. Стекла (по прекрасному выраженію Гоголя), озирающія небесныя свѣтила и насѣкомыхъ равно велики. А какое же вы имѣете право упрекать естествоиспытателя, что онъ изучаетъ инфузорій, какъ-будто въ природѣ нѣтъ твореній, болѣе благородныхъ? Сверхъ того, надо еще сказать, что, находя лица, изображенныя Гоголемъ, особенно безирравственными и глупыми, довольно ребячески преувеличиваютъ дѣло и грубо его понимаютъ. Эти лица дурны по воспитанію, по невѣжественности, а не по натурѣ, и не ихъ вина, что со дня смерти Петра Великаго прошло только 116, а не 300 лѣтъ. Неужели въ иностранныхъ романахъ и повѣстяхъ вы встрѣчаете все героевъ добродѣтели и мудрости? Ничего не бывало! Тѣ же Чичиковы, только въ другомъ платьѣ: во Франціи и въ Англіи, они не скупаютъ мертвыхъ душъ, а подкупаютъ живыя души на свободныхъ парламентскихъ выборахъ! Вся разница въ цивилизаціи, а не въ сущности. Парламентскій мерзавецъ образованнѣе какого-нибудь мерзавца нижняго земскаго суда; но въ сущности оба они не лучше другъ друга. Люди съ божественною искрою въ душѣ вездѣ рѣдки,—и я первый пламенно желаю, чтобъ Гоголь иногда дарилъ насъ изображеніями и такихъ личностей, тѣмъ болѣе желаю, что теперь только одинъ онъ и можетъ изображать ихъ. Но я не считаю себя вправѣ требовать, чтобъ онъ изображалъ то, а не это, или ставить ему въ вину, что онъ изображаетъ то, а не другое.

Б. Но воля ваша, а такія слова, какъ: *свинтусь, скотоводъ, подлецъ, ветюкъ, чортъ знаетъ, нагадитъ* и тому подобныя—такія слова видѣть въ печати какъ-то странно.

А. А слышать, или самому говорить каждый день не странно?.. Но авторъ „Мертвыхъ Душъ“ нигдѣ не говоритъ самъ, онъ только заставляетъ говорить своихъ героевъ, сообразно съ ихъ характерами. Чувствительный

Маниловъ у него выражается языкомъ образованнаго въ мѣщанскомъ вкусѣ человѣка; а Ноздревъ—языкомъ историческаго челоуѣка, героя ярмарокъ, трактировъ, пооекъ, дракъ и картежныхъ продѣлокъ. Не заставитъ же ихъ было говорить языкомъ людей высшаго общества! Чтò же касается до слова „подлецъ“, авторъ употребляетъ его и отъ своего лица, какъ люди порядочнаго тона употребляютъ кромѣ этого слова, слова: *воръ, разбойникъ, плутъ, взяточникъ, казнокрадъ, завистникъ, лжець, клеветникъ*, и т. п. И я, право, не понимаю, чтò неприличнаго въ словѣ *подлецъ*, и чтѣмъ оно непристойнѣе, напримѣръ, словъ *предатель, низкопоклонникъ*, и проч. Дѣло не въ словѣ, а въ *тонѣ*, въ какомъ это слово произносится. Шной любезникъ чиновическаго или гостинодворскаго кружка говорить все вѣжливости, одна другой тоньше и деликатнѣе, а все кажется, будто онъ отпускаетъ такія выраженія, за которыя выводятъ подъ руки изъ собраній; а порядочный челоуѣкъ выражается рѣзко, называетъ вещи ихъ настоящими словами—*вонъ воню, подлеци подлечомъ*, и между тѣмъ разговоръ его все-таки исполненъ благородства и достоинства, приличія и хорошаго тона.

Правда, Гоголь иногда касается такихъ сторонъ общественности, которыя подъ перомъ иныхъ писателей были бы просто невыносимы и для обонянія, и для слуха, и для зора; но какъ Гоголь не копируетъ дѣйствительности, а „возводитъ ее въ перлъ созданія“, какъ его юморъ спокоенъ, мягокъ и благороденъ, несмотря на свою силу, цѣпкость и глубину, то въ его созданіяхъ никогда и ничего не бываетъ низкаго и тривіальнаго. Онъ владѣетъ тайною великаго таланта обращать въ чистое золото все, къ чему ни прикоснется. Скажите по совѣсти, встрѣчали ли вы въ его сочиненіяхъ хотя одну картину грубой чувственности, написанную съ желаніемъ самому налюбоваться ею и, возбужденіемъ нечистаго восторга, приобрѣсти себѣ большее число читателей? Гдѣ, укажите, рисуетъ онъ грязь для грязи, по страсти къ цинизму — замашка, довольно любимая, впрочемъ, добрымъ и талантливымъ Поль-де-Ко-

комъ, съ которымъ такъ не впасть, такъ натянуто, вздумала равнять Гоголя рецензія? Гоголь и Польш-де-Кокъ— это имена, между которыми столько же общаго, какъ между именами Вольтера и какого-нибудь барона Брамбеуса. Кстати: я знаю одного писателя, хоть и плохо по-русски пишущаго, но во многомъ походящаго на Польш-де-Кокъ, на крайней мѣрѣ, со стороны цинизма, если не со стороны знанія языка, таланта, сердечной теплоты. Это — баронъ Брамбеусъ... Вотъ его такъ можно обвинять въ дурномъ тонѣ, въ плоскостяхъ, въ сальностяхъ, въ явномъ незнаніи русскаго языка и русской грамматики, при талантѣ, котораго силу составляетъ смѣлость, да иногда блѣстки виѣшняго, поверхностнаго ума. И подобное обвиненіе можно подкрѣпить фактами, противъ которыхъ нечего будетъ сказать ни вамъ, ни всякому другому, ни даже барону Брамбеусу. Если вы забыли его несчастныя „Фантастическія Путешествія“, какъ забыла ихъ русская публика, бросившаяся было на нихъ сначала слишкомъ горячо, по опрометчивости, столь свойственной всему молодому, — то вамъ стоитъ только перелистовать ихъ, чтобъ передъ вами возникла цѣлая галерея картинъ, одна другой неумѣе, одна другой спиртуознѣе, до того, что передъ ними всякіе другіе „запахи“ должны утратить свою рѣзкость. Да вотъ кстати — со мной одна изъ тетрадей литературныхъ матеріаловъ, которые я собираю для составленія исторіи русской литературы. Я вѣдь и зашелъ сюда именно потому, что мнѣ нужно навести кое-какія справки насчетъ критики „Б. для Ч.“ Я не буду вамъ разрывать всей этой кучи, чтобъ не заставить васъ зажимать, или, какъ выражается рецензія, „закрывать рукою“ вашу „почтеннѣйшій“ носъ; я только напомню вамъ бѣгло кое-что, и прежде всего то мѣсто, гдѣ баронъ проваливается черезъ Этноу къ антиподамъ и попадаетъ прямо въ антрша танцовавшей губернаторши, которая жметъ его когѣнками, душитъ, а онъ, за это, кусаетъ за мягкую тяжесть, наполнившую его ротъ... Что, хорошо?.. А его чистоплотные рассказы о „тихомъ, роскошномъ, пуховомъ тѣльцѣ дѣвушекъ, въ коротенькихъ

розовыхъ юбочкахъ“; о „свѣтлой похотливой кожѣ преданныхъ на жертву жаднымъ взорамъ пухленькихъ грудей и плечъ“; о „постели двухъ юныхъ любовниковъ, только что оставленной ими по утру въ живописномъ безпорядкѣ, еще дышащей вулканическою теплотою ихъ сердець, среди холодныхъ уже слѣдовъ перваго взрыва ихъ любви“; о душѣ пустытника, „забирающей за пестрые прозрачныя платочки его слушательницъ, чтобы играть съ ихъ бѣленькою грудью и щекотать ихъ подъ сердцемъ“; о „бѣлой, жирной ножкѣ мандаринши“, на которой влюбленные насѣкомыя (т.-е. блохи) утопаютъ въ небесномъ блаженствѣ“, и которыхъ мандаринша должна была „всякій вечеръ ловить у себя подъ рубашкою“. Какъ вы думаете; вѣдь, право, не дурно?.. Да то-ли еще есть у „почтеннѣйшаго“ барона! Вспомните его „Большой выходъ сатаны“, гдѣ чертъ сидитъ на воронкѣ, обороченной вверхъ острымъ концомъ и роскошно повертывается на этомъ эстетическомъ сѣдалищѣ, вслѣдствіе оплеухи, данной ему сатаню... А тонъ, выраженія г. барона? О, это верхъ свѣтскости!.. Напримѣръ: „Если есть счастье на свѣтѣ, то не индѣ, какъ въ шароварахъ“; или: „иную бабу можно считать своею деревнею, которая приноситъ 150,000 годового дохода; или: „если бѣ людей дѣлали немножко иначе, но такъ поспѣшно и съ должнымъ вниманіемъ, они были бы гораздо умнѣе“; или: „лестцы, видя только задъ души въ глазахъ сильныхъ людей, не разбираютъ и лобызаютъ все, чтб имъ не выставишь“... Помните-ли его статью „Юная Словесность“, гдѣ юная словесность лѣзетъ къ нашему барону въ домъ „шумить, безчинствуетъ, ломаетъ утварь, расхищаетъ всю собственность и принадлежитъ счастью“? Баронъ объявляетъ читателямъ, что у него есть баронесса, „образующая вмѣстѣ съ нимъ широкую и плотную массу человечества“, которую онъ хочетъ спасти отъ нападеній „юной словесности“, для чего и „пробуетъ треснуть ей въ лобъ колодой картъ“. Юная словесность „стрѣляетъ раскаленными ядрами по бастиону супружества“; потомъ „бусурманка (т.-е. юная словесность) изречила взаимное довѣріе супруговъ“. Баронъ пыхтитъ

и кричить: „Не поддадимся! о, коварная словесность! о, мерзкая словесность!.. Ахъ, *распутница!*“ Баронесса „скрывается ночью съ постели“; „повалилась на землю, грызеть въ бѣшенствѣ камень“, а юная словесность „вся зашачканная кровью, *пыхтитъ* и качается въ своей грязной лужѣ“ и проч. Право, хорошо! Что-жъ не смѣетесь, не хохочете, или, по крайней мѣрѣ, не пыхтите отъ восторгу?.. Что-жъ вы не восклицаете: „какіе свинтусы, какіе скотоводы эти нечистоплотные періоды, эти зловонныя картины“?.. Что такое исторія, какъ наука?— „Жеманная и придирная баба“... Что такое историческій романъ?— „Плодъ соблазнительнаго прелюбодѣянiя исторiи съ воображенiемъ“. Что такое сочинитель „Мазепы“ (плохого романа, теперь забытаго)?— „Наѣздникъ, который въ полночь лѣзетъ къ критику въ разбитое окно, вооруженный острымъ гусинымъ кинжаломъ“... Теперь не угодно-ли полюбоваться философическими афоризмами столько-же глубокомысленнаго, сколько и эстетическаго барона?— „Воздухъ есть сухая вода“; „камень, гранитъ—тоже жидкость, но которой мы уже не можемъ укусить нашими зубами“; „земная планета—атомъ произведеннаго въ броженіе теплотворомъ яичнаго желтка около перваго зародыша цыпленка“... „Что такое я самъ?“ спрашиваетъ баронъ, и тотчасъ весьма удовлетворительно рѣшаетъ этотъ вопросъ: „Я тоже жидкость, маленькая мѣра жидкости, сгущенной до извѣстной степени, вылитой по особенному образцу, зажженной внутри искрою божественнаго огня“... Не хотите-ли образчика баронскаго слогу?— „Эта бѣдная Зенеида... Она просто жертва неопредѣленности нашего быта! Живая утопленница зыбкихъ его формъ, окруженная неизбѣжною погibelью, еще борющаяся съ волнами страшнаго хаоса и въ *лицъ погibelи (?)* хватаящаяся за подлинныя утесы, которые обрушаются и дробятся въ ея рукахъ! Уже наша образованность обманула ее призракомъ супружескаго счастья; уже *смолола ея существованіе въ своей пасти,* и бросила *его (?)* безъ всякой доски въ омутъ домашняго насилiя“... Хорошо!.. Но довольно! Я боюсь васъ утомить чтенiемъ отрывковъ изъ моей тет-

радка, которая, увѣряю васъ, очень—любопытна, и если не пыхтитъ сама, то заставитъ порядкомъ попытаться иныхъ романистовъ, критиковъ и рецензентовъ... Посудите сами о богатствѣ собранныхъ мною фактовъ: все, что я успѣлъ прочесть вамъ, ограничивается „Фантастическими Путешествіями“, „Новосельемъ“ и тремя первыми томами „Биб. для Чтенія“ за 1834 годъ... Слышите-ли: только! Сколько-же еще богатыхъ источниковъ! О, я надѣюсь написать прелюбопытную исторію русской литературы!...

Б. Вотъ эта книга по мнѣ! Страхъ люблю полемику! Даетъ пищу для споровъ и средство взглянуть на предметъ съ разныхъ сторонъ.

А. Это будетъ не полемика, а исторія... Но мы отклонились отъ предмета нашего разговора—пыхтающей рецензіи. Она очень ошиблась—не въ томъ, что вздумала равнять Гоголя съ Поль-де-Кокомъ, и даже унижать перваго передъ послѣднимъ, по въ томъ, что могла думать, будто не найдется человѣка, который растолковалъ-бы ей, что у нея подъ рукой есть писатель, совершенно подходящий подъ ея обвиненія и болѣе — годный для параллели съ Поль-де-Кокомъ... Хорошо понимая, что успѣха „Мертвыхъ Душъ“ не остановитъ ей, пыхтающая рецензія приписываетъ необычайный успѣхъ этого превосходнаго художественнаго произведенія грязности и сальности, смѣло и храбро навязаннымъ ею. Жалкія усилія, безсильные извороты! Этакъ можно объяснить развѣ только успѣхъ какого-нибудь барона Брамбеуса и какой-нибудь „Библиотеки для Чтенія“, которыхъ судьба вначалѣ была такъ блестяща, а теперь такъ печальна! Баронъ давно уже забытъ и тщетно пытался напомнить о себѣ публикѣ длиннымъ разглагольствованьемъ о „Дѣвѣ Чудной“ (публика отъ „Дѣвы“ заснула, а о баронѣ не вспомнила); а „Библиотека“ быстро поддегается, засыпая сама и усыпляя своихъ читателей, къ берегамъ томной Леты... Передъ смертью жизнь вспыхиваетъ ярче, какъ огонь, готовый погаснуть въ лампадѣ: и вотъ вамъ причина энергіи пыхтающей рецензіи... Въ са-



номъ дѣлѣ, баронъ трудился, пыталъ, написалъ новый романъ, попытался, напечатать его половину, разманить имъ вниманіе публики, но, увы!—публика уже не та! Съ тѣхъ поръ, какъ „Б. для Ч.“ успѣла ей наскучить этою мудростью, которая по плечу толпѣ, этимъ скептицизмомъ, который удивляетъ и озадачиваетъ только слабоумныхъ и невѣждъ, этимъ остроуміемъ, которое поддерживается искаженіемъ истины и повторяетъ себя однѣми и тѣми-же шуточками, — съ тѣхъ поръ публика прочла „Капитанскую Дочку“ и посмертныя произведенія Пушкина, познакомилась въ театрѣ съ „Ревизоромъ“, заучила наизусть стихи Лермонтова, и много разъ перечла его „Героя Нашего Времени“... Какой шагъ впередъ! Удивительно-ли, что эта публика даже не дочла до конца „Дѣвы Чудной“ и назвала ее „Дѣвою скучною“?... Что дѣлать барону?—Тщетно „Библиотека для Чтенія“ громко провозгласила г. Кукольника геніемъ, великимъ поэтомъ, какъ провозглашала она нѣкогда г. Тимофеева и многія другія посредственности, не страшныя ни ей, ни барону Брамбеусу: ничто не помогло! Публика даже не стала читать ни „Эвелины де Вальероль“, ни „Двухъ Призраковъ“, ни „Альфа и Альдоны“; а на расквату раскусила „Мертвыя Души“—произведеніе писателя, о которомъ если „Б. для Ч.“ и упоминала, то всегда съ презрѣніемъ и насмѣшками... Такъ нѣкогда публика забыла „Большой Выходъ Сатаны“ и не прочла „Похожденія Одной Ревижской Души“, потому что сильно заинтересовалась какою-то повѣстью о *сорь Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ*... Постой-же, мы его!.. И вотъ является пытая рецензія, гдѣ превосходное художественное произведеніе названо „нечистоплотнымъ твореніемъ“, глубочайшій и могущественнѣйшій юморъ—плоскостью, благородное сознаніе поэта въ чувствѣ собственного значенія въ *родной ему русской литературѣ*—бредомъ напыщенного тщеславія, и гдѣ, къ довершенію всего, содержаніе, ходъ дѣйствія, словомъ, все представлено въ ложномъ изношенномъ видѣ, умышленно перетолковано въ дурную сторону, подвержено

мелкимъ придирамъ мелочной критики, подбирающейся мелкими обмолвками противъ языка и грамматики... Посмотримъ, поможетъ-ли горю это *salto mortale* критической добросовѣстности и отчаянной отваги... Посмотримъ, чѣмъ кончится споръ, если онъ уже и не кончился... Гоголь, разумеется, и не узнаетъ объ этихъ отчаянныхъ вылазкахъ на его поэтическую славу (онъ, кажется, человекъ совсѣмъ нелюбопытный до многого, что дѣлается въ русской литературѣ); поэтому, естественно, онъ будетъ отвѣчать только новыми своими произведениями, отъ которыхъ иные романисты-рецензенты запыхтятся на смерть...

Б. Я, впрочемъ, радъ этому разговору, я люблю видѣть вещи со всѣхъ сторонъ. Сегодня-же пойду къ С... и къ Л... и буду съ ними спорить противъ „Б. для Ч.“ за Гоголя. Это ихъ удивитъ, а мнѣ доставитъ много удовольствія. Впрочемъ, вы все-таки не убѣдили меня. Разговоръ не то, что статья. Говорить можно все, а вотъ если бъ вы напечатали статью, гдѣ бы также смѣло опровергали рецензію „Б. для Ч.“, какъ смѣло и рѣшительно она отдѣлала „Мертвые Души“ и Гоголя: тогда другое дѣло! Однакожъ я теперь не совсѣмъ согласенъ и съ „Библиотекою“. Мнѣ кажется, что надо держаться середины...

А. Именно такъ. Середина всего выгоднѣе, по крайней мѣрѣ, для уснѣха такихъ литературныхъ произведеній и такихъ журналовъ, которые судьбою поставлены на середину. Побольше такихъ умѣренныхъ людей, какъ вы,—и они всегда будутъ процвѣтать, смѣняя другъ друга, умирая индивидуально, но не переводясь какъ роды и виды... Но, нора обѣдать. Прощайте.

\*) Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: *Похожденія Чичикова*, или *Мертвыя Души*. Москва. 1842 г. Въ 8-ю д. л. 19 стр.

Мы ничего не хотѣли было говорить объ этой странной брошюрѣ; но насъ побудили къ этому слѣдующія въ ней строки:

„Мы знаемъ, многимъ покажутся странными слова наши, но мы просимъ въ нихъ вникнуть. Что касается до мнѣнія петербургскихъ журналовъ, очень извѣстно, что они подумаютъ (впрочемъ исключая можетъ быть Отеч. Зап., которая хвалятъ Гоголя); но не о петербургскихъ журналистахъ говоримъ мы; напротивъ, мы о нихъ и не говоримъ; развѣ въ Петербургѣ можетъ существовать кругъ ихъ дѣятельности!..“

Хоть мы и не имѣемъ никакихъ причинъ особенно горячиться за *ося* петербургскіе журналы; но все-таки долгъ справедливости требуетъ замѣтить автору брошюры, что кругъ дѣятельности нѣкоторыхъ петербургскихъ журналовъ простирается не только на Петербургъ, но и на Москву, и на всѣ провинціи Россіи, куда выписываются они тысячами, и что, наоборотъ, кругъ дѣятельности нѣкоторыхъ московскихъ журналовъ не простирается даже и на Москву, ибо ни найти ихъ тамъ, ни услышать о нихъ тамъ что-нибудь рѣшительно невозможно. Это фактъ, противъ котораго не устоитъ никакое умозрѣніе—ни нѣмецкое ни московское.

Но и не это обстоятельство заставило насъ говорить о томъ, о чемъ легко можно было умолчать, а списходительное выключеніе „Отеч. Записокъ“ изъ опалы, подъ которую подпали у строгаго автора петербургскіе журналы. Пожалуй—чего добраго!—найдутся люди, которые заключатъ изъ этого, что „Отеч. Записки“ раздѣляютъ мнѣніе автора брошюры о Гоголѣ и о „Мертвыхъ Душахъ“: вотъ этого-то мы никакъ не хотѣли бы, и желаніе отклонить отъ себя незаслуженную честь участвовать въ ультра-умозрительныхъ московскихъ воззрѣніяхъ на просто-понимаемое нами дѣло, побудило насъ взяться за перо. Мысли автора брошюры

\*) „Отечественныя Записки“ 1842 г. т. 23, № 8. „Русская Литература“.

о Гоголь и его твореніяхъ такъ оригинальны, такъ отважны, что едва ли кто-нибудь осмѣлился бы раздѣлить съ нимъ славу ихъ изобрѣтенія.

Итакъ, спѣшимъ объясниться.

„Передъ нами возникаетъ новый характеръ созданія является оправданіе цѣлой сферы поэзіи, сферы, давно унижаемой; древній эпосъ возстаетъ передъ нами“.

Вотъ что прежде всего видитъ авторъ брошюры въ „Мертвыхъ Душахъ“! Дѣло, видите ли, такого рода: перенесенный изъ Греціи на западъ, древній эпосъ тлѣлъ постепенно, и наконецъ совсѣмъ высохъ, *низойдя* до романовъ, и наконецъ, до крайней степени своего униженія—до французской повѣсти... Но Гоголь спасъ древній эпосъ—и міръ имѣетъ теперь новую „Иліаду“, т.-е. „Мертвыя Души“, и новаго Гомера, т. е. Гоголя!.. Бѣдный Гоголь!

Не поздоровится отъ такихъ похвалъ!..

Итакъ, эпосъ древній не есть исключительное выраженіе древняго міросозерцанія въ древней формѣ: напротивъ, онъ что-то вѣчное, неподвижно-стоящее, независимо отъ исторіи: онъ можетъ быть и у насъ, и мы его имѣемъ въ „Мертвыхъ Душахъ“!..

Итакъ, эпосъ не развился исторически въ романъ, а *снизошелъ* до романа!.. Поздравляемъ философское умозрѣніе, плохо знающее фактическую исторію!..

Итакъ, романъ есть не эпосъ нашего времени, въ которомъ выразилось созерцаніе жизни современнаго человѣчества и отразилась сама современная жизнь: нѣтъ, романъ есть искаженіе древняго эпоса?.. Ужъ и современное-то человѣчество не есть ли искаженная Греція?.. Именно такъ!..

Но, увы! какъ ни ясны умозрительные доводы автора брошюры, а мы, прозаическіе Петербуржцы, все-таки остаемся при своихъ *историческихкихъ* убѣжденіяхъ, и думаемъ, что Гоголь такъ же похожъ на Гомера, а „Мертвыя Души“ на „Иліаду“, какъ сѣрое петербургское небо и сосновыя рощи петербургскихъ окрестностей на свѣтлое небо и лавровыя рощи Эллады. Далѣе, мы думаемъ, что Гоголь вы-

шоль совсѣмъ не изъ Гомера и не состоитъ съ нимъ ни въ близкомъ, ни въ дальнемъ родствѣ,—думаемъ, что онъ вышелъ изъ Вальтера-Скотта, изъ того Вальтера-Скотта, который могъ явиться самъ собою, независимо отъ Гоголя, но безъ котораго Гоголь никакъ не могъ бы явиться. Во французской повѣсти мы видимъ не крайнее униженіе древняго эпоса, а просто—французскую повѣсть, выраженіе, зеркало французской жизни. Мы даже не видимъ ничего особенно позорнаго и въ нѣмецкихъ повѣстяхъ, часто отражающихъ въ себѣ не сферу дѣйствительной жизни, а химеры фантази, испорченной пивомъ, кнастеромъ и филистерствомъ. Что выражаетъ собою духъ всемірно-исторической націи, то не можетъ быть вздоромъ, и та философія, которая называетъ вздоромъ подобныя вещи, сама вздоръ, хотя она была и абсолютная...

Правда, авторъ брошюры, кажется, и самъ смекнулъ, что онъ уже слишкомъ занесся, и поспѣшилъ замѣтить, что „Мертвыя Души“ не одно и то же съ „Иліадою“, ибо-де „само содержаніе кладетъ здѣсь разницу“; но тутъ же, въ выносѣхъ, замѣчаетъ онъ: „кто“ знаетъ, впрочемъ, какъ раскроется содержаніе „Мертвыхъ Душъ“ (стр. 5). На это мы можемъ отвѣчать утвердительно, что какъ бы ни раскрылось оно, какой бы величавый, лирической ходъ не приняло оно, вмѣсто юмористическаго,—все-таки „Иліада“ будетъ сама по себѣ, а „Мертвыя Души“ будутъ сами по себѣ. „Иліада“ выразила собою содержаніе положительное, дѣйствительное, общее, міровое и всемірно-историческое, слѣдовательно, вѣчное и неумирающее: „Мертвыя Души“, равно какъ и всякая другая русская поэма, пока еще не могутъ выразить подобнаго содержанія, потому что еще негдѣ его взять, а на „нѣтъ“ и суда нѣтъ. Авторъ брошюры видитъ у Гоголя „эпическое созерцаніе, древнее, истинное, тоже какое у „Гомера“: это показываетъ, что онъ совершенно не понималъ наоса „Мертвыхъ Душъ“ и, обольстившись умозрѣніями собственнаго изобрѣтенія, навязалъ поэмѣ Гоголя значеніе, котораго въ ней вовсе нѣтъ. Напрасно онъ не вникнулъ въ эти глубоко-знаменательныя слова Го-

голя: „И долго еще опредѣлено мнѣ чудной властью идти „объ руку съ моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее *сквозь видный міру смѣхъ и незримыя невѣдомыя ему слезы*“ (Мертвыя Души стр. 258). Въ этихъ немногихъ словахъ высказано все значеніе, все содержаніе поэмы, и намекнуто, почему она названа „поэмою“. Въ смыслѣ поэмы, „Мертвыя Души“ диаметрально-противоположны „Иліадѣ“. Въ „Иліадѣ“ жизнь возведена на апофеозу: въ „Мертвыхъ Душахъ“ она разлагается и отрицается; паеосъ „Иліады“ есть блаженное упоеніе, пристокающее отъ созерцанія давно-божественнаго зрѣлища: паеосъ „Мертвыхъ Душъ“ есть юморъ, созерцающій жизнь *сквозь видный міру смѣхъ и незримыя невѣдомыя ему слезу*. Что-же касается до эпического спокойствія, — оно совсѣмъ не исключительное качество поэмы Гоголя: это — общее родовое качество эпоса. Романы Вальтера-Скотта и Кюнера, поэтому, также отличаются эпическимъ спокойствіемъ.

Нельзя безъ улыбки читать 9-ой страницы брошюры, гдѣ авторъ заставляеть Ахилла новой „Иліады“, *плутоватаго Чичикова*, сливаться съ субстанціальною стихіею русской жизни въ чемъ бы вы думали?—въ любви къ скорой ѣздѣ!.. И такъ, любовь къ скорой почтовой ѣздѣ—вотъ субстанція русскаго народа!.. Если такъ, то конечно почему жъ бы *Чичикову* и не быть Ахилломъ русской „Иліады“, Собакевичу—Аяксомъ неистовымъ (особенно во время обѣда), Манилову—Александромъ Парисомъ, Плюшкину—Несторомъ, Селифану—Автомедономъ, полицеймейстеру, отцу и благодѣтелю города—Агамомнономъ, а квартальному съ приятнымъ румянцемъ и въ лакированныхъ ботфортахъ—Гермесомъ?.. Въ сравненіяхъ, разсѣянныхъ по поэмѣ Гоголя, авторъ брошюры особенно видитъ сродство его съ Гомеромъ. Но это сродство существуетъ также и между Пушкинымъ и Гомеромъ,—что можно *фактически* доказать ссылками на „Евгенія Онѣгина“ и другія поэмы Пушкина... Думаемъ, что съ этой стороны у Гомера довольно наберется родни.

Говоря о полнотѣ жизни, въ которой изображаетъ Гоголь

свои лица, и которая дѣйствительно удивительна, авторъ брошюры не точно выразился, сказавъ, будто „Гоголь не „лишаетъ лица, отмѣченное мелкостью, низостью, *ни однимъ* „человѣческаго движенія“: надо было сказать — иногда не лишаетъ какихъ-нибудь человѣческихъ движеній, или что-нибудь подобное. А то, чего добраго! окажется, что и дура Коробочка, и буйволъ Собакевичъ не лишены ни одного человѣческаго чувства и, потому, ни чѣмъ не хуже любого великаго человѣка. Напрасно также авторъ брошюры вздумалъ смотрѣть съ участіемъ на глупую и сентиментальную размазню Манилова, когда тотъ идиотски мечтаетъ о томъ, какъ онъ съ Чичиковымъ пьетъ чай на бельведерѣ, съ котораго видна Москва, какъ они съ нимъ пріѣзжаютъ въ какое-то общество въ хорошихъ каретахъ, обворожаютъ всѣхъ пріятностію обращенія, и какъ само высшее начальство, узнавши о такой ихъ дружбѣ, пожаловало ихъ генералами... Признаемся, мы читали это со смѣхомъ и безъ всякаго участія къ личности Манилова, можетъ быть, потому именно, что не имѣемъ въ себѣ ничего родственнаго съ такого рода „мечтательными“ личностями.

Далѣе, авторъ брошюры доказываетъ, что такой полноты созданія, какова у Гоголя, не встрѣтитъ ни у кого, кромѣ какъ у Гомера и Шекспира. „Да“, говоритъ онъ: „только „Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь обладаютъ этою тайною искусства“.—А Пушкинъ?.. Да куда ужъ тутъ Пушкину, когда Гоголь заставилъ (впрочемъ безъ всякаго съ своей стороны желанія — мы за это ручаемся) автора брошюры забыть даже о существованіи Сервантеса, Данта, Гете, Шиллера, Байрона, Вальтера Скотта, Купера, Беранже, Жоржа Занда!.. Всѣ они—пасъ передъ Гоголемъ!.. Куда имъ до него! Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь—больше никого мы не хотимъ знать, что ни говори себѣ „неблагонамѣренные“ люди!.. Однако жъ авторъ брошюры позволяетъ Гомеру и Шекспиру стоять подлѣ Гоголя только по *акту созданія*, а по содержанію, онъ ставитъ ихъ выше его. „Въ „отношеніи къ акту творчества, въ отношеніи къ полнотѣ

„самого созданія — Гомера и Шекспира, и только Гомера и Шекспира ставимъ мы рядомъ съ Гоголемъ“. Какіе счастливы эти Гомеръ и Шекспиръ! И какъ жаль, что Богъ не далъ имъ дожить до такого счастья! „Мы“, говоритъ авторъ брошюры: „далеки отъ того, чтобы унижать колоссальность другихъ поэтовъ, но въ отношеніи къ акту творчества, они ниже Гоголя“ (стр. 15). Но говоря далѣе авторъ брошюры жестоко проговаривается, самъ того не замѣчая, и даетъ намъ прекрасное средство ого же орудіемъ судить построенные имъ карточные домики фантазерскихъ умозрѣній.

„Развѣ не можетъ быть такъ напримѣръ (продолжаетъ авторъ брошюры): поэтъ обладаетъ полнотою творчества, можетъ создать, положимъ, цвѣтокъ, но во всемъ его совершенствѣ, во всей свободѣ его жизни; другой создаетъ великаго человѣка, взявши большее содержаніе, но только помѣтитъ его общими чертами; велико будетъ дѣло послѣдняго, но оно будетъ ниже въ отношеніи къ той полнотѣ и живости, какую даетъ поэтъ, обладающій тайною творчества“ (стр. 15).

Во-первыхъ, разсуждая о дѣлѣ творчества, нечего и говорить о поэтахъ не обладающихъ тайною творчества и заставлять ихъ намѣчать общими чертами идеалы великихъ людей; надо великаго поэта противопоставлять великому же поэту. Въ такомъ случаѣ, мы не обинуясь скажемъ, что слегка-намѣченный идеалъ великаго человѣка будетъ болѣе великимъ сознаніемъ, нежели во всей полнотѣ и во всей свободѣ жизни воспроизведенный цвѣтокъ. Двѣ стороны составляютъ великаго поэта: естественный талантъ и духъ, или содержаніе. Это-то содержаніе и должно быть мѣриломъ при сравненіи одного поэта съ другимъ. Только содержаніе дѣлаетъ поэта мировымъ: — высшая точка, зенитъ поэтической славы. Прежде, смотря на поэта больше со стороны естественнаго таланта и желая выразить однимъ словомъ высшее его явленіе, мы думали воспользоваться для этого эпитетомъ „мироваго“; но скоро увидѣвъ, что черезъ это смѣшиваются два различныя



представленія, мы оставили безразличное употребленіе этого слова. Мировой поэтъ не можетъ не быть великимъ поэтомъ; но великій поэтъ еще можетъ быть и не мировымъ поэтомъ. Здѣсь не мѣсто распространяться объ этомъ предметѣ; но если вы хотите знать, что такое „мировой“ поэтъ, возьмите Байрона хоть въ прозаическомъ французскомъ переводѣ, и прочтите изъ него, что вамъ прежде попадется на глаза. Если вы не падете въ трепетъ предъ колоссальностію идей этого страшнаго ученика Руссо, этого глубокаго субъективнаго духа, этого потомка мнѳическихъ титановъ, громоздившихъ горы на горы и осаждавшихъ Зевеса на его неприступномъ Олимпѣ, — тогда не понять вамъ, что такое „мировой“ поэтъ. Прочтите „Фауста“ и „Прометея“ Гёте, прочтите трепещущія паосомъ любви ко всему человѣческому созданію Шиллера, — и вы устыдитесь, что этихъ колосовъ, идущихъ въ главѣ всемірно-историческаго движенія *цѣлаго человечества*, поставили вы ниже великаго *русскаго* поэта... Что же касается до вашего сравненія художественно-созданнаго цвѣтка съ слегка-наброшеннымъ идеаломъ великаго человѣка, мы укажемъ вамъ на примѣръ не изъ столь великой сферы.

„Бояринъ Орша“ — Лермонтова произведеніе не только слегка—напечатанное, но даже дѣтское, гдѣ большею частію должны и нравы и костюмы: но просимъ васъ указать намъ на что-нибудь и по больше цвѣтка, что могло-бы сравниться съ этимъ гениальнымъ очеркомъ. Отчего это? — отъ того, что въ дѣтскомъ созданіи Лермонтова вѣетъ духъ, передъ которымъ потускиветъ не одно художественное произведеніе—цвѣтокъ-ли то, или цѣлый цвѣтникъ...

„Итакъ, (продолжаетъ авторъ брошюры), этимъ сравненіемъ (хотя вообще сравненія объясняютъ не полно, но чтобы не писать длинной статьи) надѣемся мы пояснить наши слова: *въ отношеніи къ акту творчества*. Но Боже насъ сохрани, чтобы миниатюрное сравненіе съ цвѣткомъ было въ нашихъ глазахъ мѣриломъ для великихъ созданій Гоголя; мы хотимъ только сказать, что онъ обладаетъ тою же тайною, какою обладали Шекспиръ и Гомеръ, и только они“...

„Итакъ, повторимъ наши слова, какъ бы они странны ни казались: только у Гомера и Шекспира можемъ мы встрѣтить такую полноту созданій, какъ у Гоголя; только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь обладаютъ великою, одною и тою же тайною искусства (стр: 15—16).

Положимъ, даже, что все это и такъ, но вотъ вопросъ: что же во всемъ этомъ и чему именно тутъ радоваться?.. Во-первыхъ, еще совсѣмъ не доказанная истина, совсѣмъ не аксіома, что Гоголь, по акту творчества, выше, хоть, напримѣръ Пушкина и позволяетъ стоять подлѣ себя только Гомеру и Шекспиру, и мы очень жалѣемъ, что авторъ брошюры не взялъ на себя труда доказать это, а ограничился нѣсколькими фразами, въ родѣ оракульскихъ. Во-вторыхъ, акта творчества еще мало для поэта, чтобы имя его стало на ряду съ именами Гомера и Шекспира“... Все это ужасно сбивается на реторику и фразы, все это такъ похоже на игру въ эстетическіе каламбуры. Занятіе, конечно, невинное, но и ни къ чему не ведущее, кромѣ профанаціи именно того, что составляетъ предметъ дѣтскаго удивленія. Гдѣ, укажите намъ, гдѣ вѣтъ, въ созданіяхъ Гоголя, этотъ всемірно-историческій духъ, это равно общее для всѣхъ народовъ и вѣковъ содержаніе? Скажите намъ, что бы стало съ любимъ созданіемъ Гоголя, если бъ оно было переведено на французскій, нѣмецкій, или англійскій языкъ? Что интереснаго (не говоря уже о великомъ) было бы въ немъ для француза, нѣмца или англичанина? Гдѣ же права Гоголя стоять на ряду съ Гомеромъ и Шекспиромъ?—Знаете ли, что мы сказали бы на ушко всѣмъ умозрителямъ: когда развернешь Гомера, Шекспира, Байрона, Гёте или Шиллера, такъ дѣлается какъ-то неловко при воспоминавіи о нашихъ Гомерахъ, Шекспирахъ, Байронахъ, и проч. Вальтеромъ-Скоттомъ тоже шутить нечего: этотъ человѣкъ далъ историческое и социальное направленіе новѣйшему еврпейскому искусству.

И, однакожъ, мы сами считаемъ Гоголя великимъ поэтомъ, а его „Мертвыя Души“—великимъ произведеніемъ. Но въ первомъ случаѣ, мы разумѣемъ естественный талантъ, по

которому Гоголь, какъ и Пушкинъ, дѣйствительно напоминаютъ собою величайшія имена всѣхъ литературъ. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя не дивиться его умѣнію оживлять все, къ чему ни прикоснется, въ поэтическіе образы,—его орлиному взгляду, которымъ онъ проникаетъ въ глубину тѣхъ тонкихъ и для простаго взгляда недоступныхъ отношеній и причинъ, гдѣ только слѣдная ограниченность видитъ мелочи и пустяки, не подозрѣвая, что на этихъ мелочахъ и пустякахъ вертится, увя!—цѣлая сфера жизни. Но Гоголь великій русскій поэтъ, не болѣе; „Мертвыя Души“ его—тоже только для Россіи, и въ Россіи могутъ имѣть безконечно-великое значеніе. Такова, пока, судьба всѣхъ русскихъ поэтовъ; такова судьба Пушкина. Никто не можетъ быть выше вѣка и страны: никакой поэтъ не усвоитъ себѣ содержанія, неприготовленнаго и невыработаннаго исторіею. Немногое, слишкомъ немногое изъ произведеній Пушкина можетъ быть передано на иностранныя языки, не утративъ съ формою своего субстанціального достоинства; но изъ Гоголя—едва ли что-нибудь можетъ быть передано. И, однакожь, мы въ Гоголѣ видимъ болѣе важное значеніе для русскаго общества, чѣмъ въ Пушкинѣ: ибо Гоголь болѣе поэтъ социальный, слѣдовательно, болѣе поэтъ въ духѣ времени; онъ также менѣе теряется въ разнообразіи создаваемыхъ имъ объектовъ и болѣе даетъ чувствовать присутствіе своего субъективнаго духа, который долженъ быть солнцемъ, освѣщающимъ созданія поэта нашего времени. Повторяемъ: чѣмъ выше достоинство Гоголя, какъ поэта, тѣмъ важнѣе его значеніе для русскаго общества, и тѣмъ менѣе можетъ онъ имѣть какое-либо значеніе внѣ Россіи. Но это-то самое и составляетъ его важность, его глубокое значеніе и его — скажемъ смѣло—колоссальное величіе для насъ, Русскихъ. Тутъ нечего и упоминать о Гомерѣ и Шекспирѣ, нечего и путать чужихъ въ свои семейныя тайны. „Мертвыя Души“ стоятъ „Иліады“, но только для Россіи: для всѣхъ же другихъ странъ, ихъ значеніе мертво и непонятно.

Было время, когда на Руси никто не хотѣлъ вѣрить,

чтобы русскій умъ, русскій языкъ могли на что-нибудь годиться; всякая иностранная дрянь легко шла за гениальность на святой Руси, а свое русское, хотя бы и отличноею высокою даровитостью, презиралось за то только, что оно русское. Время это, слава Богу, прошло, и теперь настало другое, когда намъ уже ни почемъ и Гомеры, и Шекспиры, и Байроны, потому что мы успѣли уже позавестись своими,—мы чужихъ становимъ въ шеренги, словно солдаты, заставляемъ ихъ маршировать и справа и слѣва, и взадъ и впередъ, благо бѣдняжки молчатъ и повинуются нашему гусиному перу и тряпичной бумагѣ. Но пора кончиться и этому времени, пора бросить эти ребяческія фразы...

Юность не хочетъ и знать этого. Чуть взбредетъ ей въ голову какая-нибудь недоконченная мечта — тотчасъ ее на бумагу, съ тѣмъ наивнымъ убѣжденіемъ, что эта мечта — аксіома, что міру открыта великая истина, которой не хотятъ признать только невѣжды и завистники... А тамъ, что?—Кому суждено возмужать, тотъ потихоньку забудетъ о томъ, о чемъ такъ громко говорилъ прежде, или будетъ самъ смѣяться надъ этимъ, какъ надъ грѣхомъ юности... Но есть люди, которые или навѣкъ остаются дѣтми, или навѣкъ остаются юношами: ихъ убѣжденіе не слабѣетъ; они продолжаютъ высказывать его съ прежнимъ простодушіемъ, и новыя фантази, подобныя прежнимъ, тянутся у нихъ до гроба длинною вереницею, какъ мечты у Манилова, по отъѣздѣ Чичикова...

\* \* \*

\*) Въ № 8 „Отечественныхъ Записокъ“ помѣщено возраженіе на брошюрку: **Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя и пр.** Эта брошюрка принадлежитъ мнѣ, и имя мое выставлено въ концѣ, хотя „От. Записки“, неизвѣстно почему, его не упомянули. Мы не знаемъ, какъ и назвать возра-

\*) „Москвитиницъ“ 1842 г., часть V, № 9. Статья Константина Аксакова, подъ заглавіемъ: „Объясненіе“.

женіе „От. Зап.“.— Впрочемъ, чтобы выразиться поучительнѣе, скажемъ, что рецензентъ поступилъ очень *странно*, представивъ статью мою совершенно иначе, нежели какъ она написана; онъ употребилъ къ тому известное въ журналахъ средство: вырывая мѣстами по нѣскольку строкъ и выраженій съ прибавленіемъ собственныхъ замѣчаній; такимъ образомъ возраженіе его можетъ назваться выдумками по случаю такой-то брошюрки. Мы не хотѣли пускаться съ „От. З.“ въ объясненіе смысла словъ нашихъ, или умышленно или неумышленно искаженнаго; но вида, что много можетъ быть опровергнуто почти однѣми выписками изъ самой брошюрки, рѣшились сдѣлать послѣднее, не для г. рецензента, а для тѣхъ, которые прочтутъ его возраженіе; хотя, конечно, безъ прочтенія всей брошюрки, это не будетъ имѣть надлежащей полноты. Рецензентъ говоритъ, что я называю Мертвыя Души Иліадой, а Гоголя Гомеромъ: это совершенная неправда. Я именно говорю, что М. Д. не Иліада, предупреждая слова рецензента и ему подобныхъ; говорю, что содержаніе уже кладетъ разницу, что, я думаю, очень важно. Странно то, что рецензентъ самъ замѣтилъ эти мои слова, и думалъ уничтожить ихъ сдѣланной имъ выпиской моей фразы, помѣщенной въ выноску: *кто знаетъ, впрочемъ, какъ раскроется содержаніе М. Д?* Но слова эти (жаль, что вынужденъ даже толковать о томъ) не значать, что здѣсь вновь представятъ Греція или подобіе Греціи, но что содержаніе М. Д. можетъ быть велико, можетъ заключать въ собѣ многое, о чемъ большей части людей не входитъ въ голову, особенно тѣмъ, которые въ поэмѣ Гоголя видятъ только забавное или сатирическое. Итакъ этѣ слова относятся только къ объему, а не къ характеру содержанія М. Д. Надобно было бы прочесть нѣсколько дальше, и тогда было бы видно, что Гомеромъ Гоголя я не называю, а говорю объ эпическомъ созерцаніи; но не о предметѣ созерцанія, не о Греціи, и также не о томъ, такое ли чудо искусства совершено съ помощью этого великаго созерцанія; однимъ словомъ, вотъ что говорю я: „Только неблагонамѣренные лю-

„ди могутъ сказать, что мы М. Д. называемъ Илиадою; мы не то говоримъ: мы видимъ разницу въ содержаніи поэмъ; въ Илиадѣ является Греція съ своимъ міромъ, со своею эпохой, и слѣдовательно содержаніе само уже кладетъ здѣсь разницу; конечно, Илиада, именно эпосъ, такъ исключительно нѣкогда обнявшій все, не можетъ повториться, но эпическое созерцаніе, это говоримъ мы прямо, „эпическое созерцаніе Гоголя—древнее, истинное, то же, какое и у Гомера, и только у одного Гоголя видимъ мы это созерцаніе“ и проч... Но, или этѣ слова показались рецензенту слишкомъ неясными, или искушеніе вскрикнуть съ изумленіемъ: посмотрите, Гоголя называютъ Гомеромъ,—было такъ велико, что онъ именно сдѣлалъ то, что я устранялъ заранѣе въ той же самой брошюркѣ. И такъ, гдѣ же я назвалъ М. Д. Илиадою, а Гоголя Гомеромъ? Я сказалъ, что эпическое созерцаніе то же, т. е. также оно просто, также видитъ все до послѣдней подробности, и также не лишаетъ предметъ никакой бездѣлицы, ни искры жизни, какая въ немъ только можетъ находиться. Содержаніе созерцанія—другое: и вмѣстѣ съ тѣмъ та же творческая сила является въ наше время иначе, современно опредѣленною, нежели какъ она была въ другое особенно опредѣленное время. Рецензентъ пропустилъ слова мои, что М. Д. въ то же время явленіе въ высшей степени свободное и современное.

Но нѣтъ ли чего-нибудь далѣе, что дало право рецензенту приписать мнѣ не мои мнѣнія? Посмотримъ.

Далѣе, я ставлю Гомера, Шекспира и Гоголя вмѣстѣ, но въ какомъ отношеніи?—вотъ, что надо было замѣтить. Впрочемъ, я также предвидѣлъ недоразумѣніе и также старался отъворотить его, сказавъ: *въ отношеніи къ акту творчества*. Наговорившись, изъявивъ и изумленіе и ужасъ отъ такого дерзкаго мнѣнія, рецензентъ, подъ конецъ, какъ будто разглядѣлъ сказанныя выше слова мои, и что же?—говорить: что обладать такимъ актомъ творчества еще не много значить, что нечему тутъ радоваться.—Съ этого и слѣдовало бы начать, и сказать въ началѣ, а не

на концѣ, какъ онъ сдѣлалъ, что авторъ брошюры ставитъ Гомера, Шекспира и Гоголя въ отношеніи къ акту творчества (а не къ содержанию) наравнѣ, и что, если это еще и такъ, то, по мнѣнію рецензента, это даже и не много значить, ибо главное—содержаніе. Гдѣ же тогда все пугающее, отважное, возмущающее въ моемъ мнѣніи: все это уничтожается само собою. Рецензентъ можетъ предположить, что я самый актъ творчества, и слѣдовательно, средство въ отношеніи къ нему, ставлю гораздо выше, нежели онъ, и не ошибется, ибо здѣсь я вижу огромную силу, которая совершаетъ много и совершитъ еще болѣе, но не думаю, говоря это, нисколько унижать или уничтожать содержаніе: — я почитаю содержаніе существеннымъ условіемъ, если говорю про него, упоминая о другихъ поэтахъ; изъ всѣхъ словъ моихъ видно, что я понимаю его, какъ необходимую основу, какъ необходимый элементъ, отъ котораго зависитъ объемъ творческой дѣятельности, но въ то же время знаю, что одно содержаніе, какъ бы всемірно и велико оно ни было, ничего не значить въ области искусства, точно такъ же, какъ и одинъ актъ творчества не составляетъ поэта. Если бы я сказалъ, что поэтъ весь состоитъ изъ самаго акта творчества, и уничтожилъ бы содержаніе, сказавъ, что до содержанія и дѣла нѣтъ, тогда могли бы От. З. провозгласить, что я просто только Гомера и Шекспира ставлю рядомъ съ Гоголемъ; но этого-то и не было сказано, и журналъ не имѣлъ права приписывать мнѣ не мое мнѣніе. Вотъ слова мои: „Мы далеки отъ того, чтобы унижать колоссальность другихъ поэтовъ, но въ отношеніи къ акту созданія, они ниже Гоголя. Развѣ не можетъ быть такъ на примѣръ: поэтъ, обладающій полнотою творчества, можетъ создать, положимъ, цвѣтокъ, другой создаетъ великаго человека, велико будетъ дѣло послѣдняго, но оно будетъ ниже въ отношеніи къ той полнотѣ и живости, какую даетъ поэтъ, обладающій тайною творчества“.

И такъ, сказано ли здѣсь, что другіе поэты ниже Гоголя, какъ приписали мнѣ эти слова От. З.? какъ будто

я не указалъ сейчасъ на отношеніе, въ которомъ, по моему мнѣнію, они его ниже. и которое сейчасъ уничтожаетъ всю рѣзкость и странность фразы. Я и не сравнивалъ ихъ даже, а сказалъ (и, разумѣется, вновь повторяю), что того акта творчѣства, или, выражаясь хотя и не точнѣе, но попроще: той живости образовъ, какая является у Гоголя (не говоря, какіе эти образы), я не встрѣчаю у другихъ поэтовъ, кромѣ Гомера и Шекспира; слѣдовательно, я не просто сравниваю и равняю ихъ, какъ поэтовъ (какъ вздумали было выставять От. З.), а въ сказанномъ нами отношеніи, что выходитъ совсѣмъ не то. Великихъ поэтовъ я не забылъ; они, можетъ быть, близки мнѣ, какъ и всякому другому, я постоянно вижу всю огромность ихъ содержанія, великость задачъ и геній ихъ поэтической (только, конечно, Жоржъ Зандъ никакъ сюда не входитъ, ни безусловно ни условно); но той полноты и конкретности образовъ, того безпристрастія художническаго у нихъ нѣтъ.— Что касается до поэтической дѣятельности Гоголя, то, конечно, какъ я сказалъ, сравненіе съ цвѣткомъ не можетъ служить для него мѣриломъ; само содержаніе велико, но я этого только коснулся, и, конечно, не здѣсь распространюсь о томъ. Я обратилъ вниманіе и говорилъ собственно объ этой полнотѣ самаго созданія, объ этомъ чудѣ акта творчества, который встрѣчаю, кромѣ Гомера и Шекспира, только у Гоголя,—и вотъ слова мои: „И точно созерцаніе „Гоголя таково (не говоря вообще о его характерѣ), что „предметъ является у него, не теряя нисколько ни одного изъ правъ своихъ, является съ тайною своей жизни, „одному Гоголю доступною; его рука переноситъ въ міръ „искусства предметъ, не измѣвъ его нисколько: нѣтъ, „свободно живетъ онъ тамъ, еще выше поставленный: не „видать на немъ слѣдовъ его перенесшей руки, и потому „узнаешь ее. Всякая вещь, которая существуетъ, уже по „этому самому имѣетъ жизнь, интересъ жизни, какъ бы „легка она ни была; но достиженіе этого доступно только „такому художнику, какъ Гоголь; въ самомъ дѣлѣ все, и „муха, надобѣдающая Чичикову, и собаки, и дождь, и ло-



„шади отъ засѣдателя до чубараго, и даже брѣчка, — все это со всею своею тайною жизни, имъ постигнуто и перенесено въ міръ искусства (разумѣется, творчески создано, а не описано, Боже сохрани: всякое описаніе скользятъ только по поверхности предмета) и опять, только у Гомера можно найти такое творчество.... Однимъ словомъ, вездѣ у Гоголя такое совершенное отсутствіе всякой отвлеченности, такая всесторонность, истинна и вмѣстѣ такая полнота жизни, не теряющей ни малѣйшей частицы своей, отъ явленій природы: мухи, дожди, листья до человѣка, — какая составляетъ тайну искусства, открывающуюся очень, очень немногимъ“.

Относительно же акта творчества, скажемъ еще, что мы считаемъ его великою силою, основнымъ элементомъ поэта, и содержаніе, обуславливающее объемъ его (такъ послѣднее растеніе и человѣкъ равны въ отношеніи къ акту творчества, и разны въ отношеніи къ объему и содержанію), и развивающее его мощь, — одно, безъ него ничего не значить и будетъ похоже на надпись или титулъ на произведеніи, когда не воплотится въ него, не конкретизируется. Но объ этомъ мы совѣтовали бы прочесть Шиллера: *über die aesthetische Erziehung*, хоть во французскомъ переводѣ. Извѣстно, какъ истинны и какъ оправданы дальнѣйшимъ развитіемъ мышленія его эстетическіе взгляды; въ этомъ сочиненіи увидали бы, какъ великій поэтъ (нами нисколько не позабытый) глубоко и вѣрно смотритъ на значеніе содержанія одного, и на значеніе его художественнаго воплощенія. Явленіе же такой полноты художественнаго воплощенія, такого совершенства созданія, какое находимъ у Гоголя, считаемъ мы важнымъ явленіемъ не только у насъ, но и вообще въ сферѣ искусства. Тѣмъ болѣе важно и велико послѣднее его произведеніе; тайна русской жизни, думаемъ мы, заключена въ немъ, и мы многое увидимъ и узнаемъ и почувствуемъ, чего не видали и не знали и не чувствовали. Но оно важно и въ другомъ отношеніи: это поэма, ибо въ ней я вижу эпическое созерцаніе и эпическое повѣствованіе; не анекдотъ и не

интригу, но дѣлѣй, полный, опредѣленный міръ, разумѣется, съ лежащими въ немъ глубокимъ значеніемъ, стройно представляющей—то, чего я не вижу въ романахъ и повѣстяхъ. Только не читавшій Гоголя не знаетъ, что у него есть юморъ, и что этого юмора нѣтъ у Гомера. Здѣсь объяснимъ мы слова, которыя такъ смутили рецензента. Юморъ, въ наше время, есть то, что необходимо сопровождается самое полное и спокойное созерцаніе поэта, и у Гоголя онъ находился съ самаго начала его дѣятельности: но это не тотъ юморъ, который выдаетъ, выставляетъ субъектъ, уничтожая дѣйствительность (чему примѣровъ можно много найти между знаменитыми произведеніями), но тотъ, который связуетъ субъектъ и дѣйствительность, сохраняя и тотъ и другую, такъ что не мѣшаетъ видѣть поэту всѣ бездѣлицы до малѣйшей, и сверхъ того во всемъ ничтожномъ умѣть свободно находить живую сторону. Это умѣнье все видѣть и во всемъ находить живую сторону (чего мы не находимъ ни въ какихъ романахъ и повѣстяхъ) принадлежитъ собственно Гоголю, и явно свидѣтельствуется о характерѣ его созерцанія, эпического, древняго, истиннаго, но въ XIX вѣкѣ и въ Россіи, *свободнаго и современнаго* (какъ сказано у меня), и потому непременно проникнутаго такимъ юморомъ, который нисколько его не стѣсняетъ. Почему въ Россіи возникло такое явленіе, которое (мы выше сказали яснѣе, въ какомъ отношеніи) важно въ самой сферѣ искусства, все это дальнѣйшее объясненіе отстранили мы и въ брошюркѣ, какъ очень обширный предметъ. Еще нѣсколько словъ о юморѣ. Отнимите у эпического созерцанія прекрасную жизнь, съ которой нѣкогда прямо соединялось оно, представьте предъ нимъ современную жизнь, уже не прекрасную, уже опустѣвшую: ибо перешагнули за нее, перешагнувъ за сферу художественной красоты, интересы человѣка, и глубокое созерцаніе поэта необходимо приметъ юморъ, то посредствующее, что одно можетъ соединять его еще съ жизнью (безъ чего бы оно отворотилось и закрыло глаза, да позволено будетъ это выраженіе), приметъ юморъ, *но вмѣстѣ*

эстетическіе каламбуры: ну, что касается до этого, то у всякаго свое мнѣніе; и мы не виноваты, что рецензентъ находитъ эстетическіе коламбуры тамъ, гдѣ другіе найдутъ другое. Мы, признаемся, съ любопытствомъ смотрѣли, какъ смѣло искажались и почти изобрѣтались намъ приписываемыя мысли; какъ, не смотря на выписку, говорилось именно то, что уничтожалось выпиской. Это показываетъ опытность въ журнальномъ дѣлѣ, которая во всякомъ случаѣ удивительна \*).

Одно наше примѣчаніе, могущее бы очень во многомъ остановить рецензента, пропущено имъ, кажется, вовсе; вотъ оно: „Такіе тѣсныя предѣлы не позволяютъ намъ „сказать о многомъ, развить многое, и дать заранѣе полныя объясненія на недоумѣнія и вопросы, могущіе возникнуть при чтеніи нашей статьи. Но надѣемся, что они „разрѣшатся сами собою“.

Но у рецензента не было ни недоумѣній, ни вопросовъ; онъ сейчасъ рѣшительно не понималъ, въ чемъ дѣло. Сравненіе Чичикова съ Ахилломъ, полицеймейстера съ Агамемнономъ и пр. принадлежитъ остроумію рецензента. Рецензентъ говоритъ, Русскій не можетъ быть теперь мировымъ поэтомъ. Этотъ вопросъ прямо соединяется съ другимъ: надобно говорить о значеніи Русской Исторіи, современномъ всемірно-историческомъ значеніи Россіи, о чемъ мы съ петербургскими журналами говорить, конечно, не будемъ, но относительно чего могутъ быть написаны цѣлыя сочиненія и книги, и тоже, конечно, ужъ не для петербургскихъ журналистовъ.

Довольно. Возраженіе наше не полно, но оно и такъ пространнѣе, нежели мы хотѣли. Главное наше мнѣніе сказано въ брошюркѣ (которую мы здѣсь вновь готовы повторить отъ слова до слова), думаемъ, довольно понятно для тѣхъ, которые хотятъ или могутъ понять.—Брошюрка

\*) Впрочемъ удивленіе наше разрѣшилось. Въ № 9 О. З. (стр. 33) прочли мы слѣдующее: „попробуйте выдумать на кого угодно смѣшную нелѣпицу—всѣ расхохочутся, и никто не захочетъ наводить справки, правду вы сказали или ложь“. О. З. намекаютъ на другіе журналы, но объясняютъ намъ въ то же время и самихъ себя.

все брошюрка, не болѣе, и такъ мы оставляемъ всѣ дальнѣйшія объясненія; если О. З. вздумаютъ (чего мы не предполагаемъ) возражать намъ еще, мы отвѣчать ничего ни въ какомъ случаѣ не будемъ.

Остальная часть рецензіи состоитъ изъ однихъ остроумныхъ выходокъ, напр.: прибавленіе вносной русской частицы *de* выраженіе: *дѣло, видите, вотъ какъ было, и пр.* въ такомъ же родѣ.

Наконецъ прибавимъ только одно: мы съ охотою выполняемъ желаніе О. З. и уничтожаемъ тѣ слова наши, въ которыхъ исключали ихъ изъ кучи петербургскихъ журналовъ. Напрасно, впрочемъ, такъ обидѣлись О. З.; мы никогда, да и здѣсь не отдѣляли ихъ вообще отъ другихъ петербургскихъ журналовъ, а сказали, что, *можетъ быть*, придется ихъ исключить въ настоящемъ случаѣ, и это исключеніе само собою уничтожается теперь. Скажемъ же ясно, что мы думаемъ и всегда думали о петербургскихъ журналахъ: всѣ эти несогласія мнѣній, всѣ эти брани и междоусобія, все это—такъ, внѣшнее различіе, разнообразіе,—въ сущности же духъ и свойство всѣхъ петербургскихъ журналовъ (не исключая, разумѣется, О. З.) совершенно одни и тѣ же.

Константинъ Аксаковъ.

\* \* \*

\*) Объясненіе на объясненіе по поводу поэмы Гоголя „Мертвыя Души“.

Изъ множества статей, написанныхъ въ послѣднее время о „Мертвыхъ Душахъ“, или по поводу „Мертвыхъ Душъ“, особенно замѣчательны четыре. Ихъ нельзя не раздѣлить на двѣ половины, попарно. Каждая изъ двухъ статей въ парѣ составляетъ рѣзкій контрастъ; на каждую можно смотрѣть, какъ на крайнюю противоположность другой парѣ. О первой изъ нихъ мы упоминали въ предыдущей книжкѣ

\*) „Отечественныя Записки“ 1842 г., т. 25, № 11. (Отд. 5).

„Отечеств. Записокъ“, какъ о единственной хорошей статьѣ изъ всѣхъ, написанныхъ по поводу поэмы Гоголя. Она напечатана въ третьей книжкѣ „Современника“. Эта статья умная и дѣльная сама-по-себѣ, безотносительно; но кто-то, вѣроятно, безъ всякаго умысла, а просто и невинно, сдѣлалъ рѣзче ея достоинство и выше ея цѣну, написавъ къ ней нѣчто въ родѣ антипода и назвавъ свое сильное писаніе *критикою* на „Мертвыя Души“. Смыслъ этой „критики“ находится въ обратномъ отношеніи къ смыслу статьи „Современника“. Боже мой, сколько курьезнаго въ этой „критикѣ“! Довольно сказать, что въ ней Селифанъ названъ представителемъ неиспорченной русской природы, Ахилломъ новой „Иліады“, на томъ основаніи, что онъ а) пріятельски разговариваетъ съ лошадьми, и б) напивается мертвецки со всякимъ хорошимъ, т. е. всегда готовымъ мертвецки напиться, человекомъ... Поэтому, можно судить и о прочемъ, чѣмъ такъ необыкновенно-замѣчательна „критика“, о которой мы говоримъ... Другую пару рѣзкихъ противоположностей составляютъ: статья въ „Библиотекѣ для Чтенія“ и московская брошюрка „Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя. Похожденія Чичикова или „Мертвыя Души“.—Статья „Биб. для Чтенія“ была неудачнымъ усиліемъ втоптать въ грязь великое произведеніе натянутыми и умышенно-фальшивыми нападками на его, будто бы, безграмотность, грязность и эстетическое ничтожество. Всѣмъ извѣстно, что эта статья добилась совсѣмъ не тѣхъ результатовъ, о которыхъ хлопотала.

Брошюрка—антиподъ этой статьи—пошла отъ противоположной крайности: въ ней „Мертвыя Души“ являются вторымъ твореніемъ послѣ „Иліады“, а подлѣ Гоголя позволяется становиться только Гомеру и Шекспиру...

Но „Мертвыя Души“ и безъ всякихъ претензій становиться на ряду съ „Иліадой“ имѣютъ великое достоинство: отъ того-то онѣ устояли не только противъ статьи „Библ. для Чтенія“, но что было гораздо труднѣе—и противъ московской брошюры... Къ поэмѣ Гоголя, стало-быть, нельзя примѣнить этихъ стиховъ Пушкина:

Враговъ имѣеть въ мѣрѣ всякъ:  
 Но отъ друзей спаси насъ, Боже!  
 Ужъ эти мнѣ друзья, друзья!  
 Объ нихъ не даромъ вспомнилъ я.

Мы раздѣляли эти четыре статьи на двѣ пары, основываясь на противоположности ихъ достоинствъ и исходныхъ пунктовъ: теперь раздѣлимъ ихъ по тождеству достоинства и взглядовъ ихъ. По послѣднему раздѣленію, останутся только двѣ статьи, ибо статья „Современника“, въ такомъ случаѣ будетъ безъ пары, какъ статья умная и дѣльная; статья „Биб. для Чтенія“ тоже будетъ безъ пары, какъ протестація противъ огромнаго успѣха яркаго таланта. Итакъ, остаются только двѣ статьи: та, въ которой Селифанъ торжественно признанъ представителемъ „неиспорченной русской природы“, и московская брошюрка: обѣ онѣ много имѣютъ между собою общаго и родственнаго. Но объ этомъ послѣ, а сперва замѣтимъ, мимоходомъ, что намъ много даютъ работы и бранныя и хвалебныя статьи о „Мертвыхъ Душахъ“. Такъ какъ эти хвалебныя статьи больше оскорбляютъ людей безпристрастныхъ и благомыслящихъ, то ихъ-то мы и поставляемъ себѣ за обязанность преслѣдовать преимущественно передъ бранными.

Вслѣдствіе этого, въ 9-й книжкѣ „Отеч. Записокъ“ была высказана, прямо и опредѣлительно, горькая истина московской брошюрѣ „Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: Похожденія Чичикова или Мертвыя Души“. Это крайне не понравилось автору ея, г. Константину Аксакову, — и вотъ онъ, въ 9-мъ № „Москвитинна“, напечаталъ противъ насъ возраженіе, въ которомъ силится доказать, что будто бы мы умышленно искажили смыслъ его брошюры и приписали ему такія мнѣнія, которыхъ онъ не можетъ признать своими. Стоитъ только перечестъ или нашу рецензію или брошюру г. Константина Аксакова, чтобъ убѣдиться, что мы нисколько не перепланивали дѣла, но представили его такимъ, какъ оно есть, и что оттого оно и приняло нѣсколько комическій характеръ. Возраженіе

автора брошюры также может служить нашимъ оправданіемъ, ибо въ немъ-то и переименовано дѣло: авторъ брошюры, замѣтивъ неловкость своего положенія, прибѣгнувъ къ обыкновенной, но неловкой литературной уверткѣ, — отперся отъ части своихъ мыслей и много наговорилъ о томъ, что, по его мнѣнію, могло служить ему оправданіемъ, умолчавъ о немногомъ, составляющемъ сущность его брошюры и придавшемъ ей такой комическій характеръ. Объясняемая, не ради г. Константина Аксакова, котораго ни брошюра, ни возраженіе не стоятъ большихъ хлопотъ; но ради важности предмета, подавшаго поводъ къ тому и другому. Впрочемъ, если наше объясненіе будетъ полезно и для г. Константина Аксакова, мы будемъ этому очень рады, ибо не имѣемъ никакихъ причинъ не желать добра ни ему, ни кому другому.

Г. Константинъ Аксаковъ начинаетъ свое „Объясненіе“ тѣмъ, что брошюра (имя рекъ) принадлежитъ ему, и что въ концѣ ея выставлено его имя, которое, *неизвѣстно почему*, не упомянуто „Отеч. Записками“. Признаемъ справедливость претензій г. Константина Аксакова, и чтобы загладить нашу вину передъ нимъ, касательно умолчанія его имени, будемъ, въ этой статьѣ, какъ можно чаще употреблять его. Впрочемъ, не желая оставлять г. Константина Аксакова въ неизвѣстности о причинѣ умолчанія его имени въ рецензій, спѣшимъ объяснить, что мы не упомянули этого имени по чувству гуманной деликатности, будучи увѣрены, что имя человѣка и неудачная статья — не одно и то же, ибо и умный, порядочный человѣкъ можетъ написать (и даже напечатать) плохую брошюру. По тому же самому чувству гуманной деликатности, мы не хотѣли (хотя бы и слѣдовало это сдѣлать по требованію истины) замѣтить въ нашей рецензій, что брошюра г. Константина Аксакова вся состоитъ изъ сухихъ, абстрактныхъ построеній, лишенныхъ всякой жизненности, чуждыхъ всякаго непосредственнаго созерцанія, и что, поэтому, въ ней нѣтъ ни одной яркой мысли, ни одного теплаго, задушевнаго слова, которыми ознаменовываются

первыя и даже самыя неудачныя попытки талантливыхъ и пылкихъ молодыхъ людей, и что, потому же, въ ея изложеніи видна какая-то вялость, расплывчатость, апатія, неопредѣленность и сбивчивость.

Главное обвиненіе г. Константина Аксакова противъ насъ состоитъ въ томъ, что будто-бы мы заставили его называть „Мертвыя Души“ *Илиадою*, а Гоголя—*Гомеромъ*. Чтобъ отстранить отъ себя нашу улику, онъ ссылается на свою брошюру и дѣлаетъ изъ нея выписки; но все это нисколько не поможетъ горю. Г. Константинъ Аксаковъ дѣйствительно изъ называлъ „Мертвыхъ Душъ“ *Илиадою*, а Гоголя—*Гомеромъ*: такихъ словъ нѣтъ въ его брошюрѣ; но онъ поставилъ „Мертвыя Души“ на одну доску съ „Илиадою“, а Гоголя на одну доску съ Гомеромъ: вотъ что правда, то правда! Ибо какъ же иначе, если не въ такомъ смыслѣ, можно понимать эти слова брошюры (о которыхъ г. Константинъ Аксаковъ какъ-будто и забылъ, и надо согласиться, что въ этомъ случаѣ память очень *кстати* измѣнила ему):

„Такъ глубоко значеніе, являющееся намъ въ „Мертвыхъ Душахъ“ Гоголя! Передъ нами возникаетъ новый характеръ созданія, является *оправданіе цѣлой сферы поэзи*, сферы давно унижаемой; *древній эпосъ возстаетъ предъ нами*“.

Это значить ни больше ни меньше, какъ то, что давно унижаемый эпосъ Гомера вновь воскрешенъ Гоголемъ, и что „Мертвыя Души“, *следовательно*, вторая „Илиада“!!..

Еще разъ спрашиваемъ: можно ли иначе понять эти слова г. Константина Аксакова? Онъ жалуется, что мы, по обыкновенію журналистовъ, пмѣющихъ въ виду уронить несприятное имъ произведеніе, вырывали мѣстами по нѣскольку строкъ изъ его брошюры, прибавляя къ нимъ собственныя замѣчанія. Но неужели же мы должны были выписывать все? Это значило бы украсить нашъ журналъ брошюрою г. Константина Аксакова, на что мы не имѣли ни права, ни охоты. И такъ, мы выписали изъ брошюры только тѣ строки, въ которыхъ заключались ея основныя



положенія. Такъ сдѣлаемъ мы и теперь. Послѣ выписанныхъ строкъ, намъ надо было бы перепечатать теперь нѣсколько страницъ; но это было бы скучно и для насъ и для читателей, и потому мы только *перескажемъ* содержаніе этихъ нѣсколькихъ страницъ, непосредственно слѣдующихъ за выписанными нами строками. Сперва авторъ брошюры характеризуетъ древній эпосъ тѣмъ, что этотъ эпосъ „основанъ былъ на глубокомъ простомъ созерцаніи и обнималъ собою цѣлый опредѣленный міръ во всей неразрывной связи его явленій“, что въ немъ все на своемъ мѣстѣ, всякій предметъ переносится въ него съ его правами, съ тайною его жизни, и т. п. Все это и не ново, и во всемъ этомъ нѣтъ никакой опредѣленности... Потомъ, авторъ брошюры говоритъ, что этотъ эпосъ, перенесенный на Западъ, все мелѣлъ, мелѣлъ, „*снизошелъ до романовъ и, наконецъ, до крайней степени своего униженія, до французской повѣсти*“. — „И вдругъ, среди этого времени, возникаетъ древній эпосъ съ своею глубиною и простымъ величіемъ—является поэма Гоголя. Тотъ же глубокопроникающій и всевидящій эпическій взоръ, то же всеобъемлющее эпическое созерцаніе“. — „Въ поэмѣ Гоголя является намъ тотъ древній, гомеровскій эпосъ; въ ней возникаетъ вновь его важный характеръ, его достоинство и широкообъемлющій размѣръ“.

Теперь дѣло ясно: эпосъ есть что-то великое; онъ вполне выразился въ созданіяхъ Гомера („Иліадъ“ и „Одиссея“); но со временъ Гомера до Гоголя (до 1842 года по Р. Хр.) все мелѣлъ и искажался: Гоголь же вновь воскресилъ его во всей его первобытной красотѣ и свѣжести...

Ноужели и теперь г. Константинъ *Аксаковъ* *отпрется* отъ своихъ словъ, явно написанныхъ имъ сгоряча и необдуманно (ибо въ спокойномъ состояніи духа такихъ вещей не говорятъ) и будетъ стараться дать имъ другое значеніе? Нѣтъ, улика на лицо, и тутъ не помогутъ никакія увертки...

Правда, древне-эллинскій эпосъ, перенесенный на Западъ, точно мелѣлъ и искажался; но въ чемъ?—въ такъ

называемыхъ эпическихъ поэмъ—въ „Энеидѣ“, „Освобожденномъ Іерусалимѣ“, „Потерянномъ Раѣ“, „Мессіадѣ“ и проч. \*). Всѣ эти поэмы имѣютъ свои неотъемлемыя достоинства, но какъ частности и отдѣльныя мѣста, а не въ цѣломъ; ибо онѣ не самобытныя созданія, которымъ бы современное содержаніе дало и современную форму, а подражанія, явившіяся вслѣдствіе школьно-эстетическаго преданія объ „Иліадѣ“, преданія, гдѣ „Иліада“ была смѣшана и отождествлена съ родомъ поэзи, къ которому она принадлежитъ. И этотъ древне-эллинскій эпосъ, перенесенный на Западъ, дошелъ до крайняго своего униженія въ „Генриадахъ“, „Россиадахъ“, „Петриадахъ“, „Александроидахъ“, и другихъ „идахъ“, „адахъ“, „ядахъ“; сюда же должно отнести и такія уродливыя произведенія, какъ „Телемакъ Фенелона“, „Гонзалъвъ Корбуанскій“ Флоріана, „Кадмъ и Гармонія“ и „Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи“ Хераскова и проч. Если бъ г. Константинъ Аксаковъ это разумѣлъ подъ искаженіемъ на Западѣ древняго эпоса,—мы совершенно съ нимъ согласились бы, потому что это фактъ, историческій фактъ, противъ котораго нечего сказать. Но въ такомъ случаѣ, онъ долженъ бы былъ принять за основаніе, что древне-эллинскій эпосъ и не могъ не исказиться, будучи перенесенъ на Западъ, особенно въ новѣйшія времена. Древне-эллинскій эпосъ могъ существовать только для древнихъ Эллиновъ, какъ выраженіе *изъ* жизни, *изъ* содержанія въ *изъ* формѣ. Для міра же новаго его нечего было и воскрешать, ибо у міра новаго есть своя жизнь, свое содержаніе и своя форма, слѣдовательно, и свой эпосъ. И эпосъ новаго міра явился преимущественно въ романѣ, котораго главное отличіе отъ древне-эллинскаго эпоса, кромѣ христіанскихъ и другихъ элементовъ новѣйшаго міра, составляетъ еще и *проза жизни*, вошедшая въ его содержаніе и чуждая древне-эллинскому эпосу. И потому романъ отнюдь не есть искаженіе древняго эпоса, но есть эпосъ новѣйшаго міра, исторически возникнувшій

\*) Изъ этихъ поэмъ должно исключить Divina Comedia Данте, какъ твореніе самобытное, совершенно въ духѣ католической Европы среднихъ вѣковъ.

и развѣвшійся изъ самой жизни и сдѣлавшійся ея зеркаломъ, какъ „Иліада“ и „Одиссея“ были зеркаломъ древней жизни. Г. Константинъ Аксаковъ умолчалъ о романѣ, сказавъ только, и то въ выноскѣ, что конечно и романъ и повѣсть имѣють-де *свое* значеніе и *свое* мѣсто въ исторіи искусства поэзіи; но что предѣлы статьи его не позволяютъ ему распространиться о нихъ. Во-первыхъ, эта выноска явно противорѣчитъ съ текстомъ, гдѣ опредѣлительно сказано, что древній эпосъ, перенесенный на Западъ, все мелѣлъ, искажался, *снизошелъ* до романовъ и наконецъ, до *крайней степени своего униженія*, до французской повѣсти: слѣдовательно, какое же *свое* значеніе, кромѣ искаженія древняго эпоса, могутъ имѣть романъ и повѣсть въ глазахъ г. Константина Аксакова? И при томъ, если говорить (особенно такія диковинки и такъ смѣло), то ужъ надо говорить все и при томъ опредѣленно, чтобъ не дать себя поймать на недоговоркахъ; или ничего не говорить; или, говоря, не противорѣчить себѣ ни въ текстѣ, ни въ выноскахъ; или, наконецъ, *проговорившись*, умѣть смолчать. Въ противномъ случаѣ, это все равно, какъ если бы кто-нибудь, сказавъ такъ: „Байронъ плохой поэтъ“, а въ выноскѣ замѣтивъ: „впрочемъ и Байронъ имѣетъ *свое* значеніе, но мнѣ теперь некогда о немъ распространяться“, считалъ бы себя правымъ и подумалъ бы, что онъ все сказалъ, и сказалъ дѣло, а не пустяки. Г. Константинъ Аксаковъ ни однимъ словомъ не упомянулъ въ своей брошюрѣ ни о Сервантесѣ, ни о Вальтерѣ Скоттѣ, ни о Куперѣ, — чѣмъ и далъ право думать, что онъ и въ нихъ видитъ искажителей эпоса, возстановленнаго Гоголемъ!!! Въ нашей рецензіи, мы это замѣтили г. Константину Аксакову, сказавъ при этомъ, что Вальтеръ Скоттъ есть истинный представитель современнаго эпоса, т. е. историческаго романа, что Вальтеръ Скоттъ могъ явиться (и явился) безъ Гоголя, но что Гоголя не было бы безъ Вальтера Скотта; и, наконецъ, если Гоголя можно сближать съ кѣмъ-нибудь, такъ ужъ конечно съ Вальтеромъ Скоттомъ, которому онъ, какъ и всѣ современные романисты, такъ много

обязанъ, а не съ Гомеромъ, съ которымъ у него нѣтъ ничего общаго. Но г. Константинъ Аксаковъ въ своемъ „Объясненіи“ промолчалъ объ этомъ:—изворотъ очень полезный для него, разумеется, но по отношенію къ намъ не совсѣмъ добросовѣстный... И это-то самое заставляетъ насъ повторить, что г. Константинъ Аксаковъ считаетъ романъ униженіемъ эпоса (ибо у него эпосъ *исходитъ* до романа), а Вальтера Скотта просто ни за что не считаетъ (ибо не удостоиваетъ его и упоминаніемъ—вѣроятно, изъ опасенія унизить Гоголя какимъ бы то ни было сближеніемъ съ такимъ незначущимъ писателемъ, какъ Вальтеръ Скоттъ). Какъ называются такія умозрѣнія—предоставляемъ рѣшить читателямъ...

И такъ, романъ совершенно уничтоженъ г. Константиномъ Аксаковымъ; но современный эпосъ проявился не въ одномъ романѣ исключительно: въ новѣйшей поэзіи есть особый родъ эпоса, который не допускаетъ прозы жизни, который схватываетъ только поэтическіе, идеальные моменты жизни, и содержаніе котораго составляютъ глубочайшія міросозорданія и нравственные вопросы современнаго человѣчества. Этотъ родъ эпоса одинъ удержалъ за собою имя „поэмы“. Таковы всѣ поэмы Байрона, нѣкоторыя поэмы Пушкина (въ особенности „Цыгане“ и „Галубъ“), также Лермонтова „Демонъ“, „Мцыри“ и „Бояринъ Орша“. Если для г. Константина Аксакова поэмы Пушкина и Лермонтова не составляютъ факта, то какъ же не упомянулъ онъ ни слова о Байронѣ? Положимъ, что Байронъ, въ сравненіи съ Гоголемъ—ничто, а Чичиковы, Маниловы и Селифаны имѣютъ болѣе всемірно-историческое значеніе, чѣмъ титаническія, колоссальныя личности британскаго поэта; но, ничтожный въ сравненіи съ Гоголемъ, Байронъ все-таки долженъ же имѣть хоть какое-нибудь *свое* значеніе и *свое* мѣсто въ исторіи новѣйшаго искусства?.. Почему же г. Константинъ Аксаковъ не удостоилъ упомянуть о Байронѣ, ну, хоть однимъ презрительнымъ словомъ, хоть для того, чтобъ уничтожить его во имя „Мертвыхъ Душъ“? Неужели же, спросятъ насъ, г. Константинъ Аксаковъ не

шута и въ Байронѣ видить искаженіе эпоса? — Должно быть такъ: ибо настоящій, истинный эпосъ, послѣ Гомера, явился только въ „Мертвыхъ Душахъ“ — отвѣчаемъ им... Да это (опять скажутъ намъ), это просто... нелѣпость, галматія!.. Помилуйте, какъ это можно (отвѣчаемъ мы): это умозрѣнія, спекулятивные построенія, гоголевская философія — на замоскворѣцкѣй ладъ...

Что между Гоголемъ и Гомеромъ есть сходство — въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; но какое сходство? — такое, что и тотъ и другой — поэты; другого нѣтъ и быть не можетъ. Однакожъ, такое сходство есть не только между Гомеромъ и французскимъ пѣсенникомъ Беранже, но и между Шекспиромъ и русскимъ баснописцемъ Крыловымъ: всѣхъ ихъ дѣлаетъ сходными — *творчество*. Но думать, что въ наше время возможенъ древній эпосъ — это такъ же нелѣпо, какъ и думать, чтобъ въ наше время человѣчество могло сдѣлаться изъ взрослого человѣка ребенкомъ; а думать такъ — значитъ быть чуждымъ всякаго историческаго созерцанія, и пустыя фантазіи празднаго воображенія выдавать за философскія истины...

И такъ повторяемъ: г. Константинъ Аксаковъ не называлъ Гоголя Гомеромъ, а „Мертвыя Души“ — „Иліадою“, онъ только сказалъ, что, во-первыхъ, „древній эпосъ былъ унижаемъ на западѣ“, а мы прибавили (и имѣли на это право) отъ себя: — Сервантесомъ, Вальтеромъ-Скотомъ, Куперомъ, Байрономъ; — и что, во-вторыхъ, „въ Мертвыхъ Душахъ древній эпосъ возстаетъ передъ нами“, а мы прибавили отъ себя (и имѣли на это право): — ergo, „Мертвыя Души“ то же самое въ новомъ мірѣ, что „Иліада“ въ древнемъ, а Гоголь то же самое въ исторіи новѣйшаго искусства, что Гомеръ въ исторіи древняго искусства.

Спрашиваемъ всѣхъ и у cadaго: была ли какая-нибудь возможность вывести другое заключеніе изъ положеній г. Константина Аксакова? или: была ли какая-нибудь возможность не вывести изъ положеній Константина Аксакова того заключенія, какое мы вывели? — И мы ли виноваты,

что заключеніе это насмѣшило весь читающій по-русски міръ?

Правда, г. Константинъ Аксаковъ далѣе въ своей брошюрѣ замѣчаетъ, что самое содержаніе кладетъ разницу между „Илиадою“ и „Мертвыми Душами:“ однакожь, эта оговорка у него не только не поясняетъ дѣла, а еще болѣе затемняетъ его, какъ противорѣчіе. Г. Константину Аксакову явно хотѣлось сказать что-то новое, неслыханное міромъ; и какъ у него не было ни силъ ни призванія сказать новой великой истины, то онъ и рассудилъ сказать великій... какъ бы это выразить?—ну, хоть *парадоксъ*... Удивительно ли, что, развивая и доказывая этотъ парадоксъ, онъ наговорилъ много такого, въ чемъ онъ самъ запутался, и надъ чѣмъ другіе только добродушно посмѣялись!.. Въ своемъ „объясненіи“, онъ особенно намекаетъ на то, что „эпическое созерцаніе Гоголя — древнее, истинное, то же, какое и у Гомера“ и что „только у одного Гоголя видимъ мы это созерцаніе“. Хорошо; да гдѣ же доказательства этого? Да нигдѣ — доказательства никакихъ, кромѣ увѣреній г. Константина Аксакова: — бѣдное и не надежное речательство!“ Поэма Гоголя (говоритъ онъ) представляетъ вамъ цѣлую форму жизни, цѣлый міръ, гдѣ опять, какъ у Гомера, свободно шумятъ и блещутъ воды, восходитъ солнце, красуется вся природа и живетъ человѣкъ, — міръ, являющій намъ глубокое цѣлое, глубокое, внутри лежащее содержаніе *общей жизни*, связующій единымъ духомъ всѣ свои явленія. „Вотъ всѣ доказательства близкой родственности гомеровскаго эпоса съ гоголевскимъ; но во-первыхъ, это столько же характеристика гоголевскаго эпоса, сколько и эпоса Вальтера-Скотта, съ тою только разницею, что эпосъ Вальтера-Скотта именно заключаетъ въ себѣ „содержаніе *общей жизни*,“ тогда какъ у Гоголя эта „общая жизнь“ является только какъ намекъ, какъ задняя мысль, вызываемая *совершеннымъ отсутствіемъ* общечеловѣческаго въ изображаемой имъ жизни. Противъ этого нечего возразить: это ясно. Помилуйте: какая *общая жизнь* въ Чичиковыхъ,

Салифанахъ, Маняловыхъ, Плюшкиныхъ, Собакевичахъ и во всемъ честномъ компанствѣ, занимающемъ свою пошлость вниманіе читателя въ „Мертвыхъ Душахъ?“ Гдѣ тутъ Гомеръ? Какой тутъ Гомеръ? Тутъ просто Гоголь — и больше ничего.

Говоря, что у Гоголя эпическое созерцаніе чисто древнее, истинное, гомеровское, и что Гоголь все-таки совсѣмъ не Гомеръ, а „Мертвыя Души“ нисколько не „Иліада,“ ибо-де само содержаніе уже кладетъ здѣсь разницу, — г. Константинъ Аксаковъ тотчасъ же прибавляетъ; „кто знаетъ, впрочемъ, какъ раскроется содержаніе „Мертвыхъ Душъ?“ — Именно такъ: *кто знаетъ это?* повторяемъ и мы. Глубоко уважая великій талантъ Гоголя, страстно любя его гениальныя созданія, мы въ то же время отвѣчаемъ и ручаемся только за то, что уже написано имъ; а насчетъ того, что онъ еще напишетъ, мы можемъ сказать только; *кто знаетъ, впрочемъ, какъ,* и пр. Особенно часто повторяемъ мы про себя: кто знаетъ, впрочемъ, какъ раскроется содержаніе „Мертвыхъ Душъ“? И на повтореніе этого вопроса наводятъ насъ слѣдующія слова въ поэмѣ Гоголя: „можетъ быть, въ сей же самой повѣсти почувются мнѣя, еще доселѣ небранные струны, предстанетъ несмѣтное богатство русскаго духа. пройдетъ мужъ, одаренный божественными доблестями, или русская дѣвица, *какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ,* со всею дивной красотой женской души, вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія. *И мертвыми покажутся предъ ними всѣ добродѣтельные люди друиыхъ племенъ, какъ мертва книга предъ живымъ словомъ.* (М. Д. ст. 430). „Да, эти слова творца „Мертвыхъ Душъ“ заставили насъ часто и часто повторять, въ тревожномъ раздумьи: „кто знаетъ, впрочемъ, какъ раскроется содержаніе „Мертвыхъ Душъ“?.. Именно, *кто знаетъ?*.. Много, слишкомъ много обѣщано, такъ много, что негдѣ и взять того, чѣмъ выполнить обѣщаніе, потому что того и нѣтъ еще на свѣтѣ; намъ какъ-то страшно, чтобъ первая часть, въ которой все комическое, не осталось истинною трагедіею, а остальные двѣ, гдѣ долж-

ны проступить трагическіе элементы, не сдѣлались комическими — по крайней мѣрѣ, въ патетическихъ мѣстахъ... Впрочемъ, опять-таки—кто знаетъ... Но кто бы ни зналъ, вопросъ этотъ, заданный г. Константиномъ Аксаковымъ, явно показываеъ, что если онъ, г. Константинъ Аксаковъ, и видитъ въ первой части „Мертвыхъ Душъ“ разницу съ „Иліадою“, налагаемую уже самимъ содержаніемъ, — то все-таки крѣпко надѣется, что въ двухъ послѣднихъ частяхъ „Мертвыхъ Душъ“ и эта разница сама собою уничтожится, и что, ergo, „Мертвыя Души“ — „Иліада“, а Гоголь — Гомеръ. Послѣдняго онъ не сказалъ, но мы въ правѣ опять вывести это комическое заключеніе...

Главное доказательство мнимой родственности гоголевскаго эпоса съ гомеровскимъ состоитъ у г. Константина Аксакова въ любви къ сравненіямъ, въ обиліи и сходствѣ этихъ сравненій у Гомера и у Гоголя. Странное и забавное доказательство! Объ этомъ сходствѣ упоминаетъ и еще другая критика — та самая, въ которой мы видимъ гораздо больше родственности и тождества съ брошюркою г. Константина Аксакова, нежели сколько между Гомеромъ и Гоголемъ; но въ той критикѣ находятъ сходство Гоголя, по отношенію къ сравненіямъ, не съ однимъ Гомеромъ, но съ Данте; а мы, съ своей стороны, беремъ найти его съ добрымъ десяткомъ новѣйшихъ поэтовъ. Изъ одного Пушкина можно выписать тысячу сравненій, такъ же напоминающихъ собою сравненія Гомера, какъ напоминаютъ ихъ сравненія Гоголя. Но вотъ одно, которое побольше всѣхъ гоголевскихъ сравненій напоминаетъ собою гомеровскія:

Ни на челѣ высокомъ, ни во взорахъ  
Нельзя прочесть его сокрытыхъ думъ;  
Все тотъ же видъ, смиренный, величавый.  
*Такъ точно дьякъ, въ приказъ поспѣлый,*  
*Спокойно зрѣть на правыхъ и виновныхъ,*  
*Добру и злу внимая равнодушно,*  
Не въдая ни жалости, ни тѣви.

Здѣсь даже не одно внѣшнее (какъ у Гоголя), но и внутреннее сходство съ Гомеромъ, заключающееся *въ научной*



*простоты, соединенной съ возвышенностію*; однако изъ этого еще не выходитъ никакого тождества между Гомеромъ и Пушкинымъ. Правда, „Борисъ Годуновъ“ въ тысячу разъ болѣе, чѣмъ „Мертвыя Души“, напоминаетъ собою Гомера *тономъ* многихъ своихъ страницъ, *тономъ наивно-простымъ и вмѣстѣ возвышеннымъ*; но на это сходство Пушкинъ наведенъ былъ не особенностью его поэтической натуры, или ея родственностью съ Гомеромъ, а сущностью избранной имъ для своей трагедіи эпохи, гдѣ самыя высокіе умы и сильныя характеры мыслили и говорили простодушно, или простодушно и возвышенно вмѣстѣ. Тутъ есть еще и другая причина: не смотря на свою драматическую форму, „Борисъ Годуновъ“ Пушкина есть, въ сущности, эпическое произведеніе, а эпосъ съ эпосомъ всегда имѣетъ большее или меньшее, ближайшее или отдаленнѣйшее сходство, какъ одинъ и тотъ же родъ поэзіи. Но это сходство уничтожается въ „Мертвыхъ Душахъ“ уже тѣмъ, что онѣ проникнуты насковозъ юморомъ. Если Гомеръ сравниваетъ тѣснимаго въ битвѣ Троянами Аякса съ осломъ, — онъ сравниваетъ его *простодушно*, безъ всякаго юмора, какъ сравнивалъ бы его со львомъ. Для Гомера, какъ и для всѣхъ Грековъ его времени, оселъ былъ животное почтенное и не возбуждалъ, какъ въ насъ, смѣха однимъ своимъ появленіемъ, или однимъ своимъ именемъ. У Гоголя же, напротивъ, сравненіе, напр., франтовъ, извивающихся около красавицъ, съ мухами, летящими на сахаръ, все насковозъ проникнуто юморомъ. Слѣдовательно, все сходство чисто внѣшнее, т. е. то, что и у Гомера есть сравненія, и у Гоголя есть сравненія; но такъ между Гомеромъ и Гоголемъ и еще можно найти большее сходство, именно то, что Гомеръ слагалъ свои возвышенно-наивныя созданія на греческомъ языкѣ, а Гоголь пишетъ по-русски; извѣстно же всѣмъ, что греческій и русскій языки происходятъ отъ одного корня, кромѣ уже того, что всѣ языки въ мірѣ, не смотря на ихъ различіе, основаны на однихъ и тѣхъ же началахъ разума человѣческаго...

Не зная, какъ, *впрочемъ, раскроется содержаніе* „Мерт-

выхъ Душъ“, въ двухъ послѣднихъ частяхъ, мы еще не понимаемъ ясно, почему Гоголь назвалъ „поэмою“ свое произведеніе, и пока видимъ въ этомъ названіи тотъ же юморъ, какимъ растворено и проникнуто насквозь это произведеніе. Если же самъ поэтъ почитаетъ свое произведеніе „поэмою“, содержаніе и герой которой есть субстанція русскаго народа, — то мы, не обинуясь, скажемъ, что поэтъ сдѣлалъ великую ошибку: ибо, хотя эта „субстанція“ глубока, и сильна, и громадна (что уже ярко проблескиваетъ и въ комическомъ опредѣленіи общественности, въ которомъ она пока проявляется, и которое Гоголь такъ гениально схватываетъ и воспроизводитъ въ „Мертвыхъ Душахъ“), однако субстанція народа можетъ быть предметомъ поэмы только въ своемъ разумномъ опредѣленіи, когда она есть нѣчто положительное и дѣйствительное, а не гадательное и предположительное, когда она есть уже прошедшее и настоящее, а не будущее только... Въ творчествѣ великая для художника задача — выбирать предметъ и содержаніе для произведенія; этотъ предметъ и это содержаніе всегда должны быть осозательно-опредѣленны; иначе, художественное произведеніе будетъ не полно, несовершенно, то что Французы называютъ *manqué*. И потому, великая ошибка для художника писать поэму, которая можетъ быть возможна въ будущемъ.

И такъ, чѣмъ болѣе рассматриваемъ дѣло г. Константина Аксакова, тѣмъ болѣе сходство между Гомеромъ и Гоголемъ становится... какъ бы сказать?—забавнѣе и смѣшнѣе... Смысль, содержаніе и форма „Мертвыхъ Душъ“ есть — „созерцаніе данной сферы жизни сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы“. Въ этомъ и заключается трагическое значеніе комическаго произведенія Гоголя; это и выводитъ его изъ ряда обыкновенныхъ сатирическихъ сочиненій, и этого-то не могутъ понять ограниченные люди, которые видятъ въ „Мертвыхъ Душахъ“ много смѣшного, *уморительнаго*, говоря ихъ просгонароднымъ жаргономъ, но мѣстами чорезчуръ — переутрированного. Всякое выстраданное произведеніе великаго таланта

имѣть глубокое значеніе, — и мы первые признаемъ „Мертвыя Души“ Гоголя великимъ по самому себѣ произведеніемъ въ мірѣ искусства, для иностранцевъ лишеннымъ всякаго общаго содержанія, но для насъ тѣмъ болѣе важнымъ и драгоценнымъ. Еще не было доселѣ болѣе важнаго для русской общественности произведенія, — и только одинъ Гоголь можетъ дать другое, болѣе важное произведеніе, а дастъ ли въ самомъ дѣлѣ — кто, впрочемъ, знаетъ, судя по нѣкоторымъ основнымъ началамъ воззрѣнія, которыя довольно непріятно промелькиваютъ въ „Мертвыхъ Душахъ“ и относятся къ нимъ, какъ крапинки и пятнышки въ картинѣ великаго мастера, — о чемъ мы поговоримъ въ свое время и подробнѣе и отчетливѣе...

Такимъ образомъ, если г. Константинъ Аксаковъ хочетъ оправдаться, а не отдѣлаться только отъ неосторожно высказанныхъ имъ странностей, — онъ долженъ сказать и доказать:

1) Почему древній эпосъ *снизошелъ* (слѣд. унизился) до романовъ, и считаетъ ли онъ Сервантеса, Вальтера-Скотта, Купера, Байрона, искажителями эпоса, возстановленнаго и спасеннаго Гоголемъ? Послѣдняя недомолвка очень подозрительна: изъ нея видно, что г. Константинъ Аксаковъ самъ испугался своихъ смѣлыхъ положеній.

2) Почему мы солгали на него, говоря, что изъ его положеній прямо выводится то слѣдствіе, что „Мертвыя Души“ — „Иліада“, а Гоголь — Гомеръ нашего времени?

3) Почему во французской повѣсти эпосъ дошелъ до своего крайняго униженія?

Но г. Константинъ Аксаковъ рѣшился ничего больше не говорить объ этомъ, послѣ своего ничего не объясниваемаго „Объясненія“: и хорошо сдѣлалъ — больше ему ничего и не остается; онъ высказалъ уже всю свою мудрость. За то, намъ еще много осталось кое-чего сказать.

Какъ, кромѣ частныхъ исторій отдѣльныхъ народовъ, есть еще исторія челоѣчества, — точно такъ, кромѣ частныхъ исторій отдѣльныхъ литературъ (греческой, латинской, французской и пр.), есть еще исторія всемірной ли-

тературы, предмет которой развитие человечества въ сферѣ искусства и литературы. Само собою разумѣется, что въ этой исторіи должна быть живая, внутренняя связь, что она должна предыдущимъ объяснять послѣдующее, ибо иначе она будетъ лѣтописью или перечнемъ фактовъ, а не исторіею. И потому, напримѣръ, романы Шотландца XIX вѣка, Вальтера-Скотта, непременно должны быть въ какой-нибудь связи съ поэмами Гомера. Эта связь именно состоитъ въ томъ, что романы В. Скотта суть необходимый моментъ дальнѣйшаго развитія эпоса, котораго первымъ моментомъ развитія могутъ быть поэмы индійскія, а послѣдующимъ моментомъ—поэмы Гомера. Въ исторіи нѣтъ скачковъ. Слѣдовательно, греческій эпосъ не *низшелъ* до романовъ, какъ мудрствуютъ г. Константинъ Аксаковъ, *и развился* въ романъ: ибо нелѣпо было бы предполагать, въ продолженіе трехъ тысячъ лѣтъ, пробѣлъ въ исторіи всемірной литературы, и отъ Гомера прыгнуть прямо къ Гоголю, который, еще, въ добавокъ, и нисколько не принадлежитъ ко всемірно-историческимъ поэтамъ... Вотъ почему мы основательно, а не наобумъ, исторически, а не фантастически думаемъ и убѣждены, что, напримѣръ, какой-нибудь *Дикте*, въ дѣлѣ эпоса, побольше значитъ Гоголя, что тутъ имѣетъ свое значеніе и Аріостъ, и что не только Сервантесъ, Вальтеръ-Скоттъ, Куперъ, какъ художники по преимуществу, но и Свифтъ, Стернъ, Вольтеръ (философскіе романы и повѣсти), Руссо („Новая Элоиза“), имѣютъ несравненно и неизмѣримо высшее значеніе во всемірно-исторической литературѣ, чѣмъ Гоголь, ибо въ нихъ совершилось развитіе эпоса и со стороны содержанія, и со стороны искусства, и со стороны содержанія и искусства вмѣстѣ. Говорить же, что Гоголь прямо вышелъ изъ Гомера, или продолжалъ собою Гомера мимо всѣхъ прочихъ, и старинныхъ и современныхъ поэтовъ Европы, значитъ, вмѣсто похвалы, оскорблять его, значитъ выключать его изъ историческаго развитія, выставять человѣкомъ, чуждымъ современности, чуждымъ знанія всего, что было до него... Чтѣ же касается до мысли о какой-то родственности

гоголевскаго эпоса съ гомеровскимъ, — мы уже доказали, что эта мысль больше, чѣмъ неосновательна. При томъ же, если бѣ и такъ было, надобно бѣ было объяснить, въ чемъ тутъ заслуга со стороны Гоголя, тѣмъ болѣе, что авторъ брошюры говоритъ объ этомъ такимъ торжествующимъ тономъ, какъ будто ставитъ это въ величайшую заслугу Гоголю.

Теперь о крайнемъ искаженіи эпоса во французской повѣсти: это еще что за исторія? Г. Константинъ Аксаковъ видитъ во французской повѣсти—простой анекдотъ, родъ шарады, гдѣ все дѣло въ сюжетѣ, т. е. въ сплетеніи и расплетеніи событія (fable): да вольно же ему видѣть это, когда этого нѣтъ во французской повѣсти \*), а есть совсѣмъ другое, именно: характеры, дивное, однимъ только Французамъ сродное искусство разсказа, социальныя и нравственныя вопросы, вопли и страданія современности?.. Если кто-нибудь зажмуритъ глаза и станетъ доказывать, что нѣтъ на свѣтѣ солнца и свѣта,—что ему на это скажутъ?—конечно не другое что, какъ „открой глаза“; но онъ слѣпъ отъ природы,—тогда что ему скажутъ? — вотъ что: „ты правъ, для тебя точно нѣтъ на свѣтѣ ни солнца, ни свѣта“... А что, можетъ быть г. Константинъ Аксаковъ не любитъ французскихъ повѣстей — его воля, да только публикѣ-то что за дѣло, что любить и чего не любить Константинъ Аксаковъ? Французскія повѣсти читаются всѣмъ просвѣщеннымъ и образованнымъ міромъ, во всѣхъ пяти частяхъ земнаго шара, французская повѣсть есть плодъ французской литературы, а французская литература имѣетъ всемірно-историческое значеніе. Въ одномъ мѣстѣ своего „Объясненія“, г. Константинъ Аксаковъ замѣчаетъ, въ скобкахъ, мимоходомъ, что въ разрядъ великихъ писателей Жоржъ Зандъ не входитъ ни безусловно, ни условно, — и думаетъ, что этими словами онъ рѣшилъ дѣло и все сказалъ; тогда какъ онъ этимъ сказалъ только, что онъ или совсѣмъ не читалъ Жоржа Занда, или читалъ, да не

\*) Исключая, разумѣется, плохихъ повѣстей, которыя есть у всѣхъ народовъ, а иногда бывають и у великихъ поэтовъ...

понялъ. Здѣсь не мѣсто распространяться о Жоржѣ Зандѣ; скажемъ только, что Жоржъ Зандъ имѣетъ большое значеніе и во всемірно-исторической литературѣ, не въ одной французской, тогда какъ Гоголь, при всей неотъемлемой великости его таланта, не имѣетъ *рѣшительно никакого* значенія во всемірно-исторической литературѣ и великъ только въ одной русской, что, слѣдовательно, имя Жоржа Занда безусловно можетъ входить въ реестръ именъ европейскихъ поэтовъ, тогда какъ помѣщенія рядомъ именъ Гоголя, Гомера и Шекспира оскорбляетъ и приличіе и здравый смыслъ... Въ послѣднемъ, кромѣ г. Константина Аксакова, никто въ мірѣ не усомнится, а насчетъ перваго можно представить сильныя доказательства...

Вдобавокъ къ вопросу о повѣсти, какъ крайнемъ униженіи эпоса, скажемъ, что если ужъ видѣть это униженіе въ повѣсти, то, конечно, скорѣе въ нѣмецкой, чѣмъ во французской. Нѣмецкая повѣсть возникла и выросла на почвѣ отвлеченія, аскатизма, антиобщественности; она изображаетъ не общество, а отдѣльныя личности, которыхъ вся жизнь и вся повѣсть жизни состоитъ въ перебивахъ внутреннихъ ощущеній, фантастическихъ и фантазерскихъ грѣзъ, и которыхъ все блаженство заключается не въ стремленіи къ идеалу дѣйствительной жизни и достиженіи его, а въ томъ, чтобъ любоваться собственнокъ внутреннею глубокостію и пустою праздною жизнію ощущенія, вмѣсто дѣйствія. Но и нѣмецкая повѣсть, какъ мы это замѣтили уже и въ рецензій, даже какъ и уклоненіе отъ нормы<sup>1</sup> имѣетъ свое всемірно-историческое значеніе, объясняемое изъ національнаго духа Нѣмцевъ.

Теперь о равенствѣ Гоголя съ Гомеромъ и Шекспиромъ. Г. Константинъ Аксаковъ говоритъ, будто мы взвели на него небылицу, приписывая ему изобрѣтеніе равенства Гоголя съ Гомеромъ и Шекспиромъ. Онъ не отрицается отъ изобрѣтенія этого удивительнаго равенства, но ставитъ намъ въ вину, что мы не замѣтили *въ какомъ отношеніи* разумѣетъ онъ это равенство; а разумѣетъ онъ его, извольте видѣть, *въ отношеніи къ акту творчества*. По-

длинно, есть за что обвинять насъ: понимать г. Константина Аксакова такъ трудно, тѣмъ болѣе, что онъ, кажется, самъ себя не совсѣмъ понимаетъ. Брошюра его — это такая смѣсь несвязанныхъ между собою... не мыслей, а скорѣе — *недомысловъ*, что трудно разобрать, что онъ разумѣетъ тутъ, и какъ его понимать! Онъ говоритъ, что Гоголь равенъ Гомеру и Шекспиру по акту творчества, и что въ отношеніи къ акту творчества, только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь — величайшіе поэты; и въ то же время онъ, съ какою-то наивностію, увѣряетъ, что этимъ онъ нисколько не унижаетъ великихъ европейскихъ поэтовъ, думая, вѣроятно, что для Данте, Сервантеса, Вальтера Скотта, Купера, Байрона, Шиллера, Гёте — большая честь стоять въ почтительномъ отдаленіи отъ Гоголя, пріятельски обнявшагося съ Гомеромъ и Шекспиромъ! Да, милостивый государь, съ чего вы взяли, что Гоголь, и по акту творчества родной братъ Гомеру и Шекспиру, и выше всѣхъ другихъ великихъ европейскихъ поэтовъ? Съ чего вы взяли, что вамъ стоило только выговорить эту, положимъ изъ вѣжливости — мысль, чтобъ ее всѣ, подобно вамъ, нашли непреложною и истинною? Гдѣ на это доказательства, гдѣ ваши доводы? Ваше убѣжденіе? — да публикѣ-то какое дѣло до вашихъ убѣжденій?.. Употребивъ оговорку — по отношенію къ акту творчества, а не содержанію, г. Константинъ Аксаковъ думаетъ, — что онъ совершенно оправдался и сдѣлалъ насъ кругомъ виноватыми... Какая милая наивность, какая буколическая невинность!.. Развивая свою мысль о равенствѣ Гоголя съ Гомеромъ и Шекспиромъ (по отношенію къ акту творчества), г. Константинъ Аксаковъ говоритъ: „Мы далеки отъ того, чтобъ „унижать колоссальность другихъ поэтовъ, по въ отношеніи къ акту созданія, они ниже Гоголя (*sic!*...)). Развѣ „не можетъ быть такъ напримѣръ: поэтъ, обладающій „полнотою творчества, можетъ создать, положимъ, цвѣтокъ, „другой создаетъ великаго человѣка; велико будетъ дѣло „последняго, но оно будетъ ниже въ отношеніи къ той „полнотѣ и живости, какую даетъ, поэтъ, обладающій

„тайною творчества“. Хорошо, но зачѣмъ брать ложныя сравненія, если не за тѣмъ, чтобъ оправдать натяжками ложныя мысли?— Не лучше ли было бы сказать такъ, на-примѣръ: „Поэтъ, обладающій полнотою творчества, можетъ создать, положимъ, цвѣтокъ; другой, обладающій такою же полнотою, создаетъ великаго человѣка: ничтожно будетъ дѣло перваго передъ дѣломъ втораго, какъ ничтоженъ, въ ряду явленій жизни, цвѣтокъ передъ великимъ человѣкомъ?“ Какъ вы думаете объ этомъ, г. Константины Аксаковъ? Это не совсѣмъ выгодно для вашего идолопоклонства, зато ближе къ истинѣ—повѣрьте намъ, въ этомъ случаѣ, на слово, или спросите у здраваго смысла—онъ за насъ!.. Но положимъ, что я такъ, положимъ, что вы ставите Го-голя выше колоссальныхъ европейскыхъ поэтовъ только по акту творчества, а не по содержанію; но зачѣмъ же вы прибавляете эти слова: „Но Боже насъ сохрани, чтобъ миниатюрное сравненіе съ цвѣткомъ было въ нашихъ глазахъ мѣриломъ для великихъ созданій Гоголя“! Какой смыслъ этихъ словъ—не этотъ ли: по акту творчества, Гоголь выше колоссальныхъ европейскыхъ поэтовъ, кромѣ Гомера и Шекспира, съ которыми онъ равенъ, а по содержанію онъ по уступаетъ имъ, ergo съ Гомеромъ и Шекспиромъ онъ равенъ во всѣхъ отношеніяхъ, а съ другими европейскими поэтами онъ равенъ по содержанію и выше ихъ по акту творчества?.. Какъ вамъ угодно, а выходитъ такъ! Нашъ выводъ изъ вашихъ словъ, или вашихъ противорѣчій— все равно, вѣренъ... Гдѣ же наши на васъ выдумки, лжи и клеветы?..

Актъ творчества дѣйствительно великая сила въ поэтѣ, какъ отвлеченная сообразительность въ математикѣ: противъ этого никто не спорить и безъ ссылокъ на *über die aesthetische Erziehung* Шпллера, которое г. Константины Аксаковъ совѣтуетъ намъ прочесть хоть *во французскомъ переводѣ*, тонко намекая этимъ, что онъ знаетъ по-нѣмецки, какъ будто для всякаго другого это рѣшительная невозможность. Безъ акта творчества нѣтъ поэта—это аксіома; но въ наше время мѣриломъ величія поэтовъ при-



нимается не акт творчества, а идея, общее... Многія стихотворенія Гейне такъ хороши, что ихъ можно и принять за Гётовскія, но Гейне, не смотря на то, все-таки пигмей передъ колоссальнымъ Гёте. Въ чемъ же ихъ разница? — въ идеѣ, въ содержаніи... „Иванъ Ѳеодоровичъ Шпонька и его тетушка“, по отношенію акта творчества, дѣйствительно не ниже шекспировскаго „Гамлета“; но не смотря на то, въ сравненіи съ „Гамлетомъ“ повѣсть Гоголя—абсолютное ничтожество, такъ, что даже есть что-то смѣшное въ какомъ бы то ни было сближеніи этихъ двухъ произведеній... Право такъ, г. Константинъ Аксаков!.. Почти такъ же комически забавно и сближеніе „Мертвыхъ Душъ“ съ „Іліадою“... Дѣйствительно, Гоголь обладаетъ удивительною полнотою въ актѣ творчества, и эта полнота дѣйствительно можетъ служить ручательствомъ, что Гоголь могъ бы произвести колоссальныя созданія и со стороны содержанія, и не смотря на то, все-таки могъ бы не сравняться ни съ Гомеромъ, ни съ Шекспиромъ, ни стать выше другихъ колоссальныхъ европейскихъ поэтовъ, если бь современная русская жизнь могла дать ему необходимое для такихъ созданій содержаніе... Мы имѣнно въ томъ-то и видимъ великость и гениальность Гоголя, что онъ, своимъ артистическимъ инстинктомъ, вѣренъ дѣйствительности, и лучше хочетъ ограничиться, впрочемъ, великою задачею—объектировать современную дѣйствительность, внеся свѣтъ въ мракъ ея, чѣмъ воспѣвать на досугѣ то, до чего никому, кромѣ художниковъ и диллетантовъ, нѣтъ никакого дѣла, или изображать русскую дѣйствительность такую, какой она никогда не бывала. *Впрочемъ, кто знаетъ, какъ еще раскроется содержаніе „Мертвыхъ Душъ“...* Намъ обѣщаютъ мужей и дѣвъ неслыханныхъ, какихъ еще не было въ мірѣ, и въ сравненіи съ которыми великіе нѣмецкіе люди (т. е. западные европейцы) окажутся пустѣйшими людьми... Да; кто знаетъ, впрочемъ... можетъ быть, судя по этимъ обѣщаніямъ, г. Константинъ Аксаковъ и дождется скоро оправданія нѣкоторыхъ изъ его фантазій... Тогда мы низко ему поклонимся и отъ души поздравимъ его... Но до

тѣхъ поръ — повторяемъ: въ томъ, что художническая дѣятельность Гоголя вѣрна дѣйствительности, мы видимъ черту гениальности.

Да, велика творческая сила фантазій Гоголя — мы въ этомъ согласны съ г. Константиномъ Аксаковымъ. Но почему она выше творческой силы фантазій великихъ европейскихъ поэтовъ—этого мы не понимаемъ. Мы даже имѣемъ дерзость думать, что непосредственность творчества у Гоголя имѣетъ свои границы, и что она иногда измѣняетъ ему, особенно тамъ, гдѣ въ немъ поэтъ сталкивается съ мыслителемъ, т. е. гдѣ дѣло касается идей... Кстати: вѣдь эти идеи, кромѣ огромнаго таланта, или, пожалуй, и генія, кромѣ естественной силы непосредственнаго творчества, требуютъ эрудиціи, интеллектуальнаго развитія, основаннаго на неослабимъ преслѣдованіи быстро-несущейся умственной жизни современнаго міра—именно того, чѣмъ такъ сильны и велики, наприм., Байронъ, Шиллеръ, Гёте, — эти идеи, заклятые враги безвыходно-замкнутой внутри себя жизни, враги умственнаго аскетизма, который заставляетъ поэтовъ закрывать глаза на все въ мірѣ, кромѣ самихъ себя... Что непосредственность творчества нерѣдко измѣняетъ Гоголю, или что Гоголь нерѣдко измѣняетъ непосредственности творчества, это ясно доказывается его повѣстями (еще въ „Вечерахъ на Хуторѣ“), „Вечеромъ наканунѣ Ивана Купала“ и „Страшную Местью“, изъ которыхъ ложное понятіе о народности въ искусствѣ сдѣлало какія-то уродливыя произведенія, за исключеніемъ нѣсколькихъ превосходныхъ частныхъ, касающихся до проникнутаго юморомъ изображенія дѣйствительности. Но особенно это ясно изъ вполнѣ неудачной повѣсти „Портретъ“. Она была напечатана въ „Арабескахъ“ еще въ 1835 году; но, должно быть, чувствуя ея недостатки, Гоголь недавно передѣлалъ ее совсѣмъ. И что же вышло изъ этой передѣлки? Первая часть повѣсти, за немногими исключеніями, стала несравненно лучше, именно тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ изображеніи дѣйствительности (одна сцена квартальнаго, разсуждающаго о картинахъ Чарткова, сама-по-себѣ, отдѣльно

взятая, есть уже гениальный эскиз); но вся остальная половина повѣсти невыносимо дурна и со стороны главной мысли и со стороны подробностей. И что за мысль, напр., благонамѣренный, умный и благородный вельможа, жаркій патриотъ, дѣятельный покровитель искусствъ и наукъ въ отечествѣ, вдругъ, ни съ того ни съ сего, дѣлается обскурантомъ, злодѣемъ, гонителемъ просвѣщенія, — отъ чего же? Отъ того, что взялъ денегъ займы у страшнаго ростовщика, у таинственнаго Грека!.. Дѣло какъ будто бы въ томъ, что займи этотъ вельможа у другого кого-нибудь, только бы не у этого Грека, онъ остался бы прежнимъ благороднымъ человѣкомъ... Итакъ, вотъ отъ какого фатализма зависитъ нравственность человѣка!.. Да помилуйте, такіа дѣтскія фантазмагоріи могли плѣнять и ужасать людей только въ невѣжественные средніе вѣка, а для насъ онѣ не занимательны и не страшны, просто — смѣшны и скучны... И потомъ, что за подробности: на аукціонѣ художникъ Б. нашелъ мѣсто и время рассказывать исторію страшнаго портрета, и его всѣ заслушались, а портретъ между тѣмъ пропалъ... Нѣтъ, *такое* исполненіе повѣсти не сдѣлало бы особенной чести самому незначительному дарованію. А мысль повѣсти была бы прекрасна, если бъ поэтъ понялъ ее въ *современномъ* духѣ: въ Чартковѣ онъ хотѣлъ изобразить даровитаго художника, погубившаго свой талантъ, а слѣдовательно и самого себя, жадностію къ деньгамъ и обаяніемъ молкой извѣстности. И выполненіе этой мысли должно было быть просто, безъ фантастическихъ затѣй, на почвѣ ежедневной дѣйствительности: тогда Гоголь, съ своимъ талантомъ, создалъ бы нѣчто великое. Не нужно было бы приплетать тутъ и страшнаго портрета съ страшно-смотрящими живыми глазами (въ которомъ поэтъ, кажется, хотѣлъ выразить гибельныя слѣдствія копированія съ натуры, вмѣсто творческаго воспроизведенія съ натуры, и выразилъ черезчуръ затѣйливо, холодно и сухо-аллегорически); не нужно было бы ни ростовщика, ни аукціона, ни многого, что поэтъ почелъ столь нужнымъ, именно отъ того, что отдалился отъ современнаго взгляда на жизнь

и искусство. (Это же доказывает он недавно напечатанная въ „Москвитинѣ“ статья „Римъ“, въ которой есть удивительно яркія и вѣрныя картины дѣйствительности, но въ которой есть и косые взгляды на Парижъ и близорукіе взгляды на Римъ, и—что всего непостижимѣе въ Гоголѣ—есть фразы, напоминающія свою вычурною изысканностію языкъ Марлинскаго. Отчего это?—Думаемъ, отъ того, что при богатствѣ современнаго содержанія и обыкновенный талантъ чѣмъ дальше, тѣмъ больше крѣпнеть, а при одномъ актѣ творчества и геній наконецъ начинаетъ постепенно ниспускаться... Въ „Мертвыхъ Душахъ“, гдѣ Гоголь снова очутился на русской, а не на европейской почвѣ, и въ дѣйствительной, а не въ фантастической сферѣ, въ „Мертвыхъ Душахъ“ также есть, по крайней мѣрѣ, обмолвки противъ непосредственности творчества, и весьма важныя, хотя и не весьма многочисленныя: на стр. 261—266, поэтъ весьма неосновательно заставляетъ Чичикова расфантазироваться о бытѣ простаго русскаго народа, при разсматриваніи реестра скупленныхъ имъ мертвыхъ душъ. Правда, это „фантазированіе“ есть одно изъ лучшихъ мѣстъ поэмы: оно исполнено глубины мысли и силы чувства, безконечной поэзіи и вмѣстѣ паразитической дѣйствительности: но тѣмъ менѣе идетъ оно къ Чичикову, человѣку гениальному въ смыслѣ плута-пріобрѣтателя, но совершенно пустому и ничтожному во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Здѣсь поэтъ явно отдалъ ему свои собственныя благороднѣйшія и чистѣйшія слезы, незримыя и невѣдомыя міру, свой глубокой, исполненный грустною любовію юморъ, и заставилъ его высказать то, что долженъ былъ выговорить отъ своего лица. Равнымъ образомъ, также мало идетъ къ Чичикову и его размышленія о Собакевичѣ, когда тотъ писалъ расписку: эти размышленія слишкомъ умны, благородны и гуманны; ихъ слѣдовало бы автору сказать отъ своего лица... Характеристика Британца съ его сердцездѣніемъ и мудростію, Француза съ его недолговѣчнымъ словомъ, также показываетъ только то, что авторъ не совсѣмъ хорошо знаетъ

ни Британцевъ, ни Французовъ, ни Нѣмцевъ, и что незнанію не поможетъ никакой актъ творчества. И между тѣмъ, Гоголь все-таки обладаетъ удивительною силою непосредственнаго творчества (въ смыслѣ способности воспроизводить каждый предметъ во всей полнотѣ его жизни, со всѣми его тончайшими особенностями); только эта сила у него имѣетъ свои границы и иногда измѣняетъ ему (чего такимъ образомъ, какъ у Гоголя, не случалось ни съ Гомеромъ, ни съ Шекспиромъ, ни съ Байрономъ, ни съ Шиллеромъ, ни даже съ Пушкинымъ, и что очень часто, и еще хуже, случалось съ Гёте вслѣдствіе аскетическаго и антиобщественнаго духа этого поэта, съ которымъ все-таки нельзя смѣть равнять Гоголя). Но эта удивительная сила непосредственнаго творчества, которая составляетъ *пока еще* главную силу, высочайшее достоинство Гоголя, и посредствомъ которой, подобно волшебнику-властелину царства духовъ, вызывающему послушныя на голосъ его заклинанія безплотныя тѣни, — онъ неограниченный властелинъ царства прозрачной дѣйствительности—самовластно вызываетъ передъ себя ея представителей, заставляя ихъ обнажить передъ нимъ такіе сокровенные изгибы ихъ натуръ, въ которыхъ они не сознались бы самимъ себѣ подъ страхомъ смертной казни, — эта-то, говоримъ мы, удивительная сила непосредственнаго творчества, въ свою очередь, много вредитъ Гоголю. Она, такъ сказать, *отводитъ ему глаза* отъ идей и нравственныхъ вопросовъ, которыми кипитъ современность, и заставляетъ его преимущественно устремлять вниманіе на факты и довольствоваться объективнымъ ихъ изображеніемъ. Въ „Отеч. Запискахъ“ уже было замѣчено, что къ числу особенныхъ достоинствъ „Мертвыхъ Душъ“ принадлежитъ болѣе ощутительное, чѣмъ въ прежнихъ сочиненіяхъ Гоголя, присутствіе субъективнаго начала, а слѣдовательно, и *рефлексіи*. Надо желать, чтобъ это преобладаніе рефлексіи постепенно въ немъ усиливалось, хотя бы на счетъ акта творчества, изъ котораго такъ хлопочетъ г. Константинъ Аксаковъ. Гоголь въ своей эстетикѣ, въ особенную заслугу поставляетъ Шиллеру.

преобладаніе, въ его произведеніяхъ, рефлектирующаго элемента, называя это преобладаніе выраженіемъ духа новѣйшаго времени. Совѣтуемъ г. Константину Аксакову прочесть это мѣсто въ подлинникѣ (мы вѣримъ его знанію нѣмецкаго языка) и поразмыслить о немъ. Безъ способности къ непосредственному творчеству, нѣтъ и быть не можетъ поэта—кто жъ этого не знаетъ? но когда человѣка называютъ поэтомъ, то уже необходимо предполагаютъ въ немъ эту способность, даже не говоря о ней, и обращая вниманіе на идею, на содержаніе. Если же эта способность въ поэтѣ слишкомъ сильна, то о ней тогда только толкуютъ и кричатъ, когда не видятъ въ немъ глубокаго содержанія. Говоря о Шекспирѣ, было бы странно восторгаться его умѣньемъ все представлять съ поразительною вѣрностью и истиною, вмѣсто того, чтобъ удивляться *значенію* и *смыслу*, которые его творческій разумъ даетъ образамъ его фантазіи. Въ живописцѣ, конечно, великое достоинство—умѣнье свободно владѣть кистью и повелѣвать красками, но это умѣнье еще не составляетъ великаго живописца. Идея, содержаніе, творческій разумъ—вотъ мѣрило для великихъ художниковъ.

Г. Константинъ Аксаковъ ставитъ въ великую заслугу Гоголю, что у него юморъ, выставя субъектъ, не уничтожаетъ дѣйствительности: да что же бы это былъ за юморъ, если бъ онъ уничтожалъ дѣйствительность? стѣило ли бы тогда и говорить о немъ? Г. Константинъ Аксаковъ говоритъ еще, что такого юмора онъ не нашелъ ни у кого кромѣ Гоголя: вольно же было не поискать—авось либо и можно было найти. Не говоря уже о Шекспирѣ, на примѣръ, въ романѣ Сервантеса Донъ-Кихоть и Санчо Панса нисколько не искажены: это лица живыя, дѣйствительныя; но, Боже мой! сколько юмору, и веселаго, и грустнаго, и спокойнаго, и ѣдкаго, въ изображеніи этихъ лицъ! Такихъ примѣровъ можно найти довольно. Что у Гоголя свой юморъ, и что это тотъ юморъ составляетъ главную стихію его таланта,—это другое дѣло; противъ этого нельзя спорить.

Г. Константинъ Аксаковъ нашелъ, въ своей брошюрѣ, что Чичиковъ сливается съ субстанціей русскаго народа въ любви къ скорой ѣздѣ: мы надъ этимъ посмѣялись въ нашей рецензій, и вотъ онъ опять упрекаетъ насъ въ искаженіи словъ его: онъ, видите, разумѣлъ не просто „скорую ѣзду“, но ѣзду на телѣгѣ и на тройкѣ лошадей. Виноваты—просмотрѣли, въ чемъ дѣло; но все-таки субстанціи русскаго народа не видимъ ни въ тройкѣ, ни въ телѣгѣ. Коляску четвернею всѣ образованные Русскіе лучше любятъ, чѣмъ тряскую телѣгу, на которой заставляетъ ѣздить только необходимость. Но желѣзную дорогу даже и необразованные Русскіе, т. е. мужички православные, теперь рѣшительно предпочитаютъ завѣтной телѣгѣ и тройкѣ: доказательство можно каждый день видѣть на царскосельской дорогѣ. Иначе и быть не можетъ: свѣтъ побѣдитъ тьму, просвѣщеніе побѣдитъ невѣжество, образованность побѣдитъ дикость, а желѣзными дорогами будутъ побѣждены телѣги и тройки. Пожалуй, вной субстанцію русскаго народа запрячетъ въ горшокъ со щами и кашею, или, вмѣсто бѣлужины, запечетъ ее въ кулебякѣ... Можно любить тяжелую, грубую, хотя и вкусную русскую кухню,— и однакожь не въ ней ощущать себя въ лонѣ русской національности... Г. Константинъ Аксаковъ отсыластъ насъ къ страницамъ „Мертвыхъ Душъ“, гдѣ дѣйствительно съ энтузіазмомъ описана тройка съ телѣгою: страницы эти мы читали не разъ; но онѣ намъ ничего не доказали, кромѣ ухарской, забубенной удали и какой-то беззаботности простого русскаго народа въ дѣлѣ улучшеній... Ссылка на „Мертвыя Души“ еще не доказательство; мы сами глубоко уважаемъ, горячо любимъ великій талантъ Гоголя, но идолопоклонничать ни передъ кѣмъ не хотимъ; въ наше время идолопоклонство есть ребячество, г. Константинъ Аксаковъ!

Мы съ вами не ребята:

Зачѣмъ же мнѣнія чужія только святы!

Г. Константинъ Аксаковъ опять доказываетъ, что въ Маниловѣ есть своя сторона жизни: да кто же въ этомъ сомнѣвался, равно какъ и въ томъ, что и въ свиньѣ, ко-

торая, роясь на дворѣ Коробочки, съѣла жимоходомъ ды-  
 пленка, есть своя сторона жизни? Она ѣсть и пьетъ стало-  
 быть живеть; такъ можно ли думать, что не живеть Ма-  
 ниловъ, который не только ѣсть и пьетъ, но еще и ку-  
 рить табакъ, и не только курить табакъ, но еще и фан-  
 тазируетъ...

Вообще, видно, что сбившись съ прямого пути назва-  
 ніемъ „поэмы“, которое Гоголь далъ своему произведенію,  
 г. Копстантинъ Аксаковъ готовъ находить прекрасными  
 людьми всѣхъ изображенныхъ въ ней героевъ... Это, по  
 его мнѣнію, значить понимать юморъ Гоголя... Что бы онъ  
 ни говорилъ, но изъ тону и изъ всего въ его брошюрѣ  
 видно, что онъ въ „Мертвыхъ Душахъ“ видитъ русскую  
 „Иліаду“. Это значить понять поэму Гоголя совершенно  
 наизуворотъ. Всѣ эти Маниловы и подобные имъ забавны  
 только въ книгѣ; въ дѣйствительности же избави Боже съ  
 ними встрѣчаться, — а не встрѣчаться съ ними нельзя, по-  
 тому что ихъ таки довольно въ дѣйствительности, слѣдова-  
 тельно, они представители нѣкоторой ея части. Хороша же  
 „Иліада“, героемъ которой дѣйствительность, имѣющая та-  
 кихъ представителей!.. „Иліаду“ можетъ напомнить собою  
 только такая поэма, содержаніемъ которой служить суб-  
 станціальная стихія національной жизни, со всѣмъ богат-  
 ствомъ ея внутренняго содержанія, въ которой эта жизнь  
*полагается*, а не *отрицается*... Истинная критика „Мерт-  
 выхъ Душъ“ должна состоять не въ восторженныхъ кри-  
 кахъ о Гомерѣ и Шекспирѣ, объ актѣ творчества, о до-  
 стоинствахъ Манилова, о неспорченной русской натурѣ  
 Селифана, о тройкѣ и телѣтѣ: нѣтъ, истинная критика  
 должна раскрыть наосозъ поэмы, который состоитъ въ про-  
 тиворѣчій общественныхъ формъ русской жизни съ ея глу-  
 бокимъ субстанціальнымъ началомъ, доселѣ еще таинствен-  
 нымъ, доселѣ еще неоткрывшемся собственному сознанию  
 и неуловимымъ ни для какого опредѣленія. Потому критика  
 должна войти въ основы и причины этихъ формъ, должна  
 рѣшить множество, повидному простыхъ, но въ сущности  
 очень важныхъ вопросовъ, въ родѣ слѣдующихъ: Отчего



прекрасную блондинку разобрали до слезъ, когда она даже не понимала, за что ее бранить? Отчего весь губернский городъ N оказался и хорошо населеннымъ и люднымъ, когда сплетни насчетъ Чичикова получили свое начало отъ живого участія „пріятной во всѣхъ отношеніяхъ дамы“ и „просто — пріятной дамы“? Отчего наружность Чичикова показалась „благонамѣренною“ губернатору и всѣмъ савонникамъ города N? Что значить слово „благонамѣренный“ на чиновническомъ нарѣчій? Отчего авторъ поэмы необходимо принадлежностію длинной и скучной дороги почитаетъ не только холода (которые бывають на всякихъ дорогахъ), но и слякоть, грязь, починки, перебранки кузнецовъ и всякихъ дорожныхъ подлецовъ? Отчего Собакевичъ приписалъ Елизавету Воробья? Отчего прокурорскій кучеръ былъ малый опытный, потому что правилъ одною рукою, а другую засунувъ назадъ придерживалъ ею барина? Отчего сольвычегодскіе угостили на пиру (а не въ лѣсу, при дорогѣ) устьсысольскихъ на смерть, а сами отъ нихъ понесли крѣпкую ссадку на бока, подъ-микитки, и все это назвали „пошалить немного“? Много такихъ вопросовъ можно выставить. Знаемъ, что большинство почтеть ихъ мелочными. Тѣмъ-то и велико созданіе „Мертвыя Души“, что въ немъ сокрыта и разанатомирована жизнь до мелочей, и мелочамъ этимъ придано общее значеніе. Конечно, какой-нибудь Иванъ Антоновичъ, Кувшинное рыло, очень смѣшенъ въ книгѣ Гоголя и очень мелкое явленіе въ жизни, но если у васъ случится до него дѣло, такъ вы и смѣяться надъ нимъ потеряете охоту, да и мелкимъ его не найдете... Почему онъ такъ можетъ показаться важнымъ для васъ въ жизни—вотъ вопросъ!.. Гоголь гениально (пустяками и мелочами) пояснилъ тайну, отчего изъ Чичикова вышелъ такого рода „приобрѣтатель“; это-то и составляетъ его поэтическое величіе, а не мнимое сходство съ Гомерами и Шекспирами...

Г. Константинъ Аксаковъ ставитъ намъ въ вину, что мы вовсе пропустили слѣдующія строки въ его брошюрѣ: „такіе тѣсныя пробѣлы не позволяютъ намъ сказать о

многомъ, развить многое, и дать заранѣ, полныя объясненія на недоумѣнія и вопросы, могущіе возникнуть при чтеніи нашей статьи. *Но надѣмся, что они разрѣшатся сами собою.* Выписавъ эти строки, г. Константинъ Аксаковъ замѣчаетъ: „Но у рецензента не было ни недоумѣній, ни вопросовъ; онъ сейчасъ рѣшительно не понялъ, въ чемъ дѣло. „Неправда, рѣшительная неправда, г. Константинъ Аксаковъ: брошюра ваша возбудила въ рецензентѣ сильное недоумѣніе касательно того, что въ ней говорится, возбудила вопросъ, какъ въ наше время могутъ являться въ свѣтъ подобныя фантасмагоріи празднаго воображенія и пустого философствованія; но онъ, рецензентъ, если не тотчасъ же, то очень скоро, понялъ въ чемъ дѣло, т. е., понялъ, что оно заключается только въ сильномъ желаніи отличиться чѣмъ-нибудь необыкновеннымъ въ литературѣ... И такъ, надежда г. Константина Аксакова совершенно сбылась: дѣло его брошюры объяснилось само собою... А что тѣсныя предѣлы статьи его не позволили ему много развить и заранѣе отвѣтить на вопросы (которые, видно, чуяло его сердце), — это уже не наша, а его вина: вольно же ему было избирать тѣсныя предѣлы, вмѣсто обширныхъ...“

Остальные пункты „объясненія“ г. Константина Аксакова состоятъ въ слѣдующемъ:

1. Г. Константинъ Аксаковъ могъ бы доказать ясно, что „Отеч. Записки“ жестоко ошибаются, думая, что пока еще русскій поэтъ не можетъ быть міровымъ поэтомъ; но что онъ объ этомъ, конечно съ петербургскими журналами говорить не будетъ; и что объ этомъ могутъ быть написаны цѣлыя сочиненія, книги, но тоже конечно, ужъ не для петербургскихъ журналовъ...

2. Возраженіе его, г. Константина Аксакова, не полно, однако пространнѣе, чѣмъ онъ хотѣлъ; кто же хочетъ узнать дѣло лучше, томъ можетъ снова прочесть брошюру, которую онъ г. Константинъ Аксаковъ, готовъ (храбрая готовность!..) вновь повторить слово-отъ-слова. Затѣмъ онъ оставляетъ всѣ дальнѣйшія объясненія, не предполагаетъ,

чтобъ „Отеч. Записки“ стали ему возражать (увы, не сбывшееся предположеніе!), и во всякомъ случаѣ отвѣчать болѣе не будетъ...

3. „Отеч. Записки“, не смотря на ихъ несогласіе во мнѣніяхъ съ другими петербургскими журналами, въ сущности одно и то же съ ними...

Бѣдныя петербургскіе журналы! погибли вы, погибли безвозвратно! Г. Константинъ Аксаковъ такъ глубоко презираетъ васъ, что и говорить съ вами не хочетъ... Великій Боже! за чтѣ же такая страшная кара на петербургскіе журналы?... Развѣ нельзя было опредѣлить менѣе тяжкаго наказанія!.. Но, позвольте; кто жъ онъ самъ, этотъ страшный, неумолимый г. Константинъ Аксаковъ, однимъ своимъ „да“ и „нѣтъ“ рѣшающій всѣ вопросы, на все и всему изрекающій приговоры? Неужели это тотъ самый г. Константинъ Аксаковъ, который, въ разныхъ журналахъ, а въ числѣ ихъ и въ „Отеч. Запискахъ“, напечаталъ нѣсколько переводовъ нѣмецкихъ стихотвореній, переводовъ частью довольно порядочныхъ, а частью и весьма плохихъ!.. Если такъ, то невольно спросишь: изъ какой же тучи этотъ громъ? да полно, изъ тучи ли еще онъ?..

Чтѣ же до нежеланія г. Константина Аксакова возражать далѣе, оно очень понятно: это ему теперь было бы и трудно, да и нѣгдѣ (развѣ въ брошюрахъ): ибо какой же московскій журналъ захочетъ далѣе *принимать*, какъ говоритъ русская пословица, *въ чужомъ пиру похмѣлье?*..

Что же, наконецъ, до тождества „Отеч. Записокъ“ съ другими петербургскими журналами: г. Константинъ Аксаковъ воленъ находить его. Можетъ быть, онъ это утверждаетъ и не съ досады, а по убѣжденію... Мы тоже, по глубокому убѣжденію, видимъ тождество между его брошюркою и знаменитою „критикою“ по поводу „Мертвыхъ Душъ“, въ которой Селифанъ сдѣланъ представителемъ неспорченной русской природы...

\*) Всѣ литературные интересы, всѣ журнальные вопросы сосредоточены теперь на Гоголѣ. Можно сказать безъ преувеличенія, что „Мертвыя Души“ оживили погруженную въ апатію современную русскую литературу. Большая часть журналовъ, по весьма понятнымъ причинамъ *соревонованія* (ибо ихъ издатели сами романисты и пувеллисты, словомъ „сочинители“), большая часть журналовъ, справедливо и основательно испуганная успѣховъ поэмы Гоголя, употребляетъ всѣ сродныя ей средства къ униженію перваго поэтическаго таланта въ современной русской литературѣ. Остальная часть журналовъ—или просто отдастъ должную дань достоинству новаго творенія Гоголя, или, сверхъ того, принимаетъ на себя обязанность выводить на свѣжую воду нападателей. У насъ такъ немного журналовъ, что не нужно объяснять читателямъ, какой журналъ именно играетъ ту или другую роль въ отношеніи къ Гоголю, который, между тѣмъ, не читая русскихъ журналовъ, спокойно живетъ себѣ въ Римѣ, гдѣ была написана имъ первая часть „Мертвыхъ Душъ“ и гдѣ, вѣроятно, будетъ написано имъ еще не одно твореніе, долженствующее привести многихъ сочинителей въ совершенное отчаяніе, ранѣе возбуждающее самыя живыя опасенія за ихъ умственное здоровье. Въ предыдущей книжкѣ „Отеч. Записокъ“ мы говорили объ одной восторженной московской брошюрѣ, явившейся по поводу „Мертвыхъ Душъ“: кто знаетъ, не явится ли и еще нѣсколько брошюръ pro и contra? Таково свойство всего великаго, далеко выдающагося изъ-подъ уровня обыкновенности: оно производитъ движеніе, возбуждая, и обожаніе и ненависть, восторженныя рукоплесканія и ожесточенный крикъ, преувеличенныя похвалы и брань. И если что-нибудь можетъ вредить такому великому явленію въ литературѣ, такъ ужъ конечно исполненное дѣтскаго энтузіазма и дѣтской добродушной искренности удивленіе, видящее въ твореніи не то великое, которое въ

\*) „Отечественныя Записки“ 1842 г., т. 24, № 9. „Библиографическое извѣстіе.“

немъ есть дѣйствительно, а то великое, котораго въ немъ совсѣмъ нѣтъ. Что же касается до ожесточенной брани, — чѣмъ неосновательнѣе она, тѣмъ болѣе служить въ пользу и прославленію творенія, которое силится она унижить и загрязнить собою. „Герой Нашего Времени“ Лермонтова имѣлъ замѣчательный успѣхъ, какъ все, что ни появляется въ Россіи ознаменованное печатью высшаго таланта; но успѣхъ этого превосходнаго творенія былъ бы безъ сомнѣнія еще блестяще и прочнѣе, если бъ не имѣлъ несчастія нигдѣ не встрѣтить себѣ ожесточенныхъ нападокъ, и если бъ не имѣлъ несчастія встрѣтить написанную слогомъ афишъ похвалу въ одномъ захоластьѣ газетной литературы, откуда бы и должны были раздаться хулительные вопли оскорбленной самолюбивой посредственности. „Мертвыя Души“ избѣжали подобнаго несчастія, и зато успѣхъ ихъ напоминаетъ собою успѣхъ первыхъ произведеній Пушкина. Мы здѣсь разумѣемъ не матеріальный успѣхъ, хотя и достовѣрно знаемъ, что „Мертвыхъ Душъ“ скоро нельзя будетъ достать ни въ одной книжной лавкѣ, не смотря на то, что онѣ печатались въ большомъ числѣ экземпляровъ, — но успѣхъ нравственный, состоящій въ томъ, что „Мертвыя Души“ со-дня на-день болѣе и болѣе раскрываются передъ глазами публики, во всей безконечности и глубокости ихъ идеальнаго значенія, со-дня на-день болѣе и болѣе приобрѣтаютъ себѣ почитателей и приверженцевъ даже между людьми, немогшими оцѣнить ихъ сразу, при первомъ чтеніи, и со-дня на-день болѣе и болѣе становятся живою новостію минуты, вмѣсто того, чтобъ постепенно отступать въ архивъ рѣшенныхъ дѣлъ и старыхъ, потерявшихъ свой интересъ новостей... Трудитесь же, почтенные сочинители, пишите новыя брани на „Мертвыя Души“ и ихъ знаменитаго творца, чтобъ выше и выше еще становились они, и безъ васъ уже высоко ставшіе!..

Между тѣмъ, какъ „сочинители“ бранятъ „Мертвыя Души“ и Гоголя, а литераторы хвалятъ ихъ и спорятъ о нихъ, — что же сдѣлаетъ русская читающая публика? — То же самое, что и всегда дѣлала она съ сочиненіями

Гоголя. Не смотря на незрѣлость образованія нашего общества, допускающую его иногда обольщаться и увлекаться мишурными явленіями, въ немъ есть какое-то чутье, которое замѣняетъ ему недостатокъ развитія, и которое заставляетъ его окончательно становиться на сторонѣ только истинно-прекраснаго и великаго. „Вечеровъ на Хуторѣ“ разошлось два изданія; „Арабесокъ“ и „Миргорода“ уже нигдѣ нельзя достать; передъ выходомъ, весною нынѣшняго года, втораго изданія „Ревизора“, за экземпляръ перваго желавшіе имѣть его платили по 25-ти рублей ассигнаціями. И теперь, чтобъ собрать всѣ сочиненія Гоголя, даже если бъ можно было купить ихъ по объявленнымъ цѣнамъ, нужно заплатить *сорокъ три* рубля асс. („Вечера на Хуторѣ“, „Арабески“ и „Миргородъ“—каждое сочиненіе по 12-ти рублей, и новое изданіе „Ревизора“ 7 рублей). Но и тутъ еще будете имѣть не все, если не приобрѣли того года „Современника“, въ которомъ напечатаны повѣсти „Носъ“ и „Коляска“, и драматическая сцена „Утро Дѣловаго Человѣка“, да „Москвитянина“ за нынѣшній годъ, гдѣ напечатанъ „Римъ“. — Итакъ, спѣшимъ извѣстить русскую читающую публику, что это неудобство насчетъ приобретенія сочиненій ея любимаго писателя скоро будетъ устранено. Къ декабрю мѣсяцу текущаго года выйдетъ собраніе сочиненій Гоголя въ *четыре*хъ томахъ, красиво и изящно изданныхъ. Въ *первомъ* томѣ войдутъ „Вечера на Хуторѣ“ въ двухъ частяхъ, съ предисловіемъ къ каждой, какъ было при второмъ ихъ изданіи. *Второй* томъ будетъ состоять изъ „Миргорода“, въ которомъ повѣсти „Старосвѣтскіе Помѣщики“ и „О томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ напечатаны безъ всякихъ поправокъ и измѣненій; повѣсть „Вій“ съ исправленіями, а „Тарасъ Бульба“ совершенно передѣланный, чуть не вдвое обширнѣе прежняго, ибо авторъ развилъ въ немъ многія подробности, о которыхъ въ первомъ изданіи только слегка было намекнуто, какъ напримѣръ, любовь Андрія и прекрасной Польки, и проч. Въ *третьемъ* томѣ, кромѣ повѣстей, помѣщенныхъ въ „Ара-

бескахъ:—Невскій Проспектъ“, „Записки Сумасшедшаго“ и „Портретъ“ (послѣдняя совершенно передѣлана), — войдутъ помѣщенныя въ „Современникъ“ 1836 года повѣсти „Носъ“ и „Коляска“, напечатанныя въ „Москвитянинѣ“ эпизодическій рассказъ „Римъ“ и новая, еще нигдѣ ненапечатанная повѣсть „Шинель“, одно изъ глубочайшихъ созданій Гоголя. Въ четвертомъ томѣ помѣстятся: „Ревизоръ“, комедія въ пяти актахъ, съ новыми противъ второго изданія поправками автора и съ письмомъ его о первомъ представленіи этой пьесы; „Женитьба“, новая комедія въ двухъ дѣйствіяхъ, нигдѣ ненапечатанная; драматическія сцены: „Утро Дѣловаго Человѣка“ (напечатанная въ „Современникѣ“), „Тяжба“, „Лакейская Сцена“, „Разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи“, „Свѣтскія Сцены“, „Игроки“ (послѣднія шесть еще нигдѣ не были напечатаны).

Все изданіе заключить въ себѣ болѣе ста печатныхъ листовъ.

Въ статьѣ „Взглядъ на современную русскую литературу (статья 2-я, сторона свѣтлая)“ С. Шевыревъ между прочимъ говоритъ о Гоголѣ:

\*) Во главѣ молодого поколѣнія прозаиковъ стоитъ Гоголь: также Малороссъ по происхожденію, носящій на себѣ яркіе признаки южной природы, онъ отходитъ ото всѣхъ другихъ писателей незаемною оригинальностію языка своего и становится рѣзкимъ особнякомъ между ними. У него тоже русская рѣчь прямо, не заинаясь, льется съ устъ на бумагу (видно это особенный признакъ Малороссіянъ). Не ищите въ немъ качествъ отрицательныхъ слога. У него рѣчь слишкомъ покоряется могучей волѣ его воображенія и не любитъ узды грамматической. Но онъ довелъ ее до высшей степени колорита: Гоголь—нашъ первый живописецъ въ слогѣ; его языкъ—кисть; его слова—безчисленныя яркія краски на палитрѣ, то, чего вы никогда не ви-

\*) „Москвитянинъ“ 1842 г., ч. 2-я, № 3. „Критика.“

дади, онъ изобразить вамъ словами такъ, что вы это какъ будто глазами увидите, а слѣпой могъ бы осязать и пальцами. Лицо ли человѣческое, одежда ли, ландшафтъ ли какого бы то ни было климата, небо ли съ его тысячеобразными оттѣнками, степь ли наша, тѣсная ли комнатка, цѣлый ли городъ, будь онъ нашъ вчерашній губернский, будь щедольской Парижъ, будь Римъ многовѣковый, покрытый темною пылью, на все у него есть краски, все и мелкое и великое забираетъ его всеобъемлющая, его широкая кисть. Не ищите, какъ мы сказали, правильнаго рисунка въ его слогахъ и даже періодъ: онъ рисуетъ прямо красками, какъ Венеціанецъ Тинторентто. Въ этой живописи Гоголева слога отзывается его природа южная. Не даромъ замѣчаютъ, что между живописцами нашими Малороссіяне особенно отличались колоритомъ. Не изъ этого ли свойства объясняется его неодолимое сочувствіе къ Италіи, которую полюбилъ онъ передъ всѣми другими странами? Подъ ея благосклоннымъ небомъ живѣе горитъ воображеніе, яснѣютъ въ прозрачномъ воздухѣ самыя дальныя образы, и кисть ярче схватываетъ всѣ оттѣнки предметовъ.

Мы изобразили главный характеръ собственнаго Гоголева слога, но кромѣ того онъ владѣетъ еще чуднымъ даромъ подслушивать устную рѣчь говорящаго русскаго человѣка и мѣнять ее по характеру, свойствамъ, мгновенному чувству лица, имъ выводимыхъ. Въ Ревизорѣ неистощима поэзія комическаго слога, вся эта яркая безсмыслица уздной рѣчи, рисующей намъ какой-то безыменный городъ, получившій право дѣйствительнаго существованія посредствомъ Гоголевой кисти; Гоголь разговоромъ такъ же рисуетъ характеръ лица, какъ своимъ слогомъ предметы вишіе. Незванные критики осмѣливаются до сихъ поръ называть Ревизора фарсомъ, а фарсамъ дѣйствительнымъ даютъ хитрое имя милой и умной шутки. Никакой фарсъ не удержится долго на сценѣ, а то, что называютъ они шутками умныхъ людей, не дожило и году существованія. Другіе критики, еще замысловатѣе, упрекаютъ Ревизора



въ неправильности слога: но, конечно, въ томъ виновать не Гоголь, что Городничій съ братією не читаль еще грамматики Греча.

\*) Ревизоръ. Комедія въ 5-ти дѣйствіяхъ. Соч. Н. Гоголя. Изд. 2-е, исправленное, съ приложеніями. М. въ тип. Н. Степанова. 1841 г. въ 8. 230 стран.

Сочинитель *Ревизора* представилъ намъ собою печальный примѣръ, какое зло могутъ причинить челоуку съ дарованіемъ духъ партій и хвалебные вопли друзей, корыстныхъ прислужниковъ и той безсмысленной толпы, которая является окрестъ людей съ дарованіемъ. Благодарить Бога надобно скорѣе за неприязнь, нежели за дружбу того народа, о которомъ говорилъ Пушкинъ:

Ужъ эти мнѣ друзья, друзья!

Забавна, но, право, понятна молитва мазульманина, который ежедневно молился: „О Магометъ! спаси меня отъ друзей моихъ, а съ непріятелями моими я и безъ тебя слажу!“

Никто не сомнѣвается въ дарованіи г. Гоголя и въ томъ, что у него есть свой безспорный участокъ въ области поэтическихъ созданій. Его участокъ — добродушная шутка, малороссійскій *жартъ*, похожій нѣсколько на дарованіе г. Основьяненки, но отдѣльный и самобытный, хотя также заключающійся въ свойствахъ малороссіянъ. Въ шуткѣ своего рода, въ добродушномъ разсказѣ о Малороссіи, въ хитрой простотѣ взгляда на міръ и людей г. Гоголь превосходитъ, неподражаемъ. Какая прелесть его описаніе ссоры Ивана Ивановича, его „Старосвѣтскіе помѣщики“, его изображеніе запорожскаго казацкаго быта въ Тарасѣ Бульбѣ (исключая тѣ мѣста, гдѣ запорожцы являются героями и смѣшать каррикатурой на Донъ-Кихота), его исторія о носѣ, о продажѣ коляски!

\*) „Русскій Вѣстникъ“ 1842 г., т. V, № 1, отд. III. („Критика“). Стягя И. Полеваго.

Такъ и *Ревизоръ* его: фарсъ, который правится именно тѣмъ, что въ немъ нѣтъ ни драмы, ни цѣли, ни завязки, ни развязки, ни опредѣленныхъ характеровъ. Языкъ въ немъ неправильный, лица уродливые гротески, характеры китайскія тѣни, происшествіе несбыточное и нелѣпное, но все вмѣстѣ уморительно смѣшно, какъ русская сказка о таябѣ ерша съ лещомъ, какъ повѣсть о Дурнѣ, какъ малороссійская пѣсня:

Танцовала рыба съ ракомъ,  
А петрушка съ постарнакомъ,  
А дыбули съ чеснокомъ...

Не подумайте, чтобы такія созданія было легко писать, чтобы всякій могъ писать ихъ. Для нихъ надобно дарованіе особенное, надобно родиться для нихъ, и притомъ еще часто то, что вамъ кажется произведеніемъ досуга, дѣломъ минуты, слѣдствіемъ веселаго расположенія духа, бываетъ трудомъ тяжелымъ, долговременнымъ, слѣдствіемъ грустнаго расположенія души, борьбою рѣзкихъ противоположностей.

Съ *Ревизоромъ* обошлись у насъ весьма несправедливо. Справедливо поступила только публика вообще, которая увлекается впечатлѣніемъ общимъ, безотчетнымъ, и почти никогда въ немъ не ошибается, но несправедливы были всѣ наши судьи и записные критики. Одни вздумали разбирать *Ревизора* по правиламъ драмы, чопорно оскорбили его шутками и языкомъ, и сравнивали его съ грязью. Другіе, напротивъ, мнимые друзья автора, увидѣли въ *Ревизорѣ* что-то Шекспировское, превознесли его, прославили, и вышла та же исторія, какая была съ Озеровымъ. Досадно вспомнить, какія были притомъ побужденія къ неумѣреннымъ похваламъ, но если они были и искренны, за то ошибочны, и посмотрите, какое зло онѣ причинили: видя осужденіе однихъ и похвалы другихъ, авторъ почелъ себя неузнаннымъ гениемъ, не понялъ направленія своего дарованія, и вмѣсто того чтобы не браться за то, чего ему не дано, усилить дѣятельность въ томъ направленіи, которое приобрѣло ему общее уваженіе и славу, вспомнить слова Сумарокова:

Слагай, къ чему тебя влечетъ твоя природа,  
Лишь просвѣщеніе, писатель, дай уму,—

началъ писать исторію, разсужденія о теоріи изящнаго, о художествахъ, принялся за фантастическіе, за патетическіе предметы, точно такъ, какъ Лафонтенъ нѣкогда доказывалъ, что онъ беретъ образцы у древнихъ классиковъ. Разумѣется, авторъ проигралъ свою тяжбу. Все, что здѣсь сказано, не выдумка наша и сказано не наобумъ: прочтите приложенное при новомъ изданіи *Ревизора* письмо автора, которое можно сохранить, какъ любопытную историческую черту и какъ матеріалъ для исторіи человѣческаго сердца. Развѣ Шекспиръ только могъ бы такъ писать о себѣ и о своихъ твореніяхъ, и такъ говорить о характерѣ своего Гамлета, какъ Гоголь говоритъ о характерѣ Хлестакова! И съ тѣмъ вмѣстѣ письмо это дышитъ такою добродушною поэтическою грустью...

Но скажутъ намъ, слѣдственно, чѣмъ же тутъ виноваты хвалители автора? Тѣмъ, что, не увлеки они самолюбія авторскаго въ ошибку, осужденія могли благотѣльно подействовать на автора и обратить его на прямой путь. Осужденія не погубятъ никогда, а выхваленія часто и почти всегда губятъ насъ. Таковъ человѣкъ.

И какъ не имѣть столько уваженія къ самимъ себѣ, что изъ мелкаго расчета корысти не стыдиться показать себя надувателями мыльныхъ пузырей! Если же хваленія происходятъ отъ безотчетнаго увлеченія, какъ до такой степени не отдавать себѣ отчета въ своихъ понятіяхъ, не научиться изъ опытовъ прошедшаго не повторять въ каждомъ поколѣніи одну и ту же *докучную* сказку!

Н. Полевой.

## КРИТИКА ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

1855 г.

\*) Сочиненія Н. В. Гоголя, найденныя послѣ его смерти. Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души. Томъ второй (5 главъ). Москва. 1855.

Пользуясь выходомъ въ свѣтъ „Сочиненій“ Н. В. Гоголя, я рѣшился высказать гечатно нѣсколько мыслей о произведеніяхъ его вообще и о второй части „Мертвыхъ Душъ“ въ особенности, и беру на себя это право не какъ критикъ, а какъ человѣкъ, который, на сколько доставало пониманія, знакомился съ великимъ писателемъ, начиная съ представленія на сценѣ большей части написанныхъ имъ ролей, до внимательнаго изученія и повѣрки его эстетическихъ положеній. Но прежде всего я просилъ бы читателя бѣгло взглянуть на состояніе литературы и на отношеніе къ ней общества въ то время, когда Гоголь сталъ являться съ своими первыми произведеніями. Нужно ли говорить, что то былъ періодъ исключительно пушкинскій не по временному успѣху поэта и его послѣдователей, но по той силѣ, которую сохранило это направленіе до нашихъ дней, и когда уже все современное ему въ литературѣ забывается и сглаживается, оно одно мужаетъ и крѣпнеть съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе. Но въ массѣ публики того времени, это было нѣсколько иначе; отдавая должное уваженіе поэту, она увлекалась и многимъ другимъ: въ ней не остыла еще симпатія, возбужденная историческими романами Загоскина и Лажечникова, авторитеты—Жуковский и Крыловъ, еще жили и дѣйствовали. Кромѣ того, Марлин-

\*) Статья А. Писемскаго.

скій все еще продолжалъ раздражать воображеніе читателей напыщенными великосвѣтскими повѣстями и кавказскими романами, въ которыхъ герои отличались сангвиническимъ темпераментомъ и въ то же время рѣшительнымъ отсутствіемъ истинной страсти. Полевой компилировалъ драмы изъ Шекспира, изъ повѣстей, изъ анекдотовъ и для произведенія театральнаго эффекта, прибѣгалъ къ колокольному звону. Кукольникъ создавалъ русскую историческую драму и производилъ неподдѣльный восторгъ, выводя на сцену въ мужественной фигурѣ Каратыгина, благороднаго и энергическаго Ляпунова. Баронъ Брамбеусъ, къ общему удовольствію, зубоскалилъ въ одномъ и томъ же тонѣ надъ наукой, литературой и надъ лубочными московскими романами. Бенедиктовъ и Тимофеевъ звучали на своихъ лирахъ, въ полномъ разгарѣ силъ. Никто, конечно, не позволилъ себѣ сказать, чтобы всѣ эти писатели не владѣли талантами, и талантами, если хотите, довольно яркими, по замѣчательно, что всѣ они, при видномъ разнообразіи, имѣютъ одно общее направленіе, ушедшее совершенно въ иную сторону отъ истинно поэтическаго движенія, сообщеннаго было Пушкинымъ, направленіе, которое я иначе не могу назвать, какъ направленіемъ *напряженности*, стремленіемъ сказать больше своего пониманія—выразить страсть, которая сердцемъ не пережита—словомъ, создать что то выше своихъ творческихъ силъ. Въ это то время сталъ являться въ печати Гоголь съ своими сказками, и нельзя сказать, чтобы на первыхъ его опытахъ, свѣжихъ и оригинальныхъ по содержанію, не лежало отпечатка упомянутой мною напряженности. Стоитъ только теперь безпристрастно прочитать нѣкоторыя описанія природы, а еще больше—описанія молодыхъ дѣвушекъ, чтобы убѣдиться въ этомъ. При воссозданіи природы, впрочемъ, онъ овладѣлъ, въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ, прилично ему силою. Степи и садъ Плюшкина, напримѣръ, представляютъ уже высокохудожественныя картины; но, при созданіи любезныхъ ему женскихъ типовъ, великій мастеръ никогда не могъ стать къ нимъ хоть сколько-нибудь въ нормальное отношеніе.

Это—фразы и восклицательные знаки при описаніи ихъ наружности, фразы и восклицанія въ собственныхъ рѣчахъ героинь. Кто, положа руку на сердце, не согласится, что именно таковы дѣвушки въ его сказкахъ: пылкая полячка въ „Тарасѣ Бульбѣ“, картинная Аннунціата, и наконецъ, чудо по сердцу и еще большее чудо по наружности—Улинька. Точно то же потомуъ безплодное усиліе чувствуется и въ созданіи нравственно здоровыхъ мужскихъ типовъ: государственный мужъ и забившійся въ глушь чиновникъ въ „Театральномъ Разъѣздѣ“ ученически-слабы по выполнію. Никакъ нельзя сказать, чтобъ въ задумываніи всѣхъ этихъ лицъ не лежало поэтической и жизненной правды, но авторъ просто не совладѣлъ съ ними. Снабдивъ ихъ идеей, онъ не далъ имъ плоти и крови. Эта слабость и фальшивость тона при представленіи правдой стороны жизни столицею выкупалась силою другаго тона, изнутри энергическаго, несокрушимо правдиваго, исполненнаго самымъ задушевнымъ смѣхомъ, съ которымъ Гоголь, то двумя-тремя чертами, то безпощаднымъ анализомъ рисуетъ лѣвую сторону, тономъ, изъ котораго впоследствии вышла первая часть *Мертвыхъ Душъ*.

Вотъ почему, мнѣ кажется, Пушкинъ, какъ чуткій эстетикъ, съ такой полной симпатіей встрѣтилъ *Носъ*, рассказъ, повидимому, безъ мысли, безъ понятнаго даже сюжета, но въ которомъ онъ видѣлъ начало новаго направленія, чуждаго его направленію, однакожь столь же истиннаго, столь же прочнаго—и это направленіе было юморъ, тотъ трезвый, разумный взглядъ на жизнь, освѣщенный смѣхомъ и припавшій полныя этою жизнью художественныя формы—юморъ, тонъ котораго чувствуется въ нашихъ лѣтописяхъ, старинныхъ дѣловыхъ актахъ, который слышится въ нашихъ пѣсняхъ, въ сказкахъ, поговоркахъ и въ перекидныхъ рѣчахъ народа, и который въ то же время въ печатной литературѣ не имѣлъ права гражданства до Гоголя. Каптемиръ, Фонвизинъ, Грибоѣдовъ были величайшіе старики—но и только. Они осмѣивали зло, какъ-бы изъ личнаго оскорбленія, какъ-бы вызванные

на это внѣшними обстоятельствами: Первые два караютъ необразованіе и невѣжество, потому что сами были люди, по тогдашнему, образованные; послѣдній выводитъ фальшивыя, пошлыя, предразсудочныя понятія цѣлаго общественнаго слоя, потому что среди нихъ былъ всѣхъ умнѣе и получилъ болѣе серьезное воспитаніе. Но ужъ гораздо иную единицу для примѣра, гораздо болѣе отвлеченную и строгую встрѣчаемъ мы у Гоголя. На столько поэтъ, на сколько философъ, на столько сатирикъ и, если хотите, даже пасквилистъ, на сколько все это входитъ въ область юмора, онъ первый устремляетъ свой смѣхъ на нравственные недостатки чловѣка, на болѣзни души. Еслибъ Недорослей, Бригадировъ, Фамусовыхъ, Скалозубовъ поучить и пообразовать, то, кажется, авторы и читатели помирились бы съ ними. Но Ноздревъ, Подколесинъ, Плюшкинъ, Маниловъ и другіе страдаютъ не отсутствіемъ образованія, не предразсудочными понятіями, а кое-чѣмъ посерьезнѣе, и для исправленія ихъ мало школы и цивилизаціи. Сатирическое направленіе Кантемира, Фонвизина, Грибоѣдова, какъ бы лично только имъ принадлежащее, кончилось со смертію ихъ; но начало Гоголя, какъ болѣе въ одномъ отношеніи общечеловѣчное, а съ другой стороны болѣе народное, сейчасъ же было воспринято и пошло въ развитіи образовавшаея около него школою послѣдователей. Вотъ въ чемъ состоитъ огромное превосходство Гоголя передъ всѣми предшествовавшими ему комическими писателями, и вотъ почему онъ одинъ, по преимуществу, можетъ быть названъ юмористомъ въ полномъ значеніи этого слова. До какой степени эта прирожденная способность была велика въ немъ, можно судить изъ прогресса его собственныхъ произведеній. Начавъ, между прочимъ, съ чудаковъ Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, она возвышается до благородной, нравственно утонченной, но все-таки болѣющей личности Тѣвѣтѣнникова; но, кромѣ того, посмотрите, сколько изъ этой истинной силы поэта вытекло внѣшнихъ художественныхъ формъ, которыя созданы Гоголемъ: онъ первый вводитъ типическіе характеры, трепещущіе жизнью; онъ

первый даетъ типическій языкъ каждому типу! Какъ ни вѣрны въ своихъ монологахъ лица комедіи Фонвизина и Грибоедова, а все-таки въ складѣ ихъ рѣчи чувствуется *сочинительство, книжность*; даже и тѣни этого не встрѣчаете вы въ разговорномъ языкѣ большей части героевъ Гоголя: языкъ этотъ бьетъ у нихъ живымъ ключомъ и каждымъ словомъ обличаетъ самого героя. Не оскорбляя упрекомъ драгоценной для меня, какъ и для всѣхъ, памяти великаго писателя, я не могу здѣсь не выразить сожалѣнія, какъ онъ самъ, сознавая, конечно, въ себѣ эту творческую способность, не оперся исключительно на нее при своихъ созданіяхъ; и чѣмъ болѣе припоминаешь и вдумываешься въ судьбу его произведеній, въ его эстетическія положенія, наконецъ, въ его письма, въ признанія, тѣмъ болѣе начинаешь обвинять не столько его, сколько публику, критику и даже друзей его: всѣ они, какъ бы сообща, не давъ себѣ труда подумать объ истинномъ призваніи, значеніи этого призванія и средствахъ поэта, наперерывъ старались повліять на его впечатлительную душу, кто мыслью, кто похвалою, кто осужденіемъ, и потомъ, говоря его же выраженіемъ, напустивъ ему въ глаза всякаго книжнаго и житейскаго тумана, оставили на распутьи.

Немногіе, вѣроятно, изъ великихъ писателей такъ медленно дѣлались любимцами массы публики, какъ Гоголь. Надобно было нѣсколько лѣтъ горячему, съ тонкимъ чутьемъ критику, проходя слово за словомъ его произведенія, растолковывать ихъ художественный смыслъ, и, ради раскрытія этого смысла, колебать, иногда даже пристрастно, устоявшіеся авторитеты; надобно было нѣсколько даровитыхъ актѣровъ, которые воспроизвели бы гоголевскій смѣхъ во всемъ его неотразимомъ значеніи; надобно было, наконецъ, обществу воспитаться, такъ сказать, его послѣдователями, прежде чѣмъ оно въ состояніи было понять значеніе произведеній Гоголя, полюбить ихъ, изучить и различать, какъ это есть въ настоящее время, на поговорки. Но прежде, чѣмъ устоялось, такимъ образомъ, общественное мнѣніе, сколько обиднаго непониманія и невѣжествен-



ныхъ укоровъ перенесъ поэтъ! „Скучно и непонятно!“ говорили одни. „Сально и тривіально!“ повторяли другіе, и „спеціально безнравственно!“ рѣшили третьи. Критики и рецензенты почти повторяли то же. Одна газета, напри- мѣръ, стоявшая будто бы всегда за чистоту русскаго языка, неприлично бранилась; другой журналъ, кутившій оніамъ похвалъ драмамъ Кукольника, называлъ творенія Гоголя пустяками и побасѣнками. Даже и тотъ критикъ, который такъ искренно всегда выступалъ къ ободренію Гоголя, даже и тотъ, въ порывѣ личнаго увлеченія, открылъ въ немъ, по преимуществу, соціально сатирическое значеніе, а нѣ- сколько псевдо послѣдователей какъ бы подтвердили эту мысль. Между тѣмъ друзья, въ искренности которыхъ мы не смѣемъ сомнѣваться, вліяли врядъ ли еще не къ худ- шему: питая, подѣ вліаніемъ очень умно составленныхъ лирическихъ отступленій въ первой части „Мертвыхъ Душъ“, полную вѣру въ лиризмъ юмориста, они ожидали отъ него идеаловъ и поученій, и это простодушное, какъ мнѣ всегда казалось, ожиданіе, очень напоминало собой доброе старое время, когда жизнь и правда были сама по себѣ, а литература и, паче того, поэзія сама по себѣ, когда вымыслъ стоялъ въ творествѣ на первомъ планѣ и когда романъ и повѣсть наивно считались не чѣмъ инымъ, какъ пріятною ложью. При такихъ эстетическихъ требо- ваніяхъ создать прекраснаго человѣка было не трудно: заставьте его говорить о добродѣтели, о чести, быть, по- жалуй, храбрымъ, великодушнымъ, умѣреннымъ въ своихъ желаніяхъ, при этомъ не мѣшаетъ, чтобъ и собой былъ недурень, или, по крайней мѣрѣ, имѣлъ почтенную на- ружность—вотъ вамъ и идеалъ и поученіе! Но для Гоголя оказалась эта задача гораздо труднѣе: въ первой части „Мертвыхъ Душъ“, объясняя, почему имъ не взять въ герои добродѣтельный человѣкъ, онъ говоритъ:

„Потому, что пора наконецъ дать отдыхъ добродѣтель- ному человѣку, потому-что праздно вращается на устахъ слово: добродѣтельный человѣкъ, потому-что обратили въ лошадь добродѣтельнаго человѣка, и нѣтъ писателя, кото-

рый бы не бѣдиль на немъ; понукая и внутомъ и чѣмъ ни пошло, потому-что изморили добродѣтельнаго человѣка до того, что теперь нѣтъ на немъ и тѣни добродѣтели, а остались только ребра и кости вмѣсто тѣла, потому-что лицемѣрно призываютъ добродѣтельнаго человѣка, потому-что не уважаютъ добродѣтельнаго человѣка“ (стр. 431 первой части „Мертвыхъ Душ“).

Въ этихъ словахъ вы сейчасъ видите художника-критика, который въ то же время, съ одной стороны, какъ бы испугавшись будто бы бессмысленно-грязнаго и социально-сатирическаго значенія своихъ прежнихъ твореній, а съ другой, въ стремленіи тронуть, по его же словамъ, досель-петронутыя еще струны, представить несмѣтное богатство русскаго духа, представить мужа, одареннаго божественными доблестями и чудную русскую дѣву, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всею дивною красотой женской души, всю составленную изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія—словомъ, снѣдаемый желаніемъ непремѣнно сыскать и представить идеалы, обрекаетъ себя на трудъ упорный, насильственный.

„Мнѣ хотѣлось (высказываетъ онъ потомъ въ своей „Исповѣди“), чтобы, по прочтеніи моего сочиненія, предсталъ, какъ бы неволью, весь русскій человѣкъ, со всѣмъ разнообразіемъ богатствъ и даровъ, доставшихся на его долю, преимущественно передъ другими народами, и со всѣмъ множествомъ тѣхъ недостатковъ, которые находятся въ немъ также преимущественно передъ всѣми другими народами. Я думалъ, что лирическая сила, которой у меня былъ запасъ, поможетъ мнѣ изобразить такъ эти достоинства, что къ нимъ возгорится любовью русскій человѣкъ, а сна смѣха, котораго у меня также былъ запасъ, поможетъ мнѣ такъ ярко изобразить недостатки, что ихъ возненавидитъ читатель, если бы даже нашелъ ихъ въ себѣ самомъ. Но я почувствовалъ въ то же время, что все это возможно будетъ сдѣлать мнѣ только въ такомъ случаѣ, когда узнаю очень хорошо самъ, что дѣйствительно въ нашей природѣ есть достоинства, и что въ ней дѣйстви-

тельно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвѣсить и оцѣнить то и другое, и объяснить себѣ самому ясно, чтобы не возвести въ достоинства того, что есть грѣхъ нашъ, и не поразить смѣхомъ вмѣстѣ съ недостатками нашими и того, что есть въ насъ достоинство“ (стр. 262 „Авт. Исн.“).

На первый взглядъ покажется, что подобную задачу, достойную великаго мастера, Гоголь принимаетъ на себя съ величайшею добросовѣстностью, и что иначе приступить къ ней нельзя; но надобно быть хоть немного знакомому съ процесомъ творчества, чтобы понять, до какой степени этотъ приемъ искусственъ, и какъ мало въ немъ довѣрія къ инстинкту художника. Положительно можно сказать, что Шекспиръ, воспроизводя жизнь въ ея многообразной полнотѣ, создавая идеалы добра и порока, никогда ни къ одному изъ своихъ произведеній не приступалъ съ подобнымъ напередъ-составленнымъ правиломъ, и бралъ изъ души только то, что накопилось въ ней и требовало изліянія въ ту или въ другую сторону. Поэтъ узнаетъ жизнь, живя въ ней самъ, втянутый въ ея коллоретъ за самый чувствительный нервъ, а не посредствомъ собиранія писемъ и отбирания показаній отъ различныхъ свидущихъ людей. Ему не для чего устроить въ душѣ своей судъ присяжныхъ, которые говорили бы ему, винозенъ онъ или невиновенъ, а, освѣщая жизнь даннымъ ему отъ природы свѣтомъ таланта, онъ узнаетъ и видитъ ее яснѣ всякаго трудолюбиваго собирателя фактовъ.

Почти нагляднымъ доказательствомъ мысли моей о силѣ и художественной зрѣлости въ одну сторону и о напряженности труда въ другую, можетъ служить вторая часть *Мертвыхъ Душъ*. Безусловно-подкупленный достоинствами первой части, я задавалъ себѣ постоянно, съ нѣкоторыми опасеніемъ, вопросъ: какіе еще новые типы выведетъ намъ Гоголь, и какъ ихъ выполнить? Началомъ труда такъ ужъ много было сдѣлано, что только вѣра въ громадность его таланта заставляла надѣяться на прогрессъ, а доходившіе по-временамъ слухи, что то-то и то-то хорошее есть во второй части, укрѣпляли это ожиданіе. Съ такого рода

опасеніями и надеждами приступилъ я къ чтенію второй части—и не могу выразить, какое полное эстетическое наслажденіе чувствовалъ я, читая первую главу, съ появленія въ ней и обрисовки Тѣнтѣтнникова. Надобно только вспомнить, сколько повѣстей написано на тѣму этого характера, и у сколькихъ авторовъ только еще надумывалось что-то такое сказаться; надобно потомъ было приглядываться къ дѣйствительности, чтобъ понять, до какой степени лицо Тѣнтѣтнникова, нынче ужъ отживающее и рѣдѣющее, тогда было современно и типично. Образованный не фактами, а душой науки, утонченно-развитой нравственно, стремившійся къ живой дѣятельности, съ возбужденнымъ честолюбіемъ, юноша Тѣнтѣтнниковъ вступаетъ въ службу, и, вмѣсто того, чтобъ побороть этотъ первый трудный шагъ въ жизни, онъ сразу охладѣваетъ къ избранной имъ дѣятельности: она перестаетъ быть для него ужъ первымъ дѣломъ и цѣлю, но дѣлается чѣмъ-то вторымъ; знакомство съ двумя человѣками, которыхъ авторъ называетъ людьми огорченными, доканчиваетъ начатое. Передаю объ этомъ обстоятельстве его собственными словами.

„Это были (говоритъ онъ) тѣ безпокойно-странные характеры, которые не могутъ переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется въ ихъ глазахъ несправедливостью. Добрые по началу, но безпорядочные сами въ своихъ дѣйствіяхъ, требуя къ себѣ снисхожденія и въ то же время исполненные нетерпимости къ другимъ, они подѣйствовали на него сильно и нылкой рѣчью и образомъ благороднаго негодованія противу общества. Разбудивши въ немъ нервы и духъ раздражительности, они заставили замѣчать всѣ тѣ мелочи, на которыя онъ прежде и не думалъ обращать вниманія. Федоръ Федоровичъ Лѣницынъ, начальникъ одного изъ отдѣленій, помѣщавшихся въ великолѣпныхъ залахъ, вдругъ ему не понравился. Онъ сталъ отыскивать въ немъ бездну недостатковъ“ (стр. 18 второй части „Мертв. Душъ“).

А вслѣдствіе того:

„Какой-то злой духъ толкалъ его сдѣлать что-нибудь

непріятное Федору Федоровичу. Онъ на то наискивался съ какимъ-то особымъ наслажденіемъ и въ томъ успѣлъ. Разъ поговорилъ онъ съ нимъ до того крупно, что ему объявлено было отъ начальства, либо просить извиненія, либо выходить въ отставку. Дядя, дѣйствительный статскій совѣтникъ (опредѣлившій Тѣнтѣтнкова на службу), пріѣхалъ къ нему перепуганный и умоляющій: „Ради самого Христа! помилуй Андрей Ивановичъ, что это ты дѣлаешь? оставлять такъ выгодно начатый карьеръ изъ-за того только, что попался не такой, какъ хочется, начальникъ. Помилуй, что ты? Вѣдь если на это глядѣть, тогда и въ службѣ никто бы не остался. Образумься, отринь гордость, самолюбіе, поѣзжай и объяснись съ нимъ!

„Не въ томъ дѣло, дядюшка,—сказалъ племянникъ. Мнѣ не трудно попросить у него извиненія. Я виноватъ, онъ начальникъ и не слѣдовало такъ говорить съ нимъ. Но дѣло вотъ въ чемъ: у меня есть другая служба: триста душъ крестьянъ, имѣнье въ разстройствѣ, управляющій дуракъ... Что вы думаете? Если я позабочусь о сохраненіи, сбереженіи и улучшеніи участи вѣранныхъ мнѣ людей и представлю государству триста исправнѣйшихъ, трезвыхъ, работающихъ поданныхъ“ (стр. 19 и 20 второй части „Мерт. Душъ“).

Словомъ, Тѣнтѣтниковъ избираетъ другую дѣятельность, въ которой—увы! оказывается та же благородная мысль и энергія въ начинаніи и та же слабость и отсутствіе упрямства въ исполненіи; а затѣмъ слѣдуетъ полное отрицаніе отъ предпринятаго труда—и начинается жизнь байбака, небокопителя. Но это не было полнымъ омертвѣніемъ: при всей видимой виѣшней недѣятельности, въ душѣ Тѣнтѣтнкова чутко живутъ всѣ нравственныя потребности хорошей и развитой натуры. Въ своей апатіи онъ обдумываетъ еще великое сочиненіе о Россіи; въ немъ не угасло еще честолюбіе—этотъ рычагъ-двигатель большей части великихъ человѣческихъ дѣлъ.

„Когда привозила почта газеты и журналы (говорить авторъ), и попадалось ему въ печати знакомое имя прежняго товарища, уже преуспѣвашаго на видномъ поприщѣ

государственной службы, (или приносившаго посильную дань наукамъ и дѣлу всемірному, тайная тихая грусть подступала ему подъ сердце, и скорбная безмолвно-грустная тихая жалоба на бездѣйствіе свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. Съ необыкновенной силою воскресало предъ нимъ школьное минувшее время и представлялъ вдругъ, какъ живой, Александръ Петровичъ... и градомъ лилась изъ глазъ его слезы...“ (стр. 28 и 29 второй части „Мертв. Душъ“).

Наконецъ въ сердцѣ его закрадывается что-то похожее на любовь, но и тутъ кончилось ничѣмъ, и не столько по апатіи, а изъ того же тонкаго самолюбія, онъ влюбился въ дочь генерала Бетрищева. Генераль принималъ сначала Тѣнтѣтникова довольно хорошо и радушно, потомъ позволилъ себѣ нѣсколько фамиллярный тонъ и сталъ относиться къ нему свысока, говоря: „любезнѣйшій“, „послушай, братецъ“ и одинъ разъ сказалъ даже *ты*. Тѣнтѣтниковъ не вынесъ этого:

„Скрѣпя сердце и стиснувъ зубы, онъ, однакоже, имѣлъ присутствіе духа сказать необыкновенно учтивымъ и мягкимъ голосомъ, между тѣмъ, какъ пятна выступили на лицѣ его, и все внутри его кипѣло: „Я благодарю васъ, генераль, за расположеніе. Словомъ *ты*, вы меня вызываете на тѣсную дружбу, обязывая и меня говорить вамъ *ты*. Но различіе въ лѣтахъ пренятствуетъ такому фамиллярному между нами обращенію.“ Генераль смутился. Собирая слова и мысли, сталъ онъ говорить, хотя нѣсколько несвязно, что слово *ты* было имъ сказано не въ томъ смыслѣ, что старику иной разъ позволительно сказать молодому человѣку *ты* (о чинѣ своемъ онъ не упомянулъ ни слова).“ (Стр. 33 второй части „Мерт. Душъ“).

Читатель видитъ, какой истиной все это дышитъ, и какъ живо лицо Тѣнтѣтникова. Родятся ли ужъ сами-собою такіе характеры, или они образуются потомъ, какъ порожденіе обстоятельствъ? спрашиваетъ самъ себя художникъ и, вмѣсто отвѣта, честно рассказываетъ то, что я сейчасъ передалъ. И къ этому-то человѣку приводитъ онъ своего героя, Чичикова. Нельзя себѣ вообразить болѣе счастливаго све-

деня двухъ лицъ какъ по историческому значенію, такъ и по задачамъ юмориста. Ни одна, вѣроятно, страна не представляетъ такого разнообразнаго столкновенія въ одной и той же общественной средѣ, какъ Россія; не говоря ужъ объ общественныхъ сборищахъ, какъ, на примѣръ, театральная публика или общественныя собранія—на одномъ и томъ же балѣ, составленномъ изъ извѣстнаго кружка, въ одной и той же гостиной, въ одной и той же, наконецъ, семьѣ, вы постоянно можете встрѣтить двухъ, трехъ человѣкъ, которые имѣютъ только нѣкоторую разницу въ лѣтахъ, и уже, говоря между собою, не понимаютъ другъ друга! Вотъ довольно откровенная бесѣда, которая возникаетъ между хозяиномъ и гостемъ. Чичиковъ, пообжившись и замѣтивъ, что Андрей Ивановичъ карандашомъ и перомъ вырисовывалъ какія-то головки, одна на другую похожія, разъ послѣ обѣда, оборачивая, по обыкновенію, пальцемъ серебряную табакерку вокругъ ея оси, сказалъ такъ:

„— У васъ все есть, Андрей Ивановичъ, одного только не достаетъ.“—Чего? спросилъ тотъ, выпуская кудреватый дымъ. „Подруги жизни,“ сказалъ Чичиковъ. Ничего не сказалъ Андрей Ивановичъ. Тѣмъ разговоръ и кончился. Чичиковъ не смутился, выбралъ другое время, уже передъ ужиномъ, и, разговаривая о томъ и о сѣмъ, сказалъ вдругъ: „А право, Андрей Ивановичъ, вамъ бы очень не мѣшало жениться.“ Хоть бы слово сказалъ на это Тѣтѣтниковъ, точно какъ бы и самая рѣчь объ этомъ была ему неурядна. Чичиковъ не смутился. Въ третій разъ выбралъ онъ время, уже послѣ ужина; и сказалъ такъ: „А все-таки, какъ ни переворочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вамъ жениться; впадете въ ипохондрію. Слова ли Чичикова были на этотъ разъ такъ убѣдительны, или же расположеніе духа въ этотъ день у него особенно настроено было къ откровенности, онъ вздохнулъ и сказалъ, пустивши кверху трубочный дымъ. „На все нужно родиться счастливымъ, Павелъ Ивановичъ,“ и тутъ же передалъ гостю все, какъ было, всю исторію знакомства съ генераломъ и разрыва. Когда услышалъ Чи-

чиковъ отъ слова до слова все дѣло, и увидѣлъ, что изъ одного слова *ты* произошла такая исторія, онъ оторопѣлъ. Съ минуту смотрѣлъ пристально въ глаза Тѣнтѣтникову и не зналъ, какъ рѣшить: дѣйствительно ли онъ круглый дуракъ, или только съ придурью?

— Андрей Ивановичъ! помилуйте! сказалъ онъ наконецъ, взявши его за обѣ руки, какое жъ оскорбленіе? что жъ тутъ оскорбительнаго въ словѣ *ты*?

— Въ самомъ словѣ нѣтъ ничего оскорбительнаго, сказалъ Тѣнтѣтниковъ, но въ смыслѣ слова, но въ голосѣ, съ которымъ сказано оно, заключается оскорбленіе. *Ты!* это значить: помни, что ты дрянъ; я принимаю тебя потому только, что нѣтъ никого лучше, а пріѣхала какая-нибудь княжна Юзякина—ты знай свое мѣсто, стой у порога. Вотъ что это значить!“ Говоря это, смиренный и кроткій Андрей Ивановичъ засверкалъ глазами; въ голосѣ его послышалось раздраженье оскорбленнаго чувства.

— Да хоть бы даже и въ этомъ смыслѣ, что жъ тутъ такого? сказалъ Чичиковъ.

— Какъ? сказалъ Тѣнтѣтниковъ, смотря пристально въ глаза Чичикову. Вы хотите, чтобы я продолжалъ бывать у него послѣ такого поступка?

— Да какой же это поступокъ? Это даже не поступокъ! сказалъ Чичиковъ.

— Какъ непоступокъ? спросилъ въ изумленьи Тѣнтѣтниковъ.

— Это не поступокъ, Андрей Ивановичъ. Это просто генеральская привычка, а не поступокъ; они всѣмъ говорятъ: *ты*. Да, впрочемъ, почему жъ этого и не позволить заслуженному, почтенному человѣку?...

— Это другое дѣло, сказалъ Тѣнтѣтниковъ, если бы онъ былъ старикъ, бѣднякъ, не гордъ, не чванливъ, не генераль, и бы тогда позволилъ ему говорить мнѣ: *ты* и принялъ бы даже почтительно.

— Онъ совсѣмъ дуракъ, подумалъ про себя Чичиковъ. Оборвышу позволить, а генералу не позволить!“ (Стр. 46, 47, 48. 2-й ч. „М. Душъ“).



Не правда ли, что во всей этой сценѣ какъ-будто разговариваютъ два человѣка, отдаленные другъ отъ друга столѣтіемъ: въ одномъ ни воспитаніемъ, ни жизнію никакія нравственныя начала нетронуты, а въ другомъ они ужъ черезчуръ развиты... странное явленіе, но въ то же время поразительно-вѣрное дѣйствительности! Перехожу къ послѣдствію этого разговора, которое состояло въ томъ, что Чичиковъ, тоже къ крайнему удивленію Тѣтѣтнкова, взялся хлопотать о примиреніи его съ генераломъ и поѣхалъ къ генералу.

Многіе, конечно, изъ читателей, прочитавъ еще въ рукописи, знаютъ, помнятъ и никогда не забудутъ генерала Бетрищева, лично же на меня онъ, при каждомъ новомъ чтеніи, производитъ впечатлѣніе совершенно живаго человѣка. Фигура его до того ясна, что какъ-будто облечена плотью. Но, кромѣ этой, вполне-законченной внѣшней представительности, посмотрите, какимъ полнымъ анализомъ раскрывается его нравственный складъ.

„Генералъ Бетрищевъ заключалъ въ себѣ, при кучѣ достоинствъ, и кучу недостатковъ. То и другое, какъ водится въ русскомъ человѣкѣ, было набросано у него въ какомъ-то картинномъ безпорядкѣ. Въ рѣшительныя минуты великодушіе, храбрость, умъ, безпримѣрная щедрость во всемъ, и въ примѣсъ къ этому капризы честолюбія, самолюбія и та мелкая щекотливость, безъ которой не обходится ни одинъ русскій, когда онъ сидитъ безъ дѣла и не требуется отъ него рѣшительности. Онъ не любилъ всѣхъ, которые опередили его по службѣ, и выражался о нихъ ѣдко, въ колкихъ эпиграммахъ. Всего больше доставалось его прежнему сотоварищу, котораго онъ считалъ ниже себя умомъ и способностями, который, однакожъ, обогналъ его и былъ уже генералъ-губернаторомъ двухъ губерній, и, какъ нарочно, тѣхъ, въ которыхъ находились его помѣстья, такъ-что онъ очутился какъ бы въ зависимости отъ него. Въ отмщеніе, явилъ онъ его при всякомъ случаѣ, порочилъ всякое распоряженіе и видѣлъ во всѣхъ мѣрахъ и дѣйствіяхъ его верхъ неразумія.

Въ немъ было все какъ-то странно, начиная съ просвѣщенія, котораго онъ былъ поборникомъ и ревнителемъ: онъ любилъ блескъ, любилъ похвастать умомъ, знать то, чего другіе не знаютъ, и не любилъ тѣхъ людей, которые знаютъ что-нибудь такое, чего онъ не знаетъ. Воспитанный полуиностраннымъ воспитаніемъ, онъ хотѣлъ сыграть въ то же время роль русскаго барина. И немудрено, что съ такой неровностью въ характерѣ, съ такими крупными, яркими противоположностями, онъ долженъ былъ неминуемо встрѣтить по службѣ множество неприємностей, вслѣдствіе которыхъ и вышелъ въ отставку, обвиняя во всемъ какую-то враждебную партію и не имѣя великодушія обвинить въ чемъ-либо себя самого. Въ отставкѣ сохранялъ онъ ту же картинную величавую осанку. Въ сюртукѣ ли, во фракѣ ли, въ халатѣ, онъ былъ все тотъ же. Отъ голоса до малѣйшаго тѣлодвиженія, въ немъ все было властительное, повелѣвающее, внушавшее въ низшихъ чинахъ если не уваженіе, то по крайней мѣрѣ робость. (Стр. 56 и 57 2-й ч. „Мертвыхъ Душъ“).

Чичиковъ, пріѣхавшій къ генералу, почувствовалъ и уваженіе и робость.

„Наклоня почтительно голову на бокъ и разставивъ руки на отлетъ, какъ бы готовился приподнять ими подносъ съ чашками, онъ изумительно-ловко нагнулся всѣмъ корпусомъ и сказалъ: „Счелъ долгомъ представиться вашему превосходительству. Питая уваженіе къ доблестямъ мужей, спасавшихъ отечество на бранномъ полѣ, счелъ долгомъ представиться лично вашему превосходительству.“

„Генералу, какъ видно, не понравился такой приступъ. Сдѣлавши весьма благосклонное движеніе головою, онъ сказалъ: „Весьма радъ познакомиться. Милости просимъ садиться. Вы гдѣ служили?“

— Поприще службы моей, сказалъ Чичиковъ, садясь въ кресла нѣ на серединѣ, но наискось, и, ухватившись рукою за ручку кресель, началось въ Казенной Палатѣ, ваше превосходительство. Дальнѣйшее же теченіе оной совершалъ по разнымъ мѣстамъ; былъ и въ Надворномъ

Судъ, и въ Комиссiи Стреленій, и въ Таможнѣ. Жизнь мою можно уподобить какъ бы судну среди волнъ, ваше превосходительство. Терпѣнемъ, можно сказать, повить, спеленанъ, и будучи, такъ сказать, самъ одно олицетворенное терпѣнье... А что было отъ враговъ, покушавшихся на самую жизнь, такъ это ни слова, ни краски, ни самая даже кисть не съумѣетъ того передать... Такъ что на склонѣ жизни своей иду только уголка, гдѣ бы провести остатокъ дней. Приостановился же покуда у близкаго сосѣда вашего превосходительства...

— У кого же?

— У Тѣнтѣтнкова, ваше превосходительство.

Генералъ поморщился.

— Онъ, ваше превосходительство, весьма раскаявается въ томъ, что не оказалъ должнаго уваженія...

— Къ чему?

— Къ заслугамъ вашего превосходительства. Не находить словъ... Говорить, еслибъ я только могъ передъ его превосходительствомъ чѣмъ-нибудь... потому что точно, говорю, умѣю цѣнить мужей, спасавшихъ отечество, говорить.

— Помилуйте, что жъ онъ? Да вѣдь я не сержусь, сказалъ смягченный генералъ.—Въ душѣ моеѣ я искренно полюбилъ его и увѣренъ, что со временемъ онъ будетъ преполезный человѣкъ.

— Совершенно справедливо изволили выразиться, ваше превосходительство: истинно преполезный человѣкъ можетъ быть, и съ даромъ слова и владѣетъ перомъ...

— Но писать, я чай, пустяки какіе-нибудь, стишки.

— Нѣтъ, ваше превосходительство, не пустяки... онъ что-то дѣльное пишетъ... исторію, ваше превосходительство.

— Исторію? о чемъ исторію?

— Исторію... тутъ Чичиковъ остановился. И оттого ли, что передъ нимъ сидѣлъ генералъ, или просто, чтобъ придать болѣе важности предмету, прибавилъ: — исторію о генералахъ, ваше превосходительство.

— Какъ о генералахъ? о какихъ генералахъ?

— Вообще о генералахъ, ваше превосходительство, въ общности. То есть, говоря собственно, объ отечественныхъ генералахъ.

Чичиковъ совершенно спутался и потерялся, чуть не плюнулъ самъ и мысленно сказалъ себѣ: „Господи, что за вздоръ такой несу!“

— Извините, я не очень понимаю... что жъ это выходитъ, исторію какого-нибудь времени, или отдѣльныя біографіи, и притомъ всѣхъ ли, или только участвовавшихъ въ 12-мъ году?

— Точно такъ, ваше превосходительство, участвовавшихъ въ 12-мъ году.

Проговоривши это, онъ подумалъ въ себѣ: „хоть убей, не понимаю!“

— Такъ что жъ онъ ко мнѣ не пріѣдетъ? Я бы могъ собрать ему весьма много любопытныхъ матеріаловъ.

— Робѣетъ, ваше превосходительство.

— Какой вздоръ! Изъ-за какого-нибудь пустаго слова... Да я совсѣмъ не такой человѣкъ. Я, пожалуй, къ нему самъ готовъ пріѣхать.

— Онъ къ тому не допустить, онъ самъ пріѣдетъ, сказалъ Чичиковъ, оправаясь совершенно, ободрился и подумалъ: „экая оказія! какъ генералы приплись кстати, а видъ языкъ взболтнулъ сдуру!“ (Стр. 58, 59, 60 и 61. 2-я ч. „Мертв. Душъ“).

Можетъ ли что-нибудь быть съ болѣе-живымъ юморомъ по содержанію и художественнѣе выполнено, какъ эта сцена?... Тутъ входитъ дочь генерала, Улинька, предметъ любви Твѣтѣтнкова, и, какъ можно подозрѣвать, та чудная славянская дѣва, которая была обѣщана авторомъ въ первой части „Мертвыхъ Душъ“, и за которую, признаться, я тогда еще опасался, не потому, чтобъ невозможно было вывести прекрасной славянки—она ужъ есть у насъ въ лицѣ Татьяны Пушкина, но считалъ это видъ средствъ Гоголя. Опасенія мои сбылись въ самыхъ громадныхъ размѣрахъ: онъ какъ-бы сразу теряетъ творческую силу и впадаетъ въ самый неестественный, фальшивый тонъ:

„Въ кабинетѣ послышался шорохъ. Орѣховая дверь рѣзнаго шкафа отворилась сама собою; и на отворившейся обратной половинкѣ ея, ухватившись рукой за мѣдную ручку замка, явилась живая фигурка. Еслибы въ темной комнатѣ вспыхнула прозрачная картина, освѣщенная сильно сзади лампами, она бы такъ не поразила внезапностью своего явленія. Видно было, что она вошла съ тѣмъ, чтобы что-то сказать, но увидѣла незнакомаго человѣка. Съ нею вмѣстѣ, казалось, влетѣлъ солнечный лучъ, и какъ-будто размѣялся нахмурившійся кабинетъ генерала. Пряма и легка, какъ стрѣлка, она какъ бы возвышалась надъ всѣмъ своимъ поломъ: но это было обольщеніе. Она была вовсе не высока ростомъ. Происходило это отъ необыкновеннаго соотношенія между собою всѣхъ частей ея тѣла. Платье сидѣло на ней такъ, что, казалось, лучшія швеи совѣщались между собою, какъ бы убрать ее. Но это было также обольщеніе. Одѣлась она какъ-будто бы сама собою: въ двухъ, трехъ мѣстахъ схватила, и то кое-какъ, неизрѣзанный кусокъ одноцвѣтной ткани, и онъ уже собрался и расположился вокругъ нея въ такихъ сборкахъ и складкахъ, что ваятель сейчасъ же перенесъ бы ихъ на мраморъ. Всѣ барышни, одѣтыя по модѣ, показались бы предъ ней чѣмъ-то обыкновеннымъ.“ (Стр. 61 и 62 2-й ч. „Мерт. Душъ“).

Описаніе это, по моему мнѣнію, ниже самыхъ напыщенныхъ описаній великосвѣтскихъ героинь Марлинскаго, потому что тамъ по крайней мѣрѣ видно больше знанія дѣла и наконецъ положено много остроумія. Тонъ рѣчи этой восемнадцатилѣтней дѣвушки превосходитъ своею фальшивостью самое описаніе. „Онъ шутовать, гадковать,“ говоритъ она объ одномъ Вишненокромовѣ, или слѣдующимъ образомъ возражаетъ отцу: „Я не понимаю, отецъ, какъ съ добрѣйшей душой, какая у тебя есть, и съ такимъ рѣдкимъ сердцемъ ты будешь принимать этого человѣка, который, какъ небо отъ земли, отъ тебя.“ Грустнѣй всего, что эти ошибки великаго мастера не могутъ быть извинены недоконченностью въ отдѣлкѣ, или какими-нибудь про-

пусками, а напротивъ, ясно видно, что все это сдѣлано съ умысломъ, обдуманно, съ цѣлью поразить читателя, и въ то же время безъ всякаго эстетическаго уха. Неприятность впечатлѣнія этого фальшиво-выполненнаго лица снова выкупается въ дальнѣйшей сценѣ генераломъ и развернувшимся, но постоянно вѣрнымъ самому себѣ Чичиковымъ, въ которомъ можно развѣ только укорить автора за анекдотъ о *черненькихъ* и *блѣнькихъ*. Видимо, что анекдотъ этотъ подслушанъ у рассказчика, придавшаго мастерствомъ рассказа самому анекдоту значеніе, котораго въ немъ нѣтъ. Поставленъ онъ съ понятною цѣлью вызвать отъ генерала нѣсколько честныхъ и энергическихъ замѣчаній насчетъ взятокъ; но для этого слѣдовало бы взять болѣе рѣзкій и типичный случай, которыхъ много ходитъ въ устныхъ разсказахъ.

За визитомъ къ генералу слѣдуетъ большой пропускъ, и мы ужъ встрѣчаемъ Чичикова, ѣдущаго къ родственнику генерала, полковнику Бошкарову, и попадающаго, вмѣсто того, къ помѣщику Пѣтуху. Пѣтухъ этотъ очень напоминаетъ собой первоначальные веселые типы Гоголя, и читатель, конечно, съ удовольствіемъ съ нимъ встрѣчается, хотя первая сцена, гдѣ тащатъ Пѣтуха въ водѣ неводомъ, невозможна и потому каррикатурна; но что истинно-хорошо, такъ это два сына Пѣтуха, гимназисты, которые ужъ и трубку курятъ и за столомъ безъ всякихъ замѣтныхъ послѣдствій рюмку за рюмкой опрокидываютъ, и одинъ изъ нихъ съ первыхъ же разовъ сталъ рассказывать Чичикову, что въ губернской гимназій нѣтъ никакой выгоды учиться, что они съ братомъ хотятъ ѣхать въ Петербургъ, потому-что провинція не стоитъ того, чтобъ въ ней жить. „Понимаю, сказалъ Чичиковъ, кончится дѣло кондитерскими да бульварами!“ При такомъ легкомъ очеркѣ милые мальчюки стоятъ передъ вами, какъ живые, и вы знаете ужъ всю ихъ дальнѣйшую карьеру. Пріѣхавшій затѣмъ Платоновъ—лицо, хорошо на первый разъ показанное, но очень мало потомъ развитое и потому о немъ ничего нельзя сказать, но въ то же время невозможно удержаться отъ

выписки того, какимъ образомъ Пѣтухъ заказывалъ кулебяку.

„И какъ заказывалъ! У мертваго родился бы аппетитъ. И губами подсасывалъ и причвакивалъ. Раздавалось только: „да поджарь, да дай взопрѣть хорошенько!“ А поваръ приговаривалъ тоненькой фистулой: „Слушаю-сь. Можно-сь. Можно-сь и такой“.

— Да кулебяку сдѣлай на четыре угла,—говорилъ онъ съ присасываньемъ и забирая въ себя духъ. Въ одинъ уголъ положи ты мнѣ щеки осетра да визиги, въ другой гречневой кашицы, да грибочковъ съ лучкомъ, да молокъ сладкихъ, да мозговъ, да еще чего знаешь тамъ этакого... какого-нибудь тамъ того.

— Слушаю-сь. Можно будетъ и такъ.

— Да чтобы она съ одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а съ другого пусти ее полегче. Да исподку-то пропеки ее, такъ, чтобы всю ее прососало, проняло бы такъ, чтобы она вся, знаешь, этакъ разтого, не то чтобы разсыпалась, а встаяла бы во рту, какъ снѣгъ какой, такъ, чтобы и не услышалъ.—Говоря это, Пѣтухъ присмактывалъ и подшлепывалъ губами.

— Чортъ побори! не дастъ спать, думалъ Чичиковъ и закуталъ голову въ одѣяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одѣяло было слышно:

— А въ обкладку къ осетру подпусти свеклу звѣздочкой, да снѣточковъ, да груздочковъ, да тамъ знаешь, рѣпушки, да моркови, да бобковъ, тамъ чего-нибудь этакого, знаешь, того разтого, чтобы гарниру, гарниру всякаго побольше. Да сдѣлай ты мнѣ свиной сычугъ: кольяи ледку, чтобы онъ взбухнулъ хорошенько.

„Много еще Пѣтухъ заказывалъ блюдъ“. (Стр. 96 и 97 2-й ч. „Мертв. Душъ“).

Отъ Пѣтуха Чичиковъ ѣдетъ къ зятю Платонову, помещику Костанжогло, на котораго я просилъ бы читателей обратить вниманіе, потому-что онъ преимущественно заслуживаетъ этого по отношенію къ ному автора. До сихъ поръ всѣхъ героевъ „Мертвыхъ Душъ“ (за исключеніемъ

неудавшейся Улиньки) художникъ подчинялъ себѣ и своимъ воззрѣніемъ стоялъ далеко выше ихъ, но въ Костанжогло вы сейчасъ чувствуете, что онъ самъ подчиняется ему, и изъ этого, полагаю, можно заключить, что это лицо—одинъ изъ обѣщанныхъ доблестныхъ мужей, къ которымъ долженъ возгараться любовью читатель. И посмотрите, сколько приемовъ употреблено поэтось, чтобъ освѣтить своего любимца приличнымъ свѣтомъ! Разумно-практическій и нравственно-здоровый, выведенный на поученіе публики Костанжогло, по словамъ автора, не обдумываетъ своихъ мыслей заблаговременно сибаритскимъ образомъ у огня передъ каминомъ: онъ у него рождаются на мѣстѣ, и гдѣ приходятъ въ голову, тамъ же и превращаются въ дѣло, но прежде чѣмъ открывается вся его практическая мудрость Чичикову, а вмѣстѣ съ тѣмъ и читателю, ради наученія, показывается съ своими хозяйственными распоряженіями карриатура-Кашкаревъ. Костанжогло говоритъ о немъ такимъ образомъ:

„Кашкаревъ утѣшительное явленіе. Онъ нуженъ затѣмъ, что въ немъ отражается карриатурно и видиѣе глупость всѣхъ этихъ умниковъ, которые, не узнавши прежде своего, забираютъ дурь изъ чужи: завели и конторы, и школы, и, чортъ знаетъ, чего не завели эти умники. Поправились было послѣ француза, такъ вотъ теперь все давай разстраивать съизнова“ (стр. 117 2-й ч. „Мерт. Душъ“).

Съ этою цѣлью онъ, вѣроятно, введенъ и въ романъ; а чтобъ придать ему хоть сколько-нибудь человѣческую форму, авторъ называетъ его сумасшедшимъ. Лицо это совершенно не удалось, и въ созданіи его вы рѣшительно не узнаете не только юмориста, но даже сатирика, даже пасквилиста, и оно мнѣ собой очень напоминаетъ изображенія Европы, Азіи, Африки, Америки въ видѣ мнѣологическихъ женщинъ, какъ будто страна, хоть, на примѣръ, Азія, можетъ быть остроумно и понятно изображена въ фигурѣ женщины, съ черными волосами, съ огненными глазами и, пожалуй, съ кинжаломъ въ рукѣ... Но возвратимся опять къ Костанжогло. Самое осязательное доказа-



-тельство его практической мудрости составляютъ богатства, которыя плывутъ ему въ руки. Система же хозяйственная его состоитъ въ томъ, что онъ заводитъ фабрики только того, чего у него есть избытки и есть въ окрестности потребители. По его мнѣнію, въ хозяйствѣ всякая дрянь даетъ доходъ; такимъ-образомъ, рыбу шелуху сбрасывали на его берегъ въ продолженіе шести лѣтъ, и онъ началъ изъ нея варить клей, до сорока тысячъ и взялъ, и кромѣ того онъ занялся этимъ потому, что набрело много работниковъ, которые умерли бы безъ этого съ голоду.

„Думаютъ (разсуждаетъ онъ потомъ), какъ просвѣтить мужика. Да ты сдѣлай его прежде богатымъ да хорошимъ хозяиномъ, а тамъ его дѣло! Вѣдь какъ теперь, въ это время, весь свѣтъ поглупѣлъ, такъ вы не можете себѣ представить, что нишуть теперь эти шелкоперы! Вотъ что стали говорить: крестьянинъ ведетъ ужъ очень простую жизнь: нужно познакомить его съ предметами роскоши, внушить ему потребности свѣше состоянья! Сами, благодаря этой роскоши, стали тряпки, а не люди, и болѣзней, чортъ знаетъ, какихъ понабрались. И ужъ нѣтъ осемнадцатилѣтняго мальчишки, который бы не испробовалъ всего: и зубовъ у него нѣтъ, и плѣшивъ, какъ пузырь. Такъ хотятъ теперь и этихъ заразить. Да слава Богу, что у насъ осталось хоть одно еще здоровое сословіе, которое не познакомилось съ этими прихотями. За это мы просто должны благодарить Бога. Да хлѣбопашецъ у насъ всѣхъ почтеннѣе, что вы его трогаете? Дай Богъ, чтобъ всѣ были какъ хлѣбопашецъ.

— Такъ вы полагаете, что хлѣбопашествомъ доходливѣй заниматься? спросилъ Чичиковъ.

— Законнѣе, а не то что доходнѣе. Воздѣлывай землю въ потъ лица своего, сказано. Тутъ нечего мудрить. Это ужъ опытомъ вѣкомъ доказано, что въ земледѣльческомъ званіи человекъ нравственнѣй, чище, благороднѣй, выше. Не говорю, не заниматься другимъ, но чтобъ въ основаніи легло хлѣбопашество—вотъ что! Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законныя фабрики, того, что нуж-

но здѣсь, подъ рукой человѣку, на мѣстѣ, а не эти всякія потребности, разслабившія теперешнихъ людей. Не эти фабрики, что потомъ для поддержки ихъ, для сбыту употребляютъ всё гнусныя мѣры, развращаютъ, растлѣваютъ несчастный народъ. Да вотъ же не заведу у себя, какъ ты тамъ ни говори въ ихъ пользу, никакихъ этихъ внушающихъ высшія потребности, производствъ; ни табаку, ни сахару, хотъ бы потерялъ миллионъ. Пусть же, если входитъ развратъ въ міръ, такъ не черезъ мои руки. Пусть я буду передъ Богомъ правъ... Я двадцать лѣтъ живу съ народомъ; я знаю, какія отъ этого слѣдствія.

— Для меня изумительнѣе всего, какъ при благоразумномъ управленіи изъ остатковъ, изъ обрѣзковъ, изъ всякой дряни можно получить доходъ? сказалъ Чичиковъ.

— Гм, политическіе экономы! говоритъ Костанжогло, не слушая его, съ выраженіемъ желчнаго сарказма въ лицѣ. Хороші политическіе экономы! Дуракъ на дуракѣ сидитъ и дуракомъ погоняетъ. Дальше своего глупаго носа не видитъ осель, а еще взлѣзетъ на кафедру, надѣнетъ очки... Дурачье... И въ гнѣвъ онъ плюнулъ“ (стр. 120 и 121 2-й части „Мерт. Душъ“).

Оправдывая себя противъ общественнаго мнѣнія, что будто онъ сквалыга и скупецъ первой степени, Костанжогло говоритъ:

„Это все отъ того, что не задаю обѣдовъ, да не даю имъ займы денегъ. Обѣдовъ я потому не даю, что это бы меня тяготило. Я къ этому не привыкъ, а пріѣзжай ко мнѣ ѣсть то, что я ѣмъ. Милости просимъ. Не даю денегъ займы, это вздоръ. Пріѣзжай ко мнѣ въ самомъ дѣлѣ нуждающійся, да Расскажи мнѣ обстоятельно, какъ ты распорядишься моими доньгами; если я увижу изъ твоихъ словъ, что ты употребишь ихъ умно и деньги принесутъ тебѣ явную прибыль—я тебѣ не откажу и не возьму даже процентовъ“ (стр. 124 и 125 2-й ч. „Мерт. Душъ“).

Сколько во всѣхъ этихъ рѣчахъ высказано хозяйственныхъ и историческо-нравственныхъ мыслей, а все-таки въ Костанжогло вы видите резонѣра, а не живое лицо, и онъ

рѣшительно, мнѣ кажется, неспособенъ поселить вѣру въ то, что онъ хорошій человекъ и дѣльный хозяинъ. Припомните, наприимѣръ, Собакевича, и вы сейчасъ скажете: „Нѣтъ, Собакевичъ кулакъ, а все-таки, кажется, хозяинъ проще и лучше, чѣмъ Костанжогло, и скажете потому, что Собакевичъ—типъ, свободно, творчески, безпристрастно-созданный авторомъ вслѣдствіе личныхъ наблюдений надъ людьми, а Костанжогло—идея, для выраженія которой приисканы въ жизни только формы, и приисканы посредствомъ собиранія свѣдѣній и бесѣдъ съ свѣдущими людьми, а не черезъ непосредственное столкновение съ жизнью; тогда бы, я увѣренъ, глубоко-проницательный взглядъ художника проникъ дѣло глубже. Скажу еще болѣе-откровенно: зная самъ отчасти Россію и взглядываясь внимательно въ живыя стороны Костанжогло, на сколько ихъ авторъ далъ ему, сейчасъ вижу въ немъ по фамиліи какого-то греческаго выходца, который, еще служа въ полку и нося эполеты, начиналъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, обзаводиться выгоднымъ хозяйствомъ, а въ настоящее время уже монополистъ и *загребистая*, какъ прекрасно выразился Чичиковъ, *лапа*, которому и слѣдовало предоставить омытый, практический умъ, оборотливость, твердость характера и ко всему этому приличную сухость сердца. Поэтический взглядъ Костанжогло на хозяйство, его доброе дѣло въ отношеніи къ Чичикову, которому онъ, не зная, кто онъ и что онъ за человекъ, даетъ десять тысячъ въ займы подъ расписку—все это звучитъ такимъ фальшемъ, что даже грустно говорить объ этомъ подробно...

Обратимся лучше къ новому лицу. Вѣрный своей задачѣ поучать читателя Костанжогломъ, авторъ везетъ Чичикова къ разорившемуся помѣщику Хлобуеву. Лицо это по исполненію далеко недокончено и рѣшительно не получило еще наружной шлифовки; но по тонкости задачи, по правильности къ нему отношеній автора, равняется, если не превосходитъ, даже Тѣнтѣтнникова. Вотъ какъ авторъ опредѣляетъ его:

„На Руси, въ городахъ и столицахъ водятся такіе

мудрецы, которыхъ жизнь необъяснимая загадка. Все, кажется, прожилъ, кругомъ въ долгахъ, ни откуда никакихъ средствъ, а задесть обѣдъ, и всѣ обѣдающіе говорятъ, что это послѣдній разъ, что завтра же хозяина потащатъ въ тюрьму. Проходитъ послѣ того 10 лѣтъ. Мудрецъ все еще держится на свѣтѣ, еще больше прежняго кругомъ въ долгахъ и также задесть обѣдъ, на которомъ опять всѣ обѣдаютъ и думаютъ, что это уже въ послѣдній разъ, и снова всѣ увѣрены, что завтра же потащатъ хозяина въ тюрьму. Домъ Хлобуева въ городѣ представлялъ необыкновенное явленіе. Сегодня попъ въ ризахъ служилъ тамъ молобенъ, завтра давали репетицію французскіе актеры. Въ иной день ни крошки хлѣба нельзя было отыскать, въ другой, хлѣбосольный пріемъ для всѣхъ артистовъ и художниковъ и великодушная подача всѣмъ. Бывали подъчасъ такія тяжелыя времена, что другой давно бы на его мѣстѣ повѣсился или застрѣлился; но его спасало религіозное настроеніе, которое страннымъ образомъ совмѣщалось въ немъ съ безпутною его жизнію. Въ эти горькія минуты читалъ онъ житія страдальцевъ и труженниковъ, воспитавшихъ духъ свой быть прѣвыше несчастій. Душа его въ это время вся размягчалась, умилялся духъ и слезами исполнялись глаза его. Онъ молился, и странное дѣло! почти всегда приходила къ нему откуда-нибудь неожиданная помощь, или кто-нибудь изъ старыхъ друзей его вспоминалъ о немъ и присылалъ ему деньги, или какая-нибудь проѣзжая знакомка, нечаянно услышавъ о немъ исторію, съ стремительнымъ великодушіемъ женскаго сердца присылала ему богатую подачу; или выигрывалось гдѣ-нибудь въ пользу его дѣло, о которомъ онъ никогда и не слыхалъ. Благоговѣяно признавалъ онъ тогда необъятное милосердіе Провидѣнія, служилъ благодарственный молебень, и вновь начиналъ безпутную жизнь свою“ (стр. 158 и 159 2-я ч. „Мерт. Душъ“).

Несмотря на это странное соединеніе добраго сердца, свѣтлаго, сознательнаго ума съ распущенностью, пустой въ высшей степени жизни съ религіозностью, Хлобуевъ

составляет органически-цѣльное, паразитально-живое лицо. Вы, читатель, вѣроятно, имѣете одного или двухъ такихъ знакомыхъ. Никто васъ такъ не сердилъ, и никого вы не способны такъ скоро и душевно простить, какъ этихъ людей. Никто вамъ столько не надѣдалъ своими вздорными надеждами и бесполезнымъ, но искреннимъ раскаяніемъ, и въ то же время ни съ кѣмъ вы не желаете такъ встрѣтиться и побесѣдовать, какъ съ ними.

Окончаніе четвертой главы и пятая глава не могутъ подлежать никакому суду, потому-что это скорѣе конспекты, и тѣ съ пропусками, по которымъ, впрочемъ, ясно видно, какъ много живыхъ струнъ предназначталъ себѣ великій юмористъ тронуть изъ русской жизни, и намъ, читателямъ, остается только скорбно сожалѣть о томъ, что онъ не довершилъ своихъ предназначтаній, или, какъ говорятъ, и довершилъ, но уничтожилъ свой трудъ. Въ критическомъ же отношеніи, изъ всѣхъ набросанныхъ силуэтовъ нельзя не замѣтить откупщика Мазурова. Не произнося надъ этимъ лицомъ приговора, по его неоконченности, нельзя не замѣтить въ немъ, какъ и въ Костанжогло, идеала и, вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣшительнаго преобладанія идеи надъ формой.

Такова, по нашему крайнему разумѣнію, столь-долго ожидаемая вторая часть „Мертвыхъ Душъ“ съ ея громадными достоинствами и недостатками. Трудясь надъ ней, Гоголь, говорятъ, читалъ ее нѣкоторымъ лицамъ—и не знаю, раздался ли между ними хоть одинъ разъ такой искренній голосъ, который бы сказалъ ему: „Ты писалъ не грязныя побасенки, но вывелъ и растолковалъ глубокое значеніе народнаго смѣха. Ты великій, по твоей натурѣ, юмористъ, но не лирикъ, и весь твой лиризмъ поглощается юморомъ твоимъ, какъ поглощается ручеекъ далеко, бойко и широко-несущейся рѣкою. Ты не безнравственный писатель, потому-что, выводя и осмѣивая черную сторону жизни, возбуждаешь въ читателей совѣсть. Не-уже-ли по твоей чуткости къ пороку, къ смѣшному, ты не раскрываешь добра собственной души гораздо-нагляднѣе какого-нибудь поэта, кокетствующаго

передъ публикой поэтическимъ чувствомъ? Смотри: одновременно съ тобой дѣйствуютъ на умы два родственные тебѣ по таланту писателя — Диккенсъ и Тэккерей. Одинъ успокоиваетъ себя и читателя на сладенькихъ, въ англійскомъ духѣ, героиняхъ, а другой всюду безпристрастно, хоть и отрицательно, господствуетъ надъ своими лицами и постоянно вѣренъ своему таланту. Скажи, кто изъ нихъ лучше совершаетъ свое дѣло?“ Не знаю, повторяю еще разъ, пришелъ ли къ нему на помощь хоть разъ подобный голосъ, но самъ поэтъ, не въ одно и то же, конечно, время понималъ это и сознавалъ ясно.

Нѣтъ (говорить онъ, опредѣляя значеніе смѣха и уясняя нравственное его значеніе), смѣхъ значительнѣй и глубже, чѣмъ думаютъ: онъ углубляетъ предметъ, заставляя выступать ярко то, что проскользнуло бы; безъ проникающей силы его мелочь и пустота жизни не испугала бы такъ человѣка. Несправедливы тѣ, которые говорятъ, будто смѣхъ возмущаетъ. Возмущаетъ только то, что мрачно, а смѣхъ свѣтлъ. Многое бы возмутило человѣка, бывъ представлено въ наготѣ своей; но, одаренное силою смѣха, несетъ оно уже примиреніе въ душу. Несправедливо говорить, что смѣхъ не дѣйствуетъ на тѣхъ, противу которыхъ устремленъ, и что плутъ первый посмѣется надъ плутомъ, выведеннымъ на сцѣнѣ: плутъ-потомокъ посмѣется, но плутъ-современникъ не въ силахъ посмѣяться. Насмѣшки боится даже тотъ, кто уже ничего не боится на свѣтѣ. Засмѣяться добрымъ, свѣтлымъ смѣхомъ можетъ только одна глубоко-добрая душа. Но не слышать могучей силы такого смѣха: чтѣ смѣшно, тѣ низко, говоритъ свѣтъ; только тому, что прозносится суровымъ, напряженнымъ голосомъ, тому только даютъ названіе высокаго“ (стр. 587 „Театр. Развѣзда“ въ „Сочиненіяхъ“ Гоголя. Изд. 1842).

Какое истинное и глубокое эстетическое положеніе, которое юмористъ высказываетъ въ періодъ своего нормального творчества! И теперь посмотрите, какъ болѣзненно начинаетъ онъ, подъ гнѣтомъ неисполнимой задачи, вторую часть „Мертвыхъ Душъ“.

„Зачѣмъ же изображать бѣдность да бѣдность, да несовершенства нашей жизни, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства? Чтожъ дѣлать, если уже таковы свойства сочинителя, и заболѣвъ собственнымъ несовершенствомъ, онъ уже не можетъ изображать ничего другаго, какъ только бѣдность да бѣдность, да несовершенства нашей жизни“.

Не можетъ, повторяю и я, вмѣстѣ съ этими искренними строками, но только по другой причинѣ. Идеаль Гоголя былъ слишкомъ-высокъ; воплотить его всецѣльно было, мнѣ кажется, дѣломъ неисполнимой задачи для искусства...

Во всей моей статьѣ, не касаясь великаго писателя, какъ человѣка, что предоставляю будущимъ его биографамъ, я смотрѣлъ на него, какъ на художника, и надѣюсь, что ни мои собратья-литераторы, ни публика, такъ полюбившая Гоголя, не упрекнутъ меня въ нѣсколько-рановременной, можетъ-быть, откровенности. Чѣмъ предметъ ближе къ сердцу, тѣмъ скорѣе и откровеннѣе хочется говорить о немъ и, сверхъ-того, я высказалъ не свои почти мысли, а тѣ, которыя живутъ и вращаются между болѣею части искреннихъ почитателей его таланта. Желая по преимуществу одного: чтобъ статья моя вызвала рядъ другихъ статей, которыя пополнили бы то, что мною не досказано, расцарили бы высказанный мною взглядъ, или даже совершенно отринули его, какъ односторонній, и замѣнили бы его другимъ болѣе общимъ и вѣрнымъ. Наконецъ, въ заключеніе, могу пожелать всѣмъ намъ, писателямъ настоящаго времени, призваннымъ проводить животворное начало Гоголя, или внести въ литературу свое новое — одного: чтобъ, имѣя въ виду ошибки великаго мастера, каждый шелъ по избранному пути, не насилуя себя, а, оставаясь къ себѣ строгимъ въ эстетическомъ отношеніи, говорилъ сообразуясь съ средствами своего таланта, публикѣ *правду*.

А. Писемскій.

# КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ,

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМЪ МЕТОДИКИ РУССКАГО ЯЗЫКА.

## I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ полного списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ъ. Составленъ по „Руководству“ Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 7-е. М. 1893 г. Ц. 50 к.

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время семь изданій, обнимаетъ всѣ этимологическіе случаи правописанія. Она состоитъ изъ орфографическихъ правилъ, орфографическаго словаря и списка *всѣхъ* словъ съ буквою ъ. Изложеніе ея алфавитное, почему она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто: при помощи приложеннаго „Указателя“ открывается страница на букву, которая служитъ предметомъ затрудненія, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извощикъ, извозщикъ, извощикъ или извощикъ? Справляйтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: з, с, ч, щ, а также и подъ буквой и—вездѣ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, приобретающемся менѣе чѣмъ въ часъ, справка по ней дѣлается въ нѣсколько секундъ.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковь препинанія. М. 1892 г. Ц. 50 к.

3. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 3-е. М. 1893 г. Ц. 25 к.

4. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система для практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 5-е. М. 1894 г. Ц. 50 к.



5. То-же. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 2-е. М. 1891 г. Ц. 40 к. (Печатается третьимъ изданіемъ).

6. Справочный словарь буквы Ъ. Полный списокъ коренныхъ и производн. словъ, пишущихся черезъ Ъ. Изд. 3-е. М. 1892 г. Ц. 25 к.

7. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголь. Цѣна каждой таблицы 2 к.

8. Корнесловъ русскаго языка. Составленъ по изслѣдованіямъ авторитетныхъ филологовъ. М. 1891 г. Ц. 50 к.

9. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію“. М. 1892 г. Ц. 25 к.

## II. Руководства по преподаванію русскаго языка:

10. Методическія указанія и образцовые уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. М. 1891 г. Ц. 1 р.

11. Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію, разраб. извѣстными русскими педагогами. М. 1891 г. Ц. 1 р.

12. Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, приемовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разработанныхъ извѣстными педагогами. Ц. 1 р.

## III. Пособія по исторіи русской литературы:

13. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Два выпуска. М. 1884 г. Ц. 4 руб. (Изданіе распродано).

14. Историко-критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго (сборникъ критикъ). Съ портретомъ Ф. М. Достоевскаго. 3 части. М. 1885—1886 г. Ц. 3 р. 25 к. (Изданіе распродано).

15. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части. М. 1886—1887 г. Ц. 3 р. (Каждая часть продается отдѣльно по 1 р.).

16. Русская критическая литература о произведенияхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. М. 1887—1888 г. Ц. 3 р. (Каждая часть продается отдѣльно по 1 р.).

17. Русская критическая литература о произведенияхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. М. 1888 г. Ц. 3 р. (Каждая часть продается отдѣльно по 1 р.).

18. Русская критическая литература о произведенияхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Двѣ части. Москва. 1889—1893 г. Ц. 2 р. (каждая часть по 1 р.).

#### IV. Книжки для чтенія:

19. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

#### ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ ДРУГІЯ КНИЖКИ.

Всѣ поименованныя книги жгются въ переплетахъ, въ 15 к. переплетъ.

Складъ изданій В. А. ЗЕЛИНСКАГО—въ Москвѣ, Патриаршіе пруды, д. Мозжухина.

Выписывающіе изъ склада одну книгу, цѣною менше рубля, прилагаютъ на пересылку ея—10 к. (въ переплетъ 15 к.) и сумму, по желанію,—почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

При выпискѣ книгъ на рубль и болѣе, пересылка ихъ принимается складомъ на свой счетъ. Присчитывается только къ стоимости книгъ 10 к. на пересылку съ наложеннымъ платежемъ и 5 к. за каждый переплетъ.

# КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ,

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМЪ МЕТОДИКИ РУССКАГО ЯЗЫКА.

## I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ полного списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ъ. Составленъ по „Руководству“ Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 7-е. М. 1893 г. Ц. 50 к.

2. То-же. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. М. 1892 г. Ц. 50 к.

3. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 3-е. М. 1893 г. Ц. 25 к.

4. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система для практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 5-е. М. 1894 г. Ц. 50 к.

5. То-же. Часть вторая. Знакъ препинанія. Изданіе 2-е. М. 1891 г. Ц. 40 к. (Печатается третьимъ изданіемъ).

6. Справочный словарь буквы Ъ. Полный списокъ коренныхъ и производн. словъ, пишущихся черезъ Ъ. Изд. 3-е. М. 1892 г. Ц. 25 к.

7. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголь. Цѣна каждой таблицы 2 к.

8. Корнесловъ русскаго языка. Составленъ по изслѣдованіямъ авторитетныхъ филологовъ. М. 1891 г. Ц. 50 к.

9. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію“. М. 1892 г. Ц. 25 к.

## II. Руководства по преподаванію русскаго языка:

10. Методическія указанія и образцовые уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. М. 1891 г. Ц. 1 р.

11. Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію, разраб. извѣстными русскими педагогами. М. 1891 г. Ц. 1 р.
12. Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, приѣмовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разработанныхъ извѣстными педагогами Ц. 1 р.

### III. Пособія по исторіи русской литературы:

13. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Два выпуска. М. 1884 г. Ц. 4 руб. (Изданіе распродано).

14. Историко-критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго (сборникъ критикъ). Съ портретомъ Ф. М. Достоевскаго. 3 части. М. 1885—1886 г. Ц. 3 р. 25 к. (Изданіе распродано).

15. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части. М. 1886—1887 г. Ц. 3 р. (Каждая часть продается отдѣльно по 1 р.).

16. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. М. 1887—1888 г. Ц. 3 р. (Каждая часть продается отдѣльно по 1 р.).

17. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. М. 1888 г. Ц. 3 р. (Каждая часть продается отдѣльно по 1 р.).

18. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Двѣ части. Москва, 1889—1893 г. Ц. 2 р. (каждая часть по 1 р.).

Всѣ перечисленныя книги имѣются въ переплетахъ, по 15 к. за переплетъ.

Складъ изданій В. А. ЗЕЛИНСКАГО—въ Москвѣ, Патріаршіе пруды,  
д. Можухина.

Выисмающіе изъ склада одну или нѣсколько книгъ на сумму менѣе рубля, прилагаютъ на пересылку—10 к. Если же книги въ переплетѣ, то, сверхъ того, по 5 коп. за каждый переплетъ. Вмѣсто денегъ, можно прилагать почтовые марки въ заказныхъ письмахъ.

При шлюскѣ книгъ на рубль и болѣе, пересылка ихъ принимается складомъ на свой счетъ. Присчитывается только къ стоимости книгъ 10 к. на посылку съ наложеннымъ платежомъ и 5 к. за каждый переплетъ.

8061

NO 1385  
18611







UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 03202 1

**DO NOT REMOVE  
OR  
MUTILATE**

